



ЮНОСТЬ

7

1972

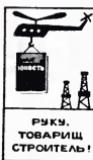


ДОГОНЯЙТЕ НАС, ПОЕЗДА!

Юмень — Сургут — путь не простой — болота, топи, непроходимая тайга. Здесь работают тысячи парней и девушки, пожалуй, всех национальностей Советской страны... Здесь пройдет семисоткилометровая трасса. Она уже заявила о себе парой сребристых рельсов, которые упорно, километр за километром, тянутся на север.

Дорога принесет жизнь в некогда безлюдные районы Западной Сибири. Дорога связывает богатейшие нефтеносные районы Среднего Приобья с большой землей. В канун пятидесятилетия СССР в государственную эксплуатацию будет сдан первый двухсоткилометровый участок от Тюмени до Тобольска. Таков вклад комсомольской ударной в юбилейную колесницу трудовых дел и побед.

Дорога! Недавно со стройки вернулась творческая бригада журнала. Это была первая поездка после заключения договора о шествии «Юности» над ударной комсомольской стройкой Тюмень — Сургут. Члены бригады знакомились с жизнью и бытом молодых строителей трассы. Встречались с ветеранами. В этом номере «Юности» печалятся некоторые материалы, привезенные нашей бригадой.



На самых последних километрах трассы
выстроен поселок Юность

Фото Валерия ПАНОВА.

С С С Р
50

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

7 (206)
июль
1972

Бабкен Карапетян



Перевел
с армянского
Я. СЕРПИН.

Радость

В стране единственной моей
Я долю светлую нашел,
Союз трудящихся людей
В цветущей силе я нашел,
К вершинам счастья сто путей,
Открытых взорам, я нашел,
Сердца горячие друзей,
Любовь и верность я нашел.

В краю былинном, где весна
Бессменно властвует вокруг,
Где человеку человек
На всех дорогах брат и друг,
Где славят песни и стихи
Могущество рабочих рук,
Призванье высшее свое
В служение людям я нашел.

Поют турбинные вальы,
И, дрогнув, отступает тьма;
В кувшинах пенится вино,
Полны пшеницей закрома.
В цвету нарядные сады,
Просторные ладьевые дома.
Под небом синим, как волна,
Я радость вешнюю нашел.

Молодость моя

Нелегкой молодость моя была,
Но ветры элегической печали
Над ней не били в белые крыла
И парусов ее не надували.

Горячей молодость моя была,
И круто приходилось ей порою,
Но отступала перед нею мгла,
Как отступает ночь перед зарею.

И в трудный час, не уступив беде,
Она спасительный искала выход
В самозабвением, яростном труде,
Не признававшем мелких личных выгод.

Не знала молодость бесплодных дней,—
Она скимала колесо штурвала,
Слагала песни о земле своей,
Мосты мостила и металла ковала.

Мне до сих пор ее характер люб:
Не ведавшая страха под картечью,
Сквозь воду, пламя, жерла медных труб
Прошла она — грядущему навстречу.

Завидной молодость моя была;
Она, как песня счастья, прозенела,
Исполненная света и тепла
Всегда живого ленинского дела.

У Алагеза

Еще не скоро день начнется,
Туман низмий не исчез,
А уж плывет на встречу солнцу
Четырехглавый Алагез.

Возникшая из полумрака
Заря — над искорками рос —
Светло горит в лугах Ширака
На лезвиях блескучих кос.

И ходят волнами пшеница,
И лес лучами обагрен,
И склон покатый золотится,
И Алагеза снежный трон.

Уже раскрыты створки окон,
Встают над крышами дымки;
Отсюда слышны далеко,
Летят рабочие гудки.

Летят гудки, и будят кручи,
И гонят с гор ночные сны,
Сливая голос свой могучий
С прозрачным голосом зурны.

Родине

Земля моя — без края и конца,
Ты крепость гор и нежность винограда;
Не отвести восторженного взгляда
От твоего прекрасного лица.

Цветут вершины молодых дубрав,
Заря над перевалами играет;
Когда поешь ты, сердце замирает
И тянутся к рассвету стебли трав.

О, быть бы мне —
Пускай хотя б на миг
Из тысяч дней, стремительно летящих,—
Росинкой на цветах твоих горящих,
Влюбленной песней на устах твоих!



ВАЛЕНТИН
ЧЕРНЫХ

ТРИ РАССКАЗА



ПРОЗА

Рисунки
М. Лисогорского.

1. ночной оркестр

Оре начало дымиться часа два назад, и сейчас туман стоял сплошной дымовой завесой. Норда охладил все вокруг, и воздух стал тяжелым, влажным, роса моментально выступила на ветвях рыбаков, впереди и сзади тоскливо забили рыбы сейнеров.

В белой мгле прогрохотали якорные цепи, кто-то, опробуя, пустил сирену, и все смолкли. Все встали до утра на якоря, все легли спать.

В эту ночь Курай был вахтенным. Он знал, вахта может быть приятной или неприятной, все дело в том, как к этому подойти. И он начал готовиться. Растопил печь на камбузе, поставил чайник. Нарезал хлеба, немазал маслом, готовые бутерброды отнес в рубку и снова занялся чаем. Плеснув в печь две банки солярки, в печке сразу заревело. Когда чайник забренчал крышикой, он снял его с огня и заварил чай. Заварил до черноты, до терпкой горечи. Потом он спустился в кубрик и достал из чемодана карту Союза. Курай карта заменяла альбомы с фотографиями. На карте он отмечал своим маршруты. Темно-синие чернильные линии пересекали страну, спускались к Японии, тянулись на Чукотку, петляли по центральной Колыме, возвращались в Свердловск. От этого родного для Курая города маршруты шли вверх до Салехарда, спускались вниз на Кустанай и Алма-Ату. Линии через Москву уходили на юг. Вся карта была размечена значками, понятными только Кураю. Красные флаги отмечали места, где жили его друзья, где ему всегда были рады. Желтые — знакомых, хозяев квартир, у которых он мог остановиться в любое время суток, черные — где ему не понравилось и куда он никогда не поедет, синие — где жили случайные попутчики, с которыми он знакомился в поездах, на пароходах, в гостиницах и которые оставляли ему адреса и приглашали в гости.

На обратной, чистой стороне карты у Курая были записаны адреса, фамилии, иногда дни рождения. Рыбаков удивляло, что Курай по несколько часов может неподвижно сидеть над картой. Никто не знал, что в эти минуты Курай принимал решения. Он приводил в движение связь, почтовые вагоны, самолеты. Ему нравилось, что он может влиять на этот хорошо отрегулированный механизм. Курай поддерживал связь со многими из своих знакомых.

История кураевских посылок началась с детского дома в Свердловске. Однажды в детский дом приехала актриса. Она долго ходила по спальням, а вечером, перед отбоем, Курай вызвали в дирекцию. Директор объяснял, что нашлась его мать и она забирает его домой. Актриса бросилась к Кураю, начала его целовать и плакать. Курай заплакал тоже из-за наглого обмана. Он навсегда запомнил синие глаза матери и ее голос, когда она пела ему про голубей. Актриса была худая, плоская, с кривым голосом и громадными черными глазами. Курай попросил ее спеть про голубей. Актриса потерла виски и сказала:

— Черт возьми, про голубей забыла, давай спою про кошек?

Про кошек Курай слушать не захотел, и усыновление не состоялось. А через несколько дней, как будто ничего не произошло, актриса появилась сно-



ва. Все годы, пока Курай был в детском доме, она часто приезжала к нему, иногда он ездил к ней, ее там все звали Верой, и старые и молодые. Он долго не мог решить, как же ему быть, называть по имени и отчество не хотелось; она была совсем не похожа на занудливых воспитательниц, просто по имени — неудобно, и он начал звать ее мама Вера. Курай не знал, кто его родители, он знал единственное — что его нашли в развалах закутанного в тряпье, когда освобождали Гомель. Об этом свидетельствовала справка, хранящаяся в его личном деле, подписанная лейтенантом ордена Суворова пехотного полка Егоровым, что он сдал трехлетнего, примерно, ребенка без опознавательных документов товарищу Тишко — представителю исполнительного комитета депутатов трудящихся города Гомеля.

Когда актриса уезжала, она присыпала Кураем посыпки. Просыпки странные, без всякого повода, из разных мест, где гастролировала ее труппа, иногда несколько плиток шоколада, греческие орехи, кислый азербайджанский сыр. Когда Кураю исполнилось двенадцать лет, она присыпала дюжину галстуков, таких ярких и пестрых, что директор тут же их спрятал в сейф. Курай беспокоился, если мама Вера долго не давала о себе знать. Он решал, что, когда станет взрослым, тоже будет присыпывать посыпки своим знакомым и друзьям. Это всегда неожиданно и приятно.

Курай достал ящик и утрамбовал его соленой ставридой, завтра посыпка пойдет к маме Вере в Свердловск. Мама Вера пишет все более грустные письма и зовет в Свердловск. Последний раз он был у нее в прошлом году. Тогда мама Вера поссорилась с соседом по кухне. Мама Вера плакала, у нее от обиды тряслись худые плечи. Курай ходил к соседу и попробовал доказать, что одиноких похищенных обижать нельзя, сосед ничего не понял и начал выставлять Курая, пришлося его аппретом посадить на пол. Это так развеселило маму Веру, что она на следующий день начала придираться к театральному завхозу и шутя уговаривала Курая, чтобы он стукнул завхоза так же, снизу в подбородок, или хотя бы научил ее, как это делается.

Они ходили гулять, и мама Вера гордо шла рядом. Они были похожи — рослые, сухолопые, черноглазые. Может быть, это сходство мама Вера уловила еще при первой попытке усвоения. Прощаясь у вагона, мама Вера всплакнула, увидела какого-то своего знакомого и бодро сказала:

— Черт возьми, когда ты научишься выбирать галстуки! У сына заслуженной артистки республики нет вкуса.

Конечно, маме Вере пора уже на пенсию. Да и ему пора устраиваться постоянно и забирать маму Вере. Переезды по стране требовали значительных средств. В прошлый раз, когда у него не хватило денег, чтобы доехать до Симферополя, ревизор, молодая девчонка, высаживая его, с презрением отчитала:

— Уже взрослый, а как беспризорник без билета! Времена не те, чтобы не было денег на билет!

Конечно, времена не те, но пока существуют билеты, кто-то всегда будет ездить без билета, утешал себя Курай. Сейчас одиннадцать вечера. Окончен спектакль. Мама Вера, наверное, устала, возвращается домой. Как-то она сказала ему:

— Я объездила всю страну. Твоя карта по сравнению с моей — пионерский маршрут.

— Это хорошо или плохо? — задал он ее любимый вопрос.

— Это и хорошо и плохо. Я не обжила своего дома и не вырастила даже дурацкого фикуса.

Мама Вера права, только — дудки, жить в том месте, где тебе не нравится. Каждый имеет право выбирать себе дом, без которого он не может. Курай спичкой пересек Азовское море, затем прошел линию от Керчи до Ростова. Спичка проползла по Волго-Донскому каналу, завернула вверх и остановилась у Горького, главного его резерва. Он хочет в этот город. Он вспомнил горьковский кремль, в ворота которого входит трамвайная линия. Красивый город, а разве мало красивых городов? Каждый город по-своему красив. Но не в каждом красивом городе есть автозавод.

Еще далеко от Горького начинают встречаться «Волги» с трафаретами на бетоновом стекле — «Перегон», и тем ближе город, тем больше на дорогах новых блестящих машин. Он давно хотел заняться этим делом, перегонять стремительные, призметистые «Волги», проезжать города, останавливаться обедать в придорожных столовых, спать в машине, откнув спинки сидений. И ничего в этом нет плохого: одни любят ездить, другие не любят.

Курай вышел на палубу. Плыли кочумы, обтекая клотки маечты. И вдруг по правому борту Курай услышал шум автомобильного мотора. Прокрипели по асфальту шины при резком торможении, хлопнули дверцы, рассмеялась женщина. Теперь он отчетливо улавливал говор, слышал отдельные фразы. Значит, они бросили якорь метрах в двухстах от берега. Рядом явно курорт. Там какой-то праздничник. Проводы или встреча отдающихих.

И тут грянули оркестр. На высокой ноте поднимались звук трубы, выбивали мелкую четкую барабаны, и певец торопился быстро-быстро досказать слова песни, пока у трубы хватало еще воздуха, чтобы дотянуть мелодию до значка, указанного в нотах. И сразу зазвенели литавры, загрохотали барабаны, взвились трубы.

В большом зале сейчас тепло и светло. Вдоль стен стоят девчонки в платьях с вырезом на груди, в туфлях на высоких каблуках, отчего их ноги кажутся стройными и высокими. Это обычновенные девчонки с заводов и из совхозов. Зимою легче достать путевку на курорт, зимою на заводах всегда много путевок. С такими девчонками просто и ясно. Он им никогда не врет, что он летчик или капитан сейнера. И девчонкам приятно, что он такой обычновенный, похожий на их отцов и братьев, за такого спокойно можно выходить замуж. И Курою было приятно, что его принимали всерьез, он несколько раз собирался жениться, но всегда что-то менялся, и он опять куда-то ехал.

Курай прошелся по палубе. Больше всего он не любил бездействия, когда ничего невозможно изменить. Ужко месяц они гонялись за косяками ставриды. Каждую ночь эскадра средних черноморских сейнеров выходила в море, но улова почти не было. Иногда кто-нибудь из счастливчиков брал несколько центнеров, но это место несஸь сразу десятки сейнеров. Рыбы было мало. Курай ничего не мог сделать, он мог только ждать, отставать вахты и надеяться на удачу, и это его беспокоило. Он не любил работ, которые зависели от удачи. Поэтому-то он и ушел из геологической партии. Ходить все лето, чтобы ничего не обнаружить! Начальнику партии ему внушил: важно не только найти, важно доказать, что в этих местах больше искать не надо.. Так можно доказывать всю жизнь. Курай уехал в Кустанай и всю осень проработал на уборочной комбайнером, а ближе к зиме, когда начинали ловить мелкую ставриду, он, как обычно, появился в деревне. Поэтому его и прозвали Кураем. Курай да Курай! Колючее перекати-поле. В деревне давали клички, как ставили клеймо, одни раз и на всю жизнь,

Курай прошел на ют. Туман рассеивался, стали видны смутные очертания сейнеров, покачивающихся на волне. Невдалеке запустили двигатель. На седине сейнера загрохотала лебедка, начали выбирать якорную цепь. Там был молодой капитан.

А они проспят до утра, потом пойдут в порт и снова будут ждать ночи, чтобы выйти на лов, и им опять не повезет, потому что Царек не ищет косяки, а жмется к другим, которые их уже нашли. Когда-то Царек был одним из лучших капитанов, о нем писали в газетах и говорили по радио. Да последнее время сейнеров стало больше, на них пришли молодые капитаны, Царек оказался в середняках и сразу как-то сник, он даже газеты перестал читать, потому что теперь писали о других капитанах, более энергичных и более перспективных.

Сосед отвалил и пошел в море: Надо было что-то делать. Курай знал, что Царька сейчас почти невозможно поднять. Только если удивить, поразить мгновенно, а еще лучше — разозлить. И Курай решился. Он постучал в дверь каюты.

— Ну, — ответил Царек.

Курай открыл дверь и зажег свет. Царек сел на диване, но глаз не открывал.

— Ты мелкий прохиндей, Царек, — сказал Курай.

— Что-что? — заинтересовался Царек.

— Ты был капитаном, а теперь весь вышел. Ты же забыл, что такое настоящая жизнь.

Царек усмехнулся поудобнее.

— Правильно, — неожиданно согласился он, подумал и спросил: — У тебя в трудовой книжке выговор есть?

— Нет.

— Так теперь будет. А что такое «прохиндей»? — спросил Царек.

— Это человек, который сам не живет и другим жить не дает, — пояснил Курай.

— Ясно, — сказал Царек. — Хорошее слово, звучное. А теперь буди команду. Я вам покажу, что такая настоящая жизнь.

2. дневники писателя

В колхозе Царьку пришла телеграмма: «На судно прибудет писатель Богданов тчк прошу содействовать сбору материала передовиков лова тюк подготавльте встрече тчк председатель Шлак тчк».

Царек прочел телеграмму и многое не понял, особенно во второй части, как готовиться к встрече. На всякий случай он приказал окатить палубу, — послал в магазин артельщика купить четыре бутылки водки, эстонские шпрот, селедку в винном соусе, охотничьи колбасы и конфеты «Мишка».

Кою было сказано — нажарить ставриды ночного улова, обязательно на сливочном масле, одну сковороду, чтобы хрустела, другую — чтобы тавля во рту.

В своей каюте Царек прибрал, положил на видное место бинокль и сектант, которым никогда не пользовался, снял со стены фотографию Наталии Фатеевой из журнала «Советский экран», заменив ее на «Девятый вал» Айвазовского — цветнуюrepidukцию из журнала «Огонек».

Писатель приехал во второй половине дня. Для встречи с ним Царек пригласил радиста Ивана От-

рошко, как представителя рыбакской интеллигентии, и тоже радист хорошо пел песни под гитару, и Курая, как человека бывалого, для поддержания разговора. Больше четырех в маленькой каюту Царька не помещалось.

Писатель оказался очень тощим, узким, в плечах, с продротигом на ветру лицом. Он снял синюю байковую перчатку, протянул руку Кураю и отрекомендовался:

— Богданов.

— Писатель, — пояснил Царек.

— Я еще студент, — поправил писатель. — Пожалуйста, мои документы.

— Чего уж там, — сказал Царек и положил документы в ящик стола. — ПРОШУ.

Стол был заставлен мисками с жареной ставридой, банками со шпротами, селедкой в винном соусе, конфетами «Мишка», охотничими колбасками.

Писатель окивился, рассмотрев обильную еду, выпил водки, поежился и начал быстро есть жареную ставриду. После второй рюмки писатель охмелел и у него стали закрываться глаза.

— Если вы не возражаете, я бы поспал, — сказал писатель. — В какую каюту мне идти?

Курая отвел его в новосибирский кубрик, писатель натянул трикотажный тренировочный костюм и улегся. Курая вернулся в каюту Царька, и Царек достал документы писателя.

— Изучим, — сказал Царек. — Ты как бывший пограничник должен понимать в документах. А может, он шпион?

— Все может, — согласился Курая, и они начали изучение с записок. Из райкома партии просили содействовать молодому литератору в сборе данных для будущего произведения о тружениках лова. Председатель колхоза наказывал Царьку внести товарища писателя в судовую роль в качестве рыбака-матроса с павловской платой, обеспечить спецовкой и сапогами, сапоги желательно с длинными голенишами, и не забыть про портняжку. Было командиро-вочное удостоверение, из которого следовало, что студент Литературного института направляется в творческую командировку для сбора материала о рыбаках Черного моря. Еще был паспорт, из которого им стало ясно, что Виктору Викторовичу Богданову двадцать один год и проживает он на Пятницкой улице в Москве. Из военного билета они узнали, что писатель не служил в армии и что он рядовой и необученный.

— Да, — сказал Царек. — Никакой он не писатель, в лучшем случае стажер. Еще неизвестно: получится из него толк или не получится?

— Он только учится, — сказал Курая. — Посмотри в студенческий билет. Переведен на четвертый курс, значит, кое в чем разбирается. Дураков отчисляют после первого курса.

— Как себя поставить, — не согласился Царек. — Некоторые всю жизнь притворяются умными.

Еще Царек высказал мнение, что, по-видимому, писатель не может обеспечить себя, если соглашается работать рыбаком-матросом. Каждый должен заниматься своим делом: рыбаки — ловить, писатели — писать. Он много за свою жизнь видел корреспондентов, и они никогда не таскали сетей.

— Какая в Москве главная улица? — спрашивал Царек у Курая.

— Горького.

— Вот видишь! А он живет на какой-то Пятницкой.

— Всем, что ли, на главной жить? — возразил ему Курая.

— Соображать надо. — Царек пренебрежительно усмехнулся. — Новой улице такого названия не дадут, а если старая, но с приличными домами, давно переименованы бы, скажем, в Новаторов или Энтузиастов. Пиджак его видел?

— Ну, видел.

— Сукионый! За двадцать рублей. Я, уважающий себя человек, такой не куплю. А туфли? За одиннадцать рублей с острым носом! Сейчас таких не носят.

Из этого разговора Курая понял, что Царек — человек наблюдательный. На следующий день Царек имел с писателем отдельную беседу, а ночью, когда они шли на лов, Царек поделился с Кураем своими соображениями. Оказывается, писатель не будет писать о них под настоящими фамилиями, его труд выдуманный, все они для него только типы, у одного он возьмет голову, у другого кривые ноги. «Конструктор!» — с пренебрежением заключил Царек и с этих пор потерял к писателю всякий интерес.

Рыбаки заняли выживательную позицию — к неизвестному человеку надо присмотреться. Быстрые остальных с писателем подружился радист. Оба они были самые молодые на сейнере, наверное, им было не чом поговорить.

Писатель свою бумаги перенес в радиорубку и по утрам, после лова, что-то записывал в большую амбарную книгу. Царек это заметил.

— Все пишет? — спросил он у Курая. — И о чем?

— А ты сам его спроси, — перекомандовал ему Курай.

— Спрашую, — побежал Царек. Но не спросил, а открыл радиорубку, пока писатель и радист ходили в кино, и прочел записи.

— Зайди ко мне, — попросил Царек Курая. Курай еще никогда не видел Царька таким расстроенным. — Как думаешь, напечатают его труды? — озабоченно спросил Царек.

— А почему нет? — Курай не понимал, куда клонит Царек. — Он ведь учится на писателя. Обязаны напечатать. Инженеру, если он имеет диплом, сразу должность дают. Так, наверное, и писателям. На него же и бумага должна отпускаться и краска.

— Тогда плохо, — сказал Царек. — Расколол он меня, пойдем покажу.

— Не пойду, — сказал Курая. — Тайна переписки. Закон есть, письма чужие читать нельзя.

— Жди, сам принесу. За все отвечу. После той письменины мне ничего не страшно.

Царек принес большую амбарную книгу и расставил на нужной странице. У писателя был мелкий и не очень понятный почерк.

— Читай!

Курая стал читать: «...Царьком его зовут за бешеный нрав, неприступность и непонятность решений, которые он принимает внезапно и никогда не отменяет. У него, наверное, есть свои принципы и методы руководства, потому что ему, как капитану сейнера, надо держать в повиновении команду из двенадцати рыбаков и выполнять план, но никто этих принципов и методов понять не может.

Царек маленький, с носом пуговкой, красной обветренной кожей лица, глубокими морщинами. Он может часами молчать и неподвижно стоять на спардеке, напоминая малую скифскую бабу на кургане, каменное, вырубленное камнем изваяние. Но, странно, при своем маленьком росте Царек не кажется маленьким. Он никогда не суетится, ходит, не торопясь, слегка расставив локти, будто всегда проталкивается в очереди, где его отирают более взрослые и сильные мужчины.

Старые рыбаки, которые помнят Царька с детства, рассказывают, что Царек был тихим и робким. Он почти не играл с мальчишками, из школы сразу бежал домой и шил платья для кукол младшей сестры. Когда он подрос, стало ясно, что к тяжелой рыбачьей работе паренек не пригоден, и его определили в город учеником к часовому мастеру. Царька мобилизовали в начале войны и, как большинство деревенских [рыбаков вдвое моряк], направили на флот. Всю войну он был в морской пехоте. В деревню Царек вернулся с шестью орденами и десятью медалями. Говорят, стольких наград не наберется у всех остальных мужиков деревни, которые остались живыми.

Рыбаки считают, что Царек на войне малость тронулся. Поступки его стали необъяснимыми. Может при разговоре непонятно усмехнуться, повернуться к собеседнику спиной и уйти...»

— А если привлечь за оскорблении? — сказал Царек. — Я достану справки, что психически нормальный.

— Но он же не категорично утверждает, — возразил Курай.

— Ладно, читай дальше.

«...более вероятно, что Царек искусственно сконструировал свое поведение. У него явно был пример для подражания, кто-нибудь из командиров и начальников, такой же маленький человек с сильной волею. Теперь это поведение, без достаточного осмысливания, стало его второй натурой. Может быть, Царьку и тяжело исполнить одну и ту же на доешнюю роль, но выйти из игры он уже не может».

В скобках было помечено «попытаться выяснить, с кого Царек делал себе роль».

— Прохиндей, — сказал Царек. — А он знает, что все великие люди были маленького роста. И Наполеон... и... только забыл их фамилии.

— А Петр II? — спросил Курай.

— Исключение! Большого роста человек — довольный человек. И чего ему быть недовольным? Женщины на него в первую очередь обращают внимание, в спорте они чемпионы. Их выдвигают на руководящую работу, особенно на дипломатическую, за представительность фигуры. А мужчина маленького роста всегда приходится добиваться самому...

Царек вдруг рассказал о человеке, который когда-то поразил его воображение. Батальоном морской пехоты командовал капитан-лейтенант Коротышка. У него, конечно, была нормальная фамилия, но он был совсем маленького роста, еще меньше его, Царька. Коротышка был самым сильным в батальоне, он мог скрутить любого, потому что знал приемы. Он попадал из пистолета в подброшенную спичечную коробку. В атаку он поднимался первым. И однажды, когда Царек отстал в атаке, и не потому, что боялся, а потому что не успевал за большими и длинноногими, Коротышка вызвал его в свой блиндаж. Тихим голосом (Коротышка никогда не повышал голоса, но все его слышали) Коротышка объяснил ему, что маленький рост не является несчастьем и не может служить причиной снисхождения, исторические свидетельства доказывают, что у людей маленького роста есть много возможностей быть величими. В человеке главное не сила тела, а сила духа, главное не рост, а личность. И личность надо создавать самому. — Человек нормального роста может устать, испугаться, мы на это не имеем права, — убежденно заключил свой рассказ Царек. — Послушай, а откуда он узнал? — мгновенно переключился Царек. — Может, их этому специально учат?



— Наверное, отец у него был коротышкой, — предположил Курай.

Царек перевернул несколько страниц, нашел нужное место.

— Смотри сюда!

Курай прочел: «...Сейнер напоминает не корабль, а плохую коммунальную кухню. Странно, большинство рыбаков служили в армии, на флоте, сам Царек был мичманом. Куда это все делось? Папуя никогда не моют по-настоящему, еще новый сейнер буквально ржавеет. От этого что зависит? Неужели от одного капитана? Если от одного человека, то все просто, заменим его другим, лучшим...»

— Что он хочет сказать? — спросил Царек.

— Не знаю, — признался Курай. — Не все понятно.

— С одной стороны, конечно, он прав, не корабль, а кастрюля, скоро на ходу бречать будем, но... — Царек сдвинул белесые выгоревшие брови и решительно закончил: — Морская пехота умирает, но не сдается.

Курай подумал, что так, наверное, говорил Коротышка, и еще он подумал, что Царек очень скоро уберет писателя с сейнера.

После обеда, когда рыбаки легли поспать перед выходом на ночной лов, на сейнера загремели электрические колокола. Пожар, решил Курай, выскакивая на палубу. Царек осмотрел недоумевающих рыбаков и буркнулся:

— Приборка, — и ничего больше объяснять не стал.

Вначале Курай подумал, что Царек испугался писателя, но, разомсягнувшись, понял, что это не страх, Царек давно никого не боялся, просто писатель объяснял то, чего Царек сам до конца не понимал.

Писатель работал в той же смене, что и Курай. Писатель на кабеле, а Курай на лебедке. Ставриду ловили на светолов. Всю смену писатель то опускал, то поднимал кабель. Это была не очень трудная работа, но к концу смены руки наливались чугунной тяжестью.

Постепенно к писателю привыкли, и, хотя его приведение никто не читал, а может быть, их у него еще не было, относились к нему вполне уважительно. До этого, после второго курса, писатель ловил рыбу на Дальнем Востоке, и его было интересно послушать для сравнения, хотя разговаривал он мало, а больше молчал или рассказывал. Расспрашивали подробно, и рыбакам было интересно, что этот парень разбирается в их работе.

Однажды в кубрике вспыхнул спор. Коляня, самый молодой рыбак, еще не служивший в армии, доказывал: если узнаем, что нам собираются объявить войну, надо шарахнуть первыми. Писатель выслушал все, что думал по этому поводу, и ушел в рубку делать записи в своей амбарной книге.

А на следующий день Царек вызвал Кура и выложил деньги.

— Купи газет. Забирайте скоро. Никакого интереса к международной политике... Каждое утро будешь покупать газеты на всю команду. И смотри старых не бери, которые на обертку.

Сейнер телеры убирали тщательно и каждый день. Царек заставил обновить надпись — судовой номер и порт приписки, заменил флаг: прежний закоптился и выгорел. Каждое утро Царек ждал, пока все уснут. Курай ингбода видел, как он выходил из каюты, осматривался, и, убедившись, что на палубе никого нет, открывал радиорубку. Одна из записей, по-видимому, сработала не сразу. На всю путину брали один комплект постельного белья и его сдавали в прачечную, когда возвращались в деревню. Несколько дней Царек ходил мрачным, посыпая радиограммой в колхоз. Наконец, из

колхоза пришел грузовик, на котором привезли белье. Царек оказался упорным в наведении порядка. Он стал спускаться в кубрики, задирал одеяла, проверяя, вымыты ли ноги. Перед выходом в город теперь рыбаки обязаны были являться к нему в каюту и показывать, почищены ли ботинки. Сам он стал носить нейлоновые рубахи, правда, оставил при этом ватник. Странная эта была форма: ватные брюки, ватник, ослепительно белая нейлоновая рубаха с галстуком в синюю и красную полоски.

Иногда, наверное, писатель хвалил Царька, и тогда Царек становился особенно доволенным и гордым. Курай даже позавидовал Царьку: интересно ведь каждый день читать про себя; ему и самому хотелось узнать, что написано про него, но он постеснялся спросить об этом писателя. Когда писатель закрывался в радиорубке, Царек становился особенно нетерпеливым, он не мог сидеть в каюте и бродил по палубе, окидая, пока писатель закончит писать и спустится в кубрик.

Через месяц у писателя закончились командировочные. Царек устроил прощальный обед и по такому случаю надел пиджак с шевронами. Писатель расстроился, обещая писать письма, у Царька навернулись слезы. И Кура было грустно, все кончилось, и не то, чтобы Курай очень любил флотский порядок, просто при порядке жилось удобнее.

Писатель сошел на берег, сел в такси и уехал. Рыбаки постыгали на палубе и пошли в кубрики поспать перед выходом на ночной лов. Курай решил сходить в кино, но он в этот день был вахтенным и без разрешения Царька уйти не мог. Царек на камбузе распекал кока за грязную куртку.

— Я в кино схожу, — сказал Курай.

— А кто вахту за тебя будет стоять? — прервал его Царек.

— Все же дома.

— Дома? — переспросил Царек и презрительно добавил: — Пехота. К шестнадцати часам принесешь сковью погоды.

— Есть! — сказал Курай.

— Как думаешь, напишет он книгу? — переключился Царек.

— Напишет, — сказал Курай. — Когда-нибудь.

— А может, из него Лев Толстой получится? — предположил Царек.

— Поживем — увидим.

— Вот выйдет книга, и там написано про меня, и про тебя есть там заметки.

— Какие? — поинтересовался Курай.

— Сам прочитай. Конечно, про меня не все хорошее написано, но в человеке разного хватает: и хорошего и плохого. Мы помрем, а книга про нас останется и будет храниться в библиотеках веками при строго выдержаных температурах. Повезло нам. А может, ему помочь? — предложил Царек.

— Пойду к рыбаку, что ли, послать?

— С рыбой? — Царек хмыкнул. — В Москве рыбы хватает. Я зайду в рабочем, и пусть ему напишут характеристику: мол, оправдал доверие, морально устойчив.

— А зачем ему характеристика?

— Как зачем? — не понял Царек.

— Думаешь, с характеристикой он будет лучше писать? А книгу ты ему не напечатешь.

— А может, и напечатано. Вернемся и поставлю на правление колхоза вопрос. Выделим ему деньги на бумагу. Оплатим типографию.

— Дорого это, — усомнился Курай.

— Ничего, не обдеднем, — Царек вынул блокнот и сделал запись.

В последнее время у Царька появилась привычка делать записи.

3. очень жарко в Симферополе

Курай приехал в Симферополь ночью. В Поти портовый бусир протаранил их сейнер, команду расформировали и отправили по другим судам. На сейнера остался один Царек. Он стоял на спардеке, приложив ладонь к козырьку фургона, пока последние рыбаки не сошли на пирс. Это было торжественно трогательно, и сразу все вспомнили, что они когда-то были военными моряками, и тоже приложили ладони к козырькам кепок.

Курай ступил на перрон, вдохнул полные легкие воздуха и не почувствовал ожидаемой ночной прохлады. Было так душно, будто всё надолго накрыли брезентом, нагрели и забыли снять. За ночь не успел остыть даже асфальт. Больше двадцати, прикинув Курай, значит, днем будет около сорока. Курай засинул за спину рюкзак и зашагал в зал ожидания. Чем ближе он подходил, тем меньше надеялся отыскать свободный диван, чтобы поспать, а спать ему хотелось невыносимо. Он ехал в общем вагоне и двое суток не мог лечь и вытянуть ноги, лавки были заняты, а на багажной полке было невозможно выдержать и двадцати минут, в вагоне не работала вентиляция.

На подходе к вокзалу он увидел нескольких солдат, которые спали на асфальте, подложив шинели. Пассажиры спали на ящиках из-под пива, притягенных из буфета, спали на сдвинутых столах летнего кафе. В зале ожидания спали сидя на желтых железнодорожных диванах. Вдоль диванов вышагивал прикилой, чисто бритый милиционер. Этот не даст лечь, определил Курай. Хорошо выспался перед дежурством, выдергий от утра. Такие пожилые — самые примерные. Не из молодых, всегда готовых переменить профессию, и не слишком стар, чтобы в ожидании пенсии посматривать сквозь пальцы на всякие мелкие нарушения.

Пока милиционер шел в противоположную сторону зала, Курай быстро пристроился у стены, вытянув ноги и закрыл глаза. И тут же стук подкованных каблуков сместился с центра и стал приближаться к нему.

— Не положено на полу.

— Почему? — Курай открыл глаза, рядом стояли блестящие милицейские ботинки.

— Негигиенично.

Курай встал. Он вспомнил, что рядом с вокзалом сквер, где есть садовые скамейки. Правда, на сквере тоже должен быть хоть один милиционерский пост. Но Курю просто нестерпимо хотелось лечь и вытянуть ноги.

Он вошел в сквер и удивился. На всех скамейках спали. Спали, укрывшись одеялами. В сквере расположилась большая группа туристов. Курай всегда относился с опасением — таким сплоченным группам и старался оказаться впереди них, потому что тому, кто остался позади, ничего не доставалось. Туристы на своем пути сделяли все мороженое, выпивали весь лимонад, занимали все места в автобусах. На этот раз он опоздал.

— Что надо? — К нему подошел высокий, широкогрудый парень. Они даже посты выставили.

— Хотел пристроиться на скамейке, — сказал Курай.

— Увы, мой друг, плацкартных мест нет! — Парень развел руками.

— Вижу, — сказал Курай. — Счастливого караула.

На автовокзале, куда он добрался, как только пошли трамваи, от касс тянулись длинные очереди. Курай осмотрел стоявших: могли ведь быть и знакомые. Но знакомых не было, не было и билетов. Сейнер в Севастополь должен был подойти через два дня. Он еще не знал, что будет делать эти дни, но, как человек действия, не мог успокоиться, пока не добрался до последнего конечного пункта.

Первое — достать бутылку холодного пива и часа два поспать, решил Курай. Обязательно поспать, он знал, что теперьешнем состоянии, усталый и размозренный жарой, он будет слишком вялым и робким, чтобы точно рассчитать свои действия, последние секунды перед отправлением автобуса.

Конечно, может не получиться с первого раза, размышил Курай, но рейсов достаточно, здесь главное — рассчитать, потому что контролер не выходит из автобуса до последних секунд, шофер заводит двигатель, контролер выпрыгивает, двери остаются открытыми еще около двух секунд даже при самом разгоряченном шофере, и это его секунды. Надо сразу и решительно бросаться в конец автобуса, деляя вид, что опоздал и бежал из последних сил. Обычно шофер считает, что он показал контролеру билет при входе и, если так решительно бежит в конец автобуса, значит, у него есть место. Иногда шофер все-таки требует показать билет, тогда надо долго рыться в карманах, — и тут уж, у кого больше выдержки, — бывает, что шоферу надоедает и автобус трогается. Потом остается самое несложное — подойти к шоферу и честно признаться.

— Утешай еще раз, — услышал он рядом и оглянулся, хотя это вряд ли могло относиться к нему. У бетонной колонны сидела девушка. Какая красивая, удивился Курай и отвел глаза. Он всегда стеснялся рассматривать красивых женщин, боясь, что им это неприятно. Очень белая кожа лица была такой чистой, а глаза такими отчетливо синими, что с трудом верилось, как у людей могут быть такие лица, если вонючая пыль и солнце.

Когда писатель ловил с ними рыбу, он объяснял им: понятие красоты относительно и различно в различные времена, у разных народов и у разных классов. Дворяне, например, считали красивыми тонах, бледных и худосочных, а крестьяне — крепких, румяных и полных женщин, пригодных для половых работ. Тогда Курай согласился, а сейчас подумал, что писатель был неправ, красота во все времена оставалась красотой, такие девушки удивляли и радовали много веков назад и будут радовать всегда. Он вспомнил, как единственный раз он был в музее в Москве и видел на картине женщину, почти девочку, с ребенком на руках. Она, наверное, была красивой тогда, раз ее нарисовал художник три века назад, и нисколько не хуже выглядят сегодня, хотя сегодня девочки не такие пухленькие, а более подтянутые и спортивные.

— Ну, пожалуйста, папа, — сказала девушка. — А вдруг открылся?

Ее отец, мужчина лет пятидесяти, сонный и небритый, загорелый до черноты, как загорают люди, постоянно работающие в стели, беззлобно ее переглядывал:

— А вдруг, а вдруг...

— Я бы уже побежал узнавать, — подумал Курай.

— Только лимонад из холодильника. У них всегда есть запас в холодильнике. Сейчас всюду холодильники.

— Дадут, жди больше! — проворчал отец, но все-таки поднялся и пошел к буфету.

Девушка осталась одна. Она сидела на чемодане, плетеная корзина из прутьев. Таких Курай не видел уже нескользко лет. Вещи окружали девушку правильным полу-



кругом и как будто были расставлены так, чтобы отгородить ее от остальных обычновенных пассажиров.

Девушку рассматривали многие. Молодые парни очень откровенно и подолгу, стараясь привлечь ее внимание своим угорством. Она тоже смотрела на парней, но никого не замечала и не выделяла. Просто смотрела и снисходительно улыбалась, наверное, давно привыкла к такому мгновенному интересу.

Из-за чемоданов Курай не мог рассмотреть ее ног. Ему очень хотелось, чтобы ноги оказались длинными и стройными. Курай подошел ближе, заглянул за чемоданы и увидел ее ботинки. Ортопедические ботинки из желтой кожи, неестественно раздутые у подъема, с литыми задниками, с высокой шнуровкой. И сразу представил, как она идет, поутиному переваливаясь, и как ей с жалостью смотрят вслед. Он и сам всегда обворачивался. Надо же, чтобы девчонке так не повезло!

Курай отошел, но на его место тут же протиснулся парень в джинсах, полосатой рубашке и шляпе с загнутыми полями — таких парней он видел миллионы.

— Откуда вы? Я не хочу вас потерять!

— Я не собираюсь мгновенно исчезать. — Девушка улынулась.

— Послушайте, можно мне поехать с вами? — Парень, будто боясь, что его превратят, торопился сказать все сразу. — Я шляюсь по Крыму без смысла и цели. Можно, я поселюсь где-нибудь недалеко от вас? У нас будет время познакомиться ближе и узнат друг друга. Ей-богу, я неплохой парень. Я не женат.

К их разговору прислушивались, но парня это никакого не смущало. «А может, он серьезно? — подумал Курай и позавидовал его уверенности.

Девушка ушла и улыбалась. Ей, наверное, нравилась такая откровенность.

— Пойшли!

Курай оглянулся. Сзади стоял ее отец.

— Занял два места и все заказал. Данила посидит с вещами.

— Идите. — Из-за чемоданов приподнялся мужчина в таком же мятом, как у ее отца, чесучевом костюме, такой же загоревший до черноты. — Я потом пивка залью.

— Идемте. — Парень величодушно подал ей руку. И девушка вдруг скжасалась и уцепилась за чемодан. — Идемте же! — Парень взял ее за руку. В глазах девушки было столько отчаяния, что Курай бросился вперед.

— Эй, приятель, — сказал Курай. Он еще не знал, как поступит, но ясно было одно — парня надо отшзвать. — На пару слов можно?

— Я сейчас, — сказал парень девушке, и они с Кураем зашли за колонны. — Я вас слушаю, — очень вежливо сказал парень.

— Отцепись от нее, — сказал Курай и подумал: испугается — так ему и надо, а спросит — можно и объяснить.

— Вы ее брат? — спросил парень.

— Нет, — сказал Курай.

— Вы ее женихи?

— Нет.

— Вы ее знакомый?

— Нет, но...

— У меня к вам больше вопросов нет. Простите, но мне пора вернуться. — И парень спокойно пошел, не обращая на Курая внимания.

— Подожди, — попросил Курай и схватил парня за руку. И почти мгновенно рука Курая оказалась заведенной за спину. Это было справедливо. На его месте Курай поступил бы точно так же: нельзя по-

зволять хватать себя всяким. Курай не думал устраивать драку, просто у него сработал инстинкт по-граничника. Упасть, перехватить ногу противника, ранить на себя. Этот прием на заставе с ними отрабатывали сотни раз. Парень нелепо взмахнул руками, но упал легко, перевернулся и взвешенной пружиной вскочил на ноги.

Его рука оказалась на пояске Курая, и по тому, как он поставил ноги, Курай понял: перед ним самбист и очень тренированный, потому что так после падения есакивают только самбисты, которые падают не от слабости к слабости, поскольку изувечившись, а каждый день на тренировках. К нему уже бежали люди. Курай опустил руки.

— Товарищи, — сказал он. — Я сейчас все объясню.

Но ему уже завели руки. Он не сопротивлялся. Как всегда, после возбуждения наступала апатия. Он хотел сесть, но его довольно грубо приподняли.

— Постойте!

Кто-то звонил в милицию. Мелькали возбужденные лица. «Тоже мне, нашли кому радоваться», — подумал Курай, — преступника задержали!

В отделении милиции было тихо и свежо, пахло только что вымытым полом. Курай подумал: хорошо бы сейчас снять ботинки и стать босыми ногами на холодный пол, подержать ноги в холодке и больше ничего не надо.

Молодой лейтенант с серым после ночного действа лицом осмотрел вошедших, помолчал, колеблясь, с кого начинать, и начал с парня в джинсах.

— Рассказывайте!

— Я не знаю, о чем рассказывать. На меня напал этот гражданин без объяснения причин.

Лейтенант недовольно поморщился: знаем, мол, знаем, все начинают с этого.

— Пожалуйста, документы.

Курай выложил паспорт, парень — паспорт и синюю книжечку.

— А, коллега! — протянул лейтенант. — Четыре курса юридического. Закончили?

— Через полгода защита, — сказал парень в джинсах.

«Свои встретились, договорятся», — подумал Курай.

— Известно, куда распределят? — спросил лейтенант. — Может, к нам?

— В прокуратуру, — сказал юрист в джинсах. — Я проходил у них практику, они меня берут.

Понятно, — сказал лейтенант. — Рассказывайте вы. — Лейтенант кинул Кураю и прикрыл глаза.

Курай начал рассказывать. Он чувствовал, что говорит путано, лейтенант перестал записывать, на-верное, не понимая, при чем тут девушка в ортопедических ботинках и зачем ее надо было спасать. Курай запутался окончательно и замолчал.

— А теперь с самого начала и правду, — сказал лейтенант.

Курай молчал, вдруг поняв, что он ничем не может доказать свою правоту: свидетели разъехались, автобус с девушкой ушел.

— Простите, — сказал юрист в джинсах. — Пожалуй, он не так и виноват. На его месте я поступила бы точно так же.

— Устроили бы драку? — спросил лейтенант.

— Драку нет, но...

— Драку нет, а что? — спросил лейтенант. — Налицо хулиганские действия, нарушения порядка в общественном месте.

— Я тоже виноват, — сказал юрист в джинсах. — Не скажи я мгновенно сопротивления...

— Сопротивляться надо, — перебил его лейтенант. — А если бы у него был нож, вы были бы сейчас не здесь, а в больнице.

— А если бы у меня была граната? — спросил Курай.

— Ну, знаете... — обиделся лейтенант. — Ладно... Поверим, что у нее физический недостаток, который она, вполне возможно, и не хотела открывать в данный момент. Но вообще-то, если человек имеет дефект, он не обращает на него внимания, потому что привыкает к нему.

— К этому привыкнуть невозможно, — сказал юрист в джинсах.

«А он парень вроде ничего», — подумал Курай.

Юрист в джинсах и лейтенант заспорили. Лейтенант считал, что Курам надо наказать за нарушение порядка в общественном месте, юрист в джинсах с ним не соглашался. Не все выражения были понятны для Курая, то один, то другой доказывали что-то на пределах необходимой обороны, а все это почему-то называли юридическим казусом.

— Ладно, — сказал лейтенант. — Пусть тогда это решит суд.

— Как суд? — удивился юрист в джинсах.

— Это типичное мелкое хулиганство, и я оформляю дело в суд. А гражданин Егоров, — лейтенант заглянул в паспорт Курая, — должен будет понять, что, если его правота не согласуется с правотой другого человека, ее не следует доказывать кулаками. Это недостойно настоящего человека.

— Это несправедливость, — твердо сказал юрист в джинсах.

— Не советую, — многозначительно сказал лейтенант. — С хулиганством надо бороться беспощадно. А о вашем поведении мы можем сообщить по месту вашей будущей службы...

— Истина мне дороже! — гордо ответил юрист в джинсах.

«Вердя ли я его увижу в зале суда?», — подумал Курай.

Курая и еще нескольких человек в мятых пиджаках вывели во двор милиции.

— Граждане мелкие хулиганы! — бодро обратился к ним молодой старшина. — Пока суда не было, мы вас просто просим помочь милиции. Пожалуйста, склоните эти кирпичи более аккуратно.

У стены были сломаны кирпичи. Мелкие хулиганы начали складывать штабель, но складывали так, что штабель должен был наверняка рассыпаться. Курай оттеснил высокого парня и начал выкладывать сам.

— Выслужиться хочешь? — спросил парень. — Думашь, меньше дадут?

Курай хотел ему ответить: «Если делать, то как следует», — но, взглянув на неуверенные движения парня, решил, что поговорит, когда тот пропретнее.

— Стойки! — приказал старшина. Их вывели на улицу. Юрист в джинсах терпеливо ждал на солнцепеке. Он подошел к Кураю.

— Я иду с вами в суд. Мы докажем...

— Не разговаривать с арестованными! — прикрикнул старшина и скомандовал: — Шагом марш!

— Меньше пяти суток не дадут, — обсуждали сзади.

Курай подумал, что через двое суток подойдет сейнер и он здорово подведет ребят, если опоздает.

«Надо что-то делать», —lixoradочно думал Курай, — что-то делать. Но что, он не знал, потому что впервые в жизни попал в такую ситуацию.

Курай оглянулся. Юрист в джинсах шел рядом. Лицо его было мрачно и полно решимости отстаивать правое дело. И Курай успокоился: все-таки рядом с ним шел будущий прокурор.

Владимир Костров



Воспоминание о Заполярье

Там, где Иртыш сливаются с Обью,
чтоб вместе течь в океан;
там, где в двустолке рядом с дробью
демурит равнинный жакан;
там, где обрывается к морю
край континентных карт;
там, где льдами хрестит весну,
как сахаром, Салехард;
там, где пахнет стерлячным наваром
на норд, ост с вест;
там, где становится просто товаром
смолистый сибирский лес,
где в широких речных поймах
болота и мошкара,
где трубы лежат сегодня,
а нефть открыта вчера,
где шурпит полярное солнце
желтым мансийским глаз,
где пунчутся между кочами
горячий сибирский газ;
там, где за бусирками
идут плоты по пьяты,—
там, на сибирском Севере,
там
легла нефтяная трасса
прочно и навсегда,
возникла новая раса
стонких людей труда.
Как в журнале «Дружба народов»,
здесь все языки страны
близко к оригиналу
на русский переведены.
Азербайджанцы, армяне,
татары—сибиряки.
Да здравствует новое братство—
тиоменские буровики!

Туман в столице не простой туман,
Он словно деревенский добрый леший...
Он простиный на наш балкон повешен,
Он клочьями стекает по домам.
Колышется у самого окна
Его неосязаемая масса,

В которой нету ни костей, ни мяса,
Но плотью духа все она полна.
Туман в столице. Он уснул, притих,
Им площади и улицы забыты,
И в нем, как в неком облаке, размыты
Рабочих лица возле проходных.
Рабочие идут среди белой мглы,
То вдруг возникнув, то исчезнув снова,
Под мыслью шорохом дворнициком метлы,
Под кроткий свист ночных постовых.
И брезжит чуть восток издалека,
И крыты крыши розовой дранкой.
Картавая горошинка свистка
— Идет народ! —
Предупреждает транспорт.
Люблю я ранних утренних людей,
Как и туман, огромных и неясных,
Порою грубых, но всегда прекрасных
Извечных: работают своеи.
Люблю смотреть, как плачет в берега
Бетонные, как улицей струится
И в здания кирпичные стремится
Великая рабочая река.
Кто спросит: «Где конец ее и край?»
Отвечаю: «Нету ей конца и края!»
Опять погода влажная, сырья.
Туман в Москве!
Хоть ложкою хлебай.



Еще дышало глубоко и мудро
рассветное российское село;
хоть за окном уже вставало утро,
в моск углу еще не рассвело.

Когда, и разбудив и озадачив,
нарушив основной закон луча,
мне на лицо уселись желтый занчик,
чуть подрокан и задал стрекача.

Сырые кеды натянув,
неслышно
на росный луг я вышел налегке,
а под моим окном стоял мальчишка,
держа осколок зеркала в руке.

И, заспанный, зевая и мигая,
я тихо проворчал:
«Чего шалиш?»
«Я не шалю. Я солнцу помогаю!»—
вполне серьезно возразил малыш.

А по небу такое солнце плыло,
начищенным горнами трубя!
Великое и щедрое светило,
есть на земле помощник у тебя.

Он чище нас. Он будет жить иначе,
полнее дело сделает свое.
Он, как и мы, взял трудную задачу
и, верю, не отступит от нее.

Да осветят
темная обитель,
вершины гор
и низкие пруды!
Да здравствует курносый представитель
сияющей космической звезды!



Вот женщина с седыми волосами
с простого фото смотрит на меня,
тем чаще вспоминаю я о маме,
чем старше становлюсь день ото дня.
Глухое костромское захолустье
и влажные ветлужские леса
наполнили и добротой и грустью
твои большие синие глаза.
А светлые ветлужские излушки
и чистая, лучистая вода
такою лаской одарили руки,
что их не позабудешь никогда.
Благодарю тебя за первый свет,
за первый след,
за крик гусей в разливах,
благодарю тебя за первый снег,
за столько лет,
тревожных и счастливых.
Я стал грузить,
и у меня семья,
житейского поднакопилось хлама.
Все чаще о тебе тоскую, мама.
Старею я.



Светлый лебедь на Чистых прудах,
Кот сибирский в пуховых чулках,
Черный пудель в шикарном манто
И воробушек в сером пальто.
Пару кенарей держит сосед,
И они его будят чуть свет.
В глубинах городских этажей
Сышен шорох колючих ежей.
Черепаха ползет не спеша —
А ведь тоже живая душа.
Друг лохматый скучит у дверей.
Грустно было б нам жить без зверей.

Илья Фоняков



Электролиния

Через поля, через луга,
Где кашка и осот,
Светла, прозрачна и легка,
Уходит ЛЭП-500.

Через поля, через луга
Бредут без колен
Опоры в виде буквы «А»,
Опоры в виде «И».

Уходят, чередуясь, вдаль.
Тягается вдали
Серебряная магистраль:
— А-И-А-И-А-И.

Декабристы в Сибири

Дворяне, инженеры, птенцы
Лейб-гвардии полков
Растяли хлеб и огурцы,
Лечили мужиков.
С чандоном в бричке промостясь,
Под мерный шум колес
Беседы вел Волконский-князь
О ценах на овес.
Сынов учили, дочерей
Не презирать труда...
И к ним Сибирь была добрей,
Чем те, кто слал сюда.

В юности

И я смутился в тишине,
Когда открылось мне:
Все книги в мире обо мне,
Все песни обо мне!

Читая повесть или стих,
Себя я видел в них:
С наивной гордостью — в одних
И с ужасом — в других.

О, время, трудное вдвойне,
Когда в большой стране
Все книги были обо мне,
Все песни обо мне!

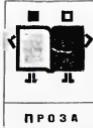
Если темная сила нагрянет

«Пускай полезут, — мне сказал
Пастух алтайский гор,
Как только с ним я завязал
Тот самый разговор, —

Да я, хоть стар, — таков закон:
Помру, но отстою!
Да я на каждом из окон
Поставлю по ружью!..»
Ружье в наш век — почти смешно:
На уток в камыше!!
Но как-то стало все равно
Спокойней на душе



Я помню старый разговор,
Что строятся стихи
Приимерно так же, как шатер
Палаточный в степи.
Сначала колышек простой
В сухую землю вбит.
Потом, конкретный и густой,
В права вступает быт:
Сундук с одеждой, стол, постель,
Посуда, хлеб, вода...
И вдруг — нечаянная щель,
И в той щели звезда.



АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ

паводок

ПОВЕСТЬ



Рисунки
Г. Новожилова.



Доброму человеку бывает
стыдно даже перед собакой.
А. П. ЧЕХОВ.

24 мая. Полдень. Слава Гусев

Вертолёт завис над проплешиной между прибрежными кустами. Сверху снег казался голубым, а тени от деревьев синели акварелью. Говорить и даже кричать теперь было бесполезно, не нужно, ни к чему. Гусев вышел из пилотской и устало сел у иллюминатора.

Два раза, надрывая глотку, он заставил вертолётчиков обойти трапеуляционную вышку, пока окончательно не убедился сам, что они правы и что, кроме этой проплешиной, ближе к вышке подходящей площадки нет.

Можно было, конечно, выбросить лестницу, спуститься по ней, но «мокног» лишь теоретически: спуститься действительно можно, но лишь самим, огромные тюки с едой, палаткой, а главное, приборами никак не выгрузишь, не выбросишь, хотя внизу и снег. Этого не позволяла инструкция, но прежде всего здравый смысл, а здравый смысл был для Гусева главной инструкцией.

Он махнул рукой, вышел из пилотской и теперь разглядывал, как там, за иллюминатором, гнется от ветра, который гонят лопасти, голые кусты на рыхлом, осевшем снегу, как тень вертолёта, похожая на странного жука, отраженного на белом полотне экрана, медленно приближается к нему, как земля становится все ближе, ближе...

Кабину качнуло, вертолёт взмыл винтами, пробуя, устоячиво ли встали его ноги, потом разом умолк, на снегу, мельтеша все медленнее, закрутилась видимая теперь тень винта. Гусев шагнул к двери, отстегнул пружину, прихватившую ручку, и замурился.

Снег, синеватый сверху, слепил глаза ярким, искривляя полотном; Гусев рассмеялся и прыгнул вниз. Снег был волглый от весенней сырости, крутизнатый, словно грубая соль, но чистый, потому что никто не могло загрязнить его тут, в глубине тайги, отгороженной от ветров высокостволным сосновым.

Хлопнуло стеклышко в пилотской кабине, рабочий летчик, совсем падан, высунул по шею голову, освобожденную от вечных наушников, плонул для

блезириу длинной хулиганской струйкой и крикнул Славе хозяйским, начальственным баском, зная, что теперь, сойдя с вертолета, Гусев обратно к нему не полетит:

— Ну, вы, кор-роче!

— Я те попонукаю, кузнецик! — рыкнул Гусев, не переставая ульбаться и разглядывать веснушчатое лицо пилота: грубоевые и высокомерные с геодезистами, при Гусеву летчики высокомерие свое прятали. Таков уж был Гусев — приземистый и широкий, как камбала, с такими же камбалыми ладонями, округлыми, но как будто отлитыми из железа, и с лицом, жестким, угловатым, широкоскулым, как би высеченным из дерева.

Слава Гусев был известен в поселке своей силой, сдержанной, однако, темпераментом и характером. Силы хулиганской, разнужданной или там пьяной люди в лучшем случае боятся, но уж никогда ни за что не уважают — уважение достойна лишь сила сдержанной, которой стягиваются, которую за зря не показывают. Один только раз пришло применить ее Гусеву принародно, когда притянулись к нему три пьяных заезжих уркагана; — занесло их за длинным заработка. Тройка уркаганов упала приземистыми, не стягиваясь прохожих — милиции в тутовых краях скоро не сыщешь, — но Гусев утомил их: неловко, непривычный к дракам, он махнул несколько раз своей широкой камбалей ладонью, метя по шеям, перозился, правда, слегка о ножки, но шпана попавлилась наземь. Слава связал им руки шарфами и пошел контуром вызывать участкового. Сделал он все это не спеша, словно выполнял какую-то работу, малоприятную, но нужную, стыдясь при этом случайных зрителей, оказавшихся вблизи.

Как это иногда бывает с физически сильными людьми, Гусев преимущества своего никогда не использовал, не похвалялся им, не гнул прилюдно подков. В поселке, в городе, на людях им то и дело овладевала странная застенчивость, и волною он чувствовал себя только здесь, в танге, среди немногих своих товарищей, и только тут, да и то изредка, под настроение, его захвачивало неожиданное для него самое озарение.

Спрятав из вертолета в снег, Гусев гоготнул, принял первый куль, самый тяжелый, с приборами, потом выбрался из сугроба, крикнул осталенным. Из кабинки, разбежавшись, выскоцил в снег Орлик — Валька Орлов, по пояс вонзился в сугроб, с трудом выбрался; дурдачясь, они приняли груз, скидывая его как попало — потом все разложили, раскинули палатку, как полагается, тут уж у Гусева полный порядок. Перекрикиваясь с летчиком, поругивая его, обзываая таксистом и извозчиком, который, желая получить на чай, издеревается над пассажирами, Гусев принял груз, подсчитывая про себя количество тюков, потом по лесенке солидно спустился дядя Коля Симонов, за ним спрыгнул Семка Петрушенко.

Настала пора летчиков. Захлопнув свою форточку, они включили двигатели, винты, стремительно раскручиваясь, отглушили ветром, свистом и грохотом; вертолетчики не торопились взлетать и поднялись, когда уж не стало никакого терпежа и перепонки у ушей, казалось, совсем лопнули.

Вертолет поднялся, покрутил хвостом, как вертлюг, стрекоза, и исчез за сосновым, а Гусев все еще не мог услышать, что говорят другие, — уши словно забило ватой.

Он усился на куль с палаткой, достал пачку сигарет, закурил и, выдыхая дым, жадно оглянулся, как оглядывался он уже не раз, попадая на новую точку. Сколько лет ходит Гусев геодезистом — сперва простым рабочим, а теперь начальником группы, и

всякий раз оглядывается вокруг себя жадно, с любопытством, оказываясь в новом месте, и всегда ему хочется в эти первые минуты готовить, кидаться снежками, бороться с приятелями. Но он только улыбался, сдерживая себя, оглядывая новое место уже хозяйственно, как бы переключая глаза с пейзажа, радующего сердце, на деловой рельеф местности, высоту различных точек и топографические ориентиры.

Кусты бросали густые синие тени, чуть выше, на холме, была триангуляционная вышка, лучше всего было бы подняться к ней, это было ясно с самого начала, еще там, в вертолете, но теперь перебираться бессмысленно: работы всего на два дня, а это проплещи возле реки — самая удобная площадка для вертолета.

Возвращаясь к своим заботам, Гусев огляделся еще раз, и, чтобы не таскаться туда до назад, чтобы сэкономить силы свои и трухи своих помощников, которым и так за эти два дня, нужные для съемок, придется вдоволь набродить по крупиточному, а значит, рыхлому снегу, Гусев решил, что лагерь они разобьют прямо здесь, в двадцати метрах от трех лунок, оставленных колесами вертолета, на небольшом пригорке, где можно хорошо разместить и палатку и выгодно поставить антенну.

— Итак, будем знакомы, Петр Петрович. Я следователь прокуратуры. Моя фамилия Семенов. Хотел бы предупредить вас, что в конце нашего разговора вам придется поставить под протоколом подпись. Так что лучше всего говорить четко, по порядку, подробно отвечая на поставленные вопросы.

— Что же это, допрос?

— Лучше назовем процедуру дознанием. Так давайте начнем с предыстории. Ваш год рождения?

— Тридцать пять.

— Сколько лет вы в этой должности?

— Пять.

— А на изыскательской работе?

— Двенадцать.

— Значит, у вас большой опыт?

— Раньше считалось так.

— Что вы окончили?

— Институт инженеров геодезии и аэрофотосъемки.

— Тот же самый, что и Орлов?

— Тот же самый.

— Вы, конечно, не знали его по институту?

— Как я мог знать его, если он окончил институт в прошлом году? — а я двенадцать лет назад?

— Ну, мало ли...

— Нет.

24 мая. 13 часов 20 минут. Валентин Орлов

«**П**одождите письмо. Наш старший сорогнал с нас семь потов, но за час мы поставили палатку, наладили рацию, сложили вещи. Сейчас объявлен перекур, наш радиостанция Семка Петрушенко на примусе варит концентрат. Минут через двадцать поедим, и тут уж настанет моя стихия, потому что, конечно, даже самому Гусеву не угадаться за мной в точности измерений. Вот такие пирожки, Аленка.

Опишу тебе новую точку. Мы сидим на небольшом пятачке среди снежной равнины, впрочем, пятачок этот тоже снежный, просто он едва возвышается над приречной луговиной. Это было самое удобное место для посадки вертолета, и Гусев про себя верно решил, что мы тут и останемся, хотя подальше есть высотка с триангуляционной вышкой.

Но тащиться туда сквозь кусты да еще по рыхлому снегу — безумие, неоправданная траты сил, которые нам и так пригодятся, и я, стараясь принять собственное решение еще до того, как объявит свое Гусев, был рад, что его и мое решения совпали. В прошлом письме и еще раньше я писал тебе про начальника нашей группы. Он довольно опытный человек, хотя окончил только техникум: есть одно доказательство, что знания без опыта теряют свою цену. Я знаю гораздо больше Гусева в чисто профессиональном отношении, но он знает и умеет куда больше меня в отношении житейском, практическом. А без этого в поле нельзя. Поэтому я и стараюсь, ничего не говоря Гусеву, принимать собственные решения — не из самолюбия, нет. А для того, чтобы, учась у него самостоятельности, которая меня, конечно, ждет в недалеком будущем, не быть следы его подражателем. Часто наши решения не совпадают, и я стараюсь анализировать причину. Пытаюсь быть объективным. В большинстве, слушаю Гусев предсматривает при своих решениях то, чего я не знаю, и ту, как говорится, крить нечем. Но иногда мне кажется, что мое решение было бы более верным, я говорю об этом Гусеву. Он смотрит на меня внимательно и, мне кажется, не понимает, чего я хочу. А однажды после такого вопроса он меня спросил:

— Ты чо, Орелик, — это он меня так ласкателю называет, — ты чо, — говорит, — Орелик, на мое место сесть хочешь? Дак не выйдет. Я за начальствование свое надавку приличную получаю, а у меня семья, дети... Я их попрекнулся, стала объяснять ему, что даже не думал об этом, просто готовился себя к самостоятельной работе, но моя слова, кажется, не произвели на него никакого впечатления. А семья у него действительно большая: родители жены, жена и трое детей, подумать только! Жена у него, правда, работает, но остальных он кормит, поэтому мы и костоломим, как пройдется. — Гусев зарабатывает на семью. Я бы поберег силы группы, вон и радист наш Семка, длинный, нескладный, прямо мальчишка-переросток, иногда поскуливает, что мы гоним, как сумасшедшие, но лиши только поскуливает, не больше, и то, когда Гусева поблизости нет: дни ведь всем нравятся, мне тоже они нравятся — знаешь, как приятно, вернувшись с поля, получить у кассира тугую пачку жизненно необходимых средств?

Впрочем, тебе этого пока не понять, да, может, и вовсе не к чему, это я, мужчина, должен хлопотать о деньгах, для женщины это второе дело, хотя, впрочем, без денег шубу не сошьешь, как говорится. Ну ничего, ты скоро приедешь ко мне, как-нибудь уговорю ГэПз отдать тебя в мою группу, и мы начнем вдвое обхаживать эти урманы, эти просеки и луговины. Конечно, нас будет жрат комары и гнус и будут жечь морозы, но зато, Ленка, мы будем не врозь где-то, а вместе. И когда-нибудь приедем в институт, огрубевшие, обветренные, я с черной окладистой бородой — кстати, уже начал ее отпускать, чтобы ты не узнала меня при встрече, — и наши замшевые пни — преподаватели и всякие там прочие аспирантики — увидят настоящих людей... Зовет кашевар. Обед готов. Потом мы сразу уедем на съемку. Вечером допишу».

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение о людях Гусева. Я думаю, это поможет восстановить картину их психологического состояния в тот день.

— Гусев — человек опытный, лесовик, но не очень далекий. Образование — техникум. Привык выполнять работу «от» и «до». Радист у них новенький,

совсем мальчишка, маменькин сынок. Я думаю, во многом виноват он. Если бы по его неопытности не упала антенна...

— Даешь.

— Про Орлова я вам говорил, знаю его плохо. Он только начинал. Все, что знаю о нем, — учились в одном институте. Новичок, и этим все сказано.

— Там был еще один.

— Да, рабочий. Забыл его фамилию.

— Симонов.

— Точно, Симонов. Однофамильец поэта. Как же это я...

— Он, кажется, был в заключении?

— Вот, вот. Темный, в общем-то, тип, хотя мы вынуждены брать и таких: не хватает людей. Думано, в общем, контингент группы не блестал. Поэтому так и случилось.

— Словом, вы считаете, что психологическая обстановка в группе не была идеальной.

— Мягко говоря...

— И это одна из причин?

— Весьма существенная...

24 мая. 14 часов. Николай Симонов

Оншел первым, торя тропу к трансгуляционной вышке. Идти было трудно, рыхлый снег проваливался до самой земли под тяжестью тела и тяжестью груза: за плечами висел штатив для прибора, а сам прибор, болтаясь на груди в неудобном футляре, отягивал шею.

Идти было тяжело, но еще тяжелей было на душу, словно камень давил, как в тот день...

Но в тот день были причины: опять они полаялись с Кланькой, оттого он и пива выпил и бутылку взял, хотя ее и не открывал, да какой прок, что не открывал, к делу ее, однако, пришли. В общем, тогда камень давил справедливо, теперь же все это ерунда, одни впечатления, их надо топить, эти впечатления, чтоб не перли, иначе худо дело, это уж он испытывал с раза на прохладной отсидке. Но тогда была отсидка, какое-никакое, а заключение. Здесь же другое дело: воля, хорошая работа, денежная, и ребята, слова Богу, толковые, хорошие ребята, век бы с ними вековать, таскаться вот так по тайге и не вспоминать никогда эту Кланьку, былью все око застри, кабы не Шурик белобрыс, кабы не Санька его, Александр Николаевич Симонов, ученик третьего класса девяти с половиной лет от роду...

Снег шуршал, проваливаясь. Выбирая сапоги, Симонов видел, как капала с них вода, слышал, как чавкала она под снежным прикрытием, промывала там, на глубине, извилистые дорожки. Это особенно чувствовалось в низинках: там воды было больше, снег уже не казался белым — он был тяжелым и серым.

Симонов, наклонясь, подхватил пригоршню снега, из снега, как из губки, закапала вода, и он крикнул, не обобразиваясь, Гусеву, который шел следом:

— Слыши, командир, весна-то нас настигает!

— Слыши! — ответил Гусев, но Симонов тотчас забыл и о своем вопросе и об ответе начальника. Скоро предстоял перерыв, работы оставалось дня на два, не больше, а вертолету лететь до них ровно пятнадцать минут от поселка, так что, считай, они уже дома. Два дня — и банька тебе, и побриться можно в поселковой парикмахерской, где тепло, приятно пахнет одеколоном и ты можешь даже вздрогнуть от удовольствия под тихое бормотание парикмахерши и легкую музыку из радиоприемника.

Было в предстоящем отдыхе, в ожидаемом приятствии много хорошего, но теперь, подумав об этом,



Симонов понял, что тяжесть на душе, камень этот проклятый, тоже от недалекого будущего, от недолгого безделья, которое намечалось. За две — две с половиной недели Славка Гусев непременно успеет смотреться к своей обширной родне, Орелик улетит в институт, навестит подружку, Петрученко тоже не останется, проведет матя, и только он один не стронется никуда из таежного поселка. Он будет ходить по два раза в кино — на детские сеансы и потом, вечером, брать в чайной по стакану горяченькой, но не больше — на большее у него зарок; топтать сапогами весеннюю грязь, маясь своими мыслями, горюя о Шурине, проклиная Кланьку и не решаясь поехать в свой неприметный городок, где все это случилось, все произошло в тот, пропади они пропадом, день и час.

Даже самое простое не позволит себе Николай Симонов. Получив на почте пачку Кланькиных писем, не раскроет ни одного, сунет в мешок — и все, разве что злой станет топтать, грязь, измеряя поселок в одном возможном направлении — вдоль единственной улицы, уставленной крепкими бревенчатыми пятистенками.

Он будет ходить эти две недели туда и сюда, и буфетчица Ниорка, навесив амбарный замок на дверь чайной после закрытия, станет следить за ним тоскливым вздыхом взглядом, открывая перспективы и предоставляя возможности; а он, бедолага, станет прятать глаза, с тоской кляня себя за однажды допущенную слабость, горюя и не зная выхода, а потом уедет снова сюда, в глуши, в безлюдье, чтобы опять терзать себя невыносимостью одиночества,

непоправимостью обмана и смертельной обиды, полученной им от Кланьки...

Эх, Кланька, Кланька, паскудная твоя натура!

Симонов остановился, задохнувшись от воспоминаний, оглянулся вокруг, чтобы забыться, сняв для охлаждения шапку.

От кудрявой его головы валил пар, давно не стриженная, неухоженная борода торопливо лопатой, и Слава Гусев, взглянув на него, скопу улынулся, прикидывая, на кого же похож дядя Коля Симонов: то ли на цыгана, то ли на разбийника? Или на химчика какого, затворника из старообрядцев?

— Ну что встал, дядя Коля? — крикнул Валька Орлов, который шел третьим.

Симонов обернулся назад, наплыл трех на голову и пошел дальше, думая о своем.

Называл его дядей Валька не улыбаясь, выходило это у него всерьез, да, подумав, так ведь и получалось: Валька — двадцать три, ему — сорок три, да плюс бородица, да еще отсюда — все пополн тянет на вид с этими привычками — одним вольным: хохь — носи, хохь — брейся, другим невольным: судьба уж, видно, так распорядилась.

— Каким образом группа Гусева оказалась на изысканиях до начала полевых работ? Ведь полевые работы в этих районах, согласно инструкции, могут быть начаты лишь после окончания паводка?

— Вы рассуждаете, как формалист. Впрочем, я понимаю, вы защищаете букву закона. Нам же, практикам, во имя сути дела приходится иногда поступаться буквой. Мы выполняем план. В конце концов выполняем государственное задание. Это во-первых. Во-вторых, приказа — подчеркиваво: приказа — о начале полевых работ не было. Так решено на общем собрании. Решено голосованием. Единогласно. Потому что люди не хотят сидеть без дела, а хотят заработать.

— Выходит, собрание голосует за нарушение инструкций и администрации тут ни при чем?

— Не будьте формалистом, призываю вас. Разберитесь в сути.

— Хорошо, разберемся в сути. А суть такова: любые полевые работы в поймах рек на время паводка прекращаются. Кем и как определяется начало паводка?

— Гидрометслужба дает сводку вообще-то. Ну, и на глаз. Группы, работающие в поймах, сами радиуют о подъеме воды или обильном таянии...

24 мая, 17 часов. Семен Петрушенко

Семке было двадцать лет, и он все еще рос, рос до неприличия быстро, не успевая наращивать мышцы, а оттого походил на жердячку или на Паганелю. Самый молодой и самый длинный в их группе, он чуть не вплотину перерос Славу Гусева, своего начальника, и очень смущался этим обстоятельством, потому что если он был вдвое длиннее Славы, то вдвое и слабее. Досадуя на свои физические недостатки, Семка сам себя ругал «кантенном», уж тысячу раз удивившись, как это никто в группе до сих пор не догадалась прозвать его этой лежащей на поверхности и такой точной кличкой. Но, удивляясь недогадливости товарищей, ссыдаясь своей длиннотой и немощи, Семка все-таки имел и завоевания. К примеру, он очень гордился тем, что, окончив школу радиистов, много зарабатывал и не боялся одиночества.

Деньги ему требовались, чтобы посыпать матери, — он посыпал как можно больше, зная, как матя понесет корешок от извещения к соседкам, гордясь за

своего Семку, и как накупит к вечеру сластей по случаю перевода и поставит самовар, а потом станет долго глядеть на фотографию, где Семка и умерший отец сидят вместе.

Семка часто думал втайге о матери, хотя никогда никому не говорил об этом. Здесь после шумного города было много времени для самого себя, и Семка размышлял о своих приятелях, оставшихся дома, вспоминал фильмы, книги, которые прочел.

Часто ему становилось очень грустно, непонятно даже, почему, и он вспоминал маму — морщинистое ее лицо, ей было пол шестьдесят, она часто жаловалась, что поздно родила Семку. Надо было раньше, но первые ее дети умирали, и она всякий раз боялась рожать. То ли оттого, что Семка был поздним ребенком и остался жить, хотя мама привыкла к тому, что дети ее умирали, а это, видимо, очень важно, когда у женщины рождается ее первый и последний ребенок, мама очень любила Семку, и он горячо, с детьми чувствовал это. Ее любовь не была иступленной или горькой, какой может быть любовь матери, изуверившейся в своем материнстве, напротив, мама любила Семку как-то устало, обессиленно, но очень светло. Входя в материнский дом, Семка чувствовал, что он как бы вступает в солнечную комнату, солнечную всегда, и что этот свет не угаснет до тех пор, пока жива мать.

Семке было всего двадцать лет, его не взяли в армию из-за зрения: он носил очки. Тогда он окончил школу радиистов, закалился, обливаясь холодной водой, изгоняя из себя недостатки, как он выражался, характера, и устроился в геодезическую партию. Мама не была против: она освещала каждое Семкино решение, даже если в душе не соглашалась с ним, и он оказывался тут, вдали от жилья и от мамы. Первое было ему безразлично, а о матери он забыть не мог, как это часто случается с детьми, и, оставшись один, словно заблудший телок, вспоминал маму, представляя ее морщинистое лицо, ее руки, ее голос.

Писать из тайги было невозможно, и Семка, пользуясь своей должностью, а также договоренностью с радиостанцией отряда, которому, возвращаясь, выставлял мэду в стеклянной таре, отправляя маме дважды в неделю радиограммы. Радист отряда пересыпал их с попутным транспортом на телеграф, и мама, как казалось Семке, была спокойна. Деньги же он отправлял сам, вернувшись на короткие отды в поселок, — деньги имели особый смысл, эти крупные суммы: Семка помнил, как после давней смерти отца тяжело доставались они его не очень-то грамотной, без образования маме.

Всякий раз, когда мама доставала из шкафа обновы, купленные Семке на его деньги и, в то же время показывала возросшую цифру в сберкнижке, Семка очень рассстраивался, горячился, ругал мать за ненужную и глупую экономию. Мама получала теперь маленьную пенсию, деньги ей были безусловно необходимы, и Семка радовался своим большими заработками. И очень гордился ими.

Ну, а смелости требовалась Семке исключительно по служебным обстоятельствам. И для дальнейшего усовершенствования характера.

По долгу службы Семка часто оставался один, пока остальные уходили на съемку. Можно даже сказать, что он почти всегда оставался один и должен был к приходу группы сваргнить обед, постаравшись скопотят свежатинки, а также наладить связь и получить радиоуказание от вышестоящего начальства. По расписанию Семке полагалась Славина двустовка, что и помогало ему самому утверждаться в чувстве смелости, а также охотиться.

Надо признать, что охотиться Семка очень любил, стараясь, правда, не отходить далеко от лагеря. Однажды, когда Семка отошел подальше, он вернулся к настоящему цыганскому табору: антenna была сломана, палатка повалена, мешок с припасами разодран, а банки со сгущенной основательно измяты. Как установили эксперты во главе с дядей Колей Симоновым, в Семкино отсутствие в лагере пошуровал медведь-шатун. Дядя Коля Симонов при этом прочитал, благодарил судьбу за то, что Семка ушел подальше и не встретился с медведем, но от Славы радищ получил нагоняй и указание: охотиться в пределах видимости и слышимости лагеря.

Теперь Семка бродил по замкнутому кругу, имея в одном стволе дробь — для дичи, в другом «жакан» — для медведя. Шатуны, однако, больше не попадались, зато дичь Семка вправду вычищалось быть довольно метко, хотя и не очень стремился к этому: зайца ли, глухаря или тетерку надо было обдирать, прощешт, пальти, а делать это Семка ленился. Еда из концентратов получалась при меньших затратах труда и казалась Семкине не менее вкусным и уж по крайней мере весьма оптимальным вариантом. И только Славины или дяди Коли Симонова укоры пробуждали в нем охотничью инициативу. Любовь к охоте соединялась в Семке с некоторой долей лени.

В тот раз после ухода группы Семка довольно быстро, с одного выстрела, намерто убил тетерку, и, перекинув ее через плечо, пошел к лагерю.

Солнце палило прямым, близким лучами — вполне можно было загореть; Семка свистел во всю мощь какую-то импровизированную мелодию, сердце его колотилось от успеха и предстоящих похвал. Как всегда, когда ему удавалось добить дичь, он представлял себя на сцене, в этом таинственном одиночестве, а дома, во дворе. Уж это наверняка все окна, появившись он с такой добичей, разом расхлопнулись бы, к нему небежала бы ребятня, в один присест он стал бы замечательным человеком, героям даже среди взрослых. А тут он приносил зайцев, приносили тетерок, куropatок, пару раз убивал глухарей — огромных, от плеча до земли, и это считалось вполне естественным, нормальным, обыкновенным. Лишь Орелик — Валькия Орлов — иногда удивлялся, но Валька — интелигентный человек, только что окончил институт, он еще сам новичок, а на Гусева или на дядю Колю Симонова эти охотничьи добчики никакого впечатления не производят.

Семка шел по снежной целине, раздумывая о том, что через два дня, вернувшись в поселок, он из денег, отложенных маме, возьмет, пожалуй, некоторую сумму для давно необходимой вещи. Он купит фотокамеру, запасется пленкой, и, когда через две недели группа снова придет в тайгу, он снимется с добчией после первой же удачной охоты, а потом пошлет карточки домой.

Семка снова засвистел, перехватил тетерку в другую руку и испуганно огоконул.

Снег под ним податливо провалился; теряя опору, Семка замотлил ногами и очутился по пояс в ледяной воде. Он тотчас выскочил из нее, вылетел пробкой от холода и неожиданности и с удивлением обернулся. Куски снега, шурша, отваливались в бочажину, наполненную прозрачной талой водой. Семка выругался и русью побежал к лагерю. Вода хлюпала в сапогах, из ружейных стволов прорвались две тонкие струйки, мокрой была и тетерка.

Оранжевое, почти прозрачное на солнце пламя костра затрепетало в сущинке мгновенно; Семка, подпрягивая, скинул сапоги, переоделся и начал щипать тетерку, развесив на горячем солнце мокрую одежду.

В конце концов ничего страшного: ну, подумаешь, провалился в ледяную воду. Семка стал думать, как расскажет он об этом случае матери и как будет она волноваться, размахивать руками и наказывать, чтобы он был там, в тайге, среди медведей и прочих таких опасностей, поакуратнее. В горле защекотало, Семка подумал вздрогло, что жизнь жестока, разъединяя близких и одиноких людей. Он опять вспомнил маму — ее руки, ее голос, ее лицо — и оборвал себя, преодолевая недостатки характера: что же это он опять расхлопался, как девочка.

В котле, побулькивая, закипала вода, и Семка решил, что сегодня все будут доволены им, его удачливостью, его меткостью. Нет, что и говорить, он тут нужный все-таки человек. А вот пройдет годик-другой, поднадорет он покрепче в радиодоме, и за него еще станут драться начальники групп отрядов, партий.

Кто не знает, что настоящему радиисту цены нет и что такие радиисты сами выбирают, где и с кем им работать!

— Сводка Гидрометслужбы, Петр Петрович, как подтверждают свидетели, лежала на вашем столе. Отрицаете ли вы этот факт?

— Нет, тут я действительно допустил халатность. Забыл сводку вместо того, чтобы передать ее начальнику партии Цветковой. В пойме Енисея работала только одна группа, Гусева, подчиненная ей.

— Так что вы признаете?

— Признаю, хотя и не считаю это решающим фактом. В сложившейся ситуации люди Гусева, и прежде всего он сам, должны были сами искать выхodka.

— Они могли радиоровать и радиоровали, когда падок уже начался.

— Если бы с самого начала Гусев правильно выбрал расположение лагеря, ничего бы не случилось. Контролировать такие действия Гусева мы не можем и не должны. Не наша это обязанность.

— Значит...

— Значит, виноват Гусев.

— Один вопрос. А как бы поступили на его месте вы?

— Выбрал бы безопасную точку.

— Это можно говорить задним, так сказать, числом. Но если бы вы знали, что рядом, в пятнадцати минутах лета, находится экспедиция, вертолеты, дрозды...

— На друга надейся, а сам не плошай — так говорят народная мудрость.

24 мая, 17 часов 30 минут. Кира Цветкова

В двадцать восемь лет Кира никак не могла привыкнуть к тому, что ее зовут по имени-отчеству: Кира Васильевна. Вечерами, перед тем, как лечь спать, разматывая жиленьюю косичку, она глядела на себя в зеркало и в эти минуты, оставаясь наедине с собой, всякий раз удивляясь ее течению, которое против воли самой Кирьи вынесло ее вот сюда, на край земли, и поставило командовать мужчинами.

В школе тощенькая, маленькая, невзрачная Кира училась весьма средне, на троеках, которые ставились с натяжкой, доплелись до десятого, мечтая о том, чтобы найти техникум или институт себе по силам и по способностям. Скажем, педагогический, чтобы стать потом учителем в первых классах: с первышами хоть и хлопотно, но легко в смысле науки — сложненно там, вычитанию или правописанию выучить в конце концов можно.

Учась в школе, Кира только и думала о том, чтобы скорее покончить со всяческим учением, привыкнуть к будущей работе.

Учение вызывало у нее головные боли, внутреннюю опустошенность и какое-то безволие — она легко уставала, никогда не отличалась самостоятельностью, во всем подчиняясь жизнерадостным и энергичным подружкам.

Подружки же увлекли ее от пединститута совсем в другую сторону. Две самых энергичных, сильных, веселых из них поступали на геологический факультет; поддавшись уговорам, на экзамены с ними пошла и Кира и по шпаргалкам, которые перекинули ей подружки, успешно сдала вступительные. На факультете учились почти одни ребята, девушки поступать туда не решались, считая такую специальность мужской, и Кира неожиданно извлекла из этого пользу.

Ребята, полагая своим долгом опеку над немногими девушками, всячески выручали их — и на контрольных и на экзаменах... — помогали чертить, решать задачи, и Кира выплыла, успешно получила диплом и университетский ромбик, не изменяясь, впрочем, за эти годы ничуть и ни в чем. Подружки ее еще на третьем курсе повыскакивали замуж, но Кириня кротость и невразличность так и не привлекли никого: ребята предпочитали оставаться в хороших товарищами, но не больше, и Кира, завидуя подружкам, вынужденным по праву материнства оставаться в городах, уехала в тайгу.

Настоящим геологом она, однако, так и не стала. Оглядев ее хрупкую и невразличную внешность, начальство сразу определило ее в геофизический отряд, по другой, в сущности, специальности, и сразу на командную должность. Начальником группы или рядовым инженером-геодезистом назначить ее никто не рискнул — там бы пришлось отвечать и за план и за людей.

Три года Кира жила в лесном поселке. С грехом пополам освоила геодезические обсчеты и необходимую тут математику, подписывала бумаги, следила за передвижением своих групп, выполнением плана, иногда вылетала вертолетом на точки, где работали люди, но тут же, даже не ночуя, возвращалась, и все шло вроде бы своим чередом, тем более что ПэПэ — как звали сотрудники Петра Петровича Кирьянова, начальника экспедиции — хозяинячий ей не позволял и все решал сам.

Такое положение Киру устраивало; в конце концов ПэПэ знал дело куда лучше ее, и она никогда не отклонялась от четко заданной программы: все, что ей нужно и не нужно решать, согласовывать с Кирьяновым.

Кирьянов производил на Киру гипнотизирующее впечатление.

Огромный, мускулистый, почти квадратный, с зонким, раскатистым голосом, он, казалось, был создан для того, чтобы жить в тайге и командовать людьми, работающими в тайге.

Иногда, разговаривая с Кирьяновым, Кира думала, что, случись война, его немедленно надо было сделать генералом — этот человек был военным по натуре: он командовал группами, партиями, всей экспедицией, как воинскими подразделениями, — четко, кратко, не споря и не обсуждая своих решений. Ему или подчинялись беспрекословно, как на войне, или очень скоро вылетали. Вдогонку «свободолюбцам» Кирьянов слал резкие, отрицательные характеристики с такими выражениями, что уехавших не очень-то брали в другие экспедиции, потому что Кирьянов числился образцовым начальником. Он всегда выполнял план, рабочие, техники, инженеры —

все получали приличные премии, и Кирьянов был неуязвим.

Словом, ПэПэ Киру вполне устраивал, с таким начальством ей, существу бесхарacterному и нерешительному, жилось совсем не худо, к тому же Кирьянов проявлял к ней видимое уважение, называя Кирью Васильевной, и Кира это ценила. Она была человеком неуверенным в себе, и всякое поощрение к уверенности воспринимала чутько и благородно.

В половине шестого 24 мая она зашла в кабинет начальника и, получив любезное приглашение Кирьянова сесть, доложила ему расположение групп на итекающие сутки.

Большинство групп успешно заканчивало месячный план, люди Гусева переброшены сегодня на новую точку в пойме Енисея. Дня через два-три они будут доставлены в поселок.

Кирьянов смотрел на Киру Васильевну улыбаясь, и, казалось, не слушал ее слов.

— Ну, что вы все про работу и про работу? — спросил он, поднимаясь и прохаживаясь по комнате. — Давайте лучше про жизни! Вот, например, у меня завтра день рождения. Приходите! Выпьем, поганцем?

Кира, которую всегда было легко сбить с толку, покраснела, сконфузившись, а Кирьянов подошел к ней и протянул свою огромную руничу. Соглашаясь, Кира кивнула, красная еще больше, положила ладонь в руку ПэПэ, и тот осторожно прикрыл ее своими здоровенными, увитыми черной порослью пальцами.

— Каков порядок ваших отношений с вертолетчиками? Кому они подчиняются?

— Естественно, Аэрофлоту. У звена вертолетов, которые нас обслуживают, свое командование, они автономны.

— Ну, а на практике?

— Машины ездят мы, деньги наши, ну и звено выполняет любые наши требования. Какой смысл им портить отношения с нами? Все ведь люди, сами понимаете, в этом никакого секрета нет.

— Какова же все-таки цепочка ваших формальных отношений?

— Зарплату для простоты и из-за дальности ближайшей аэрофлотской точки пилоты получают у нас Метеобостановку, то есть могут они лететь или нет, пилоты получают из метеоцентра, а часто определяются и сами. К машинам прикреплен наш человек, вроде экспедитора. Он и передает пилотам наши требования, почти всегда сопровождает машину, планирует рейсы.

— Кто это?

— Храбриков. Сергей Иванович.

24 мая, 19 часов. Сергей Иванович Храбриков

 Сергею Ивановичу Храбрикову исполнилось пятьдесят два года. Он был самым пожилым человеком во всей экспедиции. По должности числился экспедитором, а фактически был ответственный за вертолеты. Мальчиком на побегушках служить было не очень почетно, особенно когда все вокруг на двадцать лет моложе тебя, но Сергей Иванович Храбриков старался не придавать этому никакого значения. Из дальних российских мест он, мужик себе на уме, прибыл сюда не за почетом или славой, а затем, чтобы в краях, где год работы приравнивается к двум, поскорее достичь пенсионного стажа и заработать при этом пенсию предельного размера.



И прежде в городе, где он жил и оставил теперь жену со взрослыми сыновьями ради своего предприятия, Сергей Иванович заметных должностей не занимал, был все более при должностных лицах, появляясь, что если на должности назначают, то ведь с них и снимают. А если ты не ленив и глупо не тщеславен, то твоя личность и твои услуги всегда могут пригодиться, независимо, как говорят, от погоды и направления ветра.

Более всего Храбриков обожал должности завхозов, но, здесь, в геодезической экспедиции, это место оказалось, во-первых, занятным, а во-вторых, мате-

риально уж очень ответственным — на захвозе лежала забота о десятках дорогостоящих палаток, радиций, геодезических приборов — словом, о тысячах рублей, и, махнув рукой, Сергей Иванович пристроился к вертолетам — на работу более хлопотную, но имеющую свои явные преимущества.

Вертолеты арендовались у Аэрофлота исключительно для переброски групп с точки на точку; это был единственный способ передвижения в тайге даже летом, и, скоро, очень скоро Храбриков сумел поставить себя так, что оказался как бы единственным и полномочным хозяином вертолетов: пилоты

подчинялись только ему; разные там сопляки мальчишки — начальники групп, партий и прочие и прочие, не говоря о рядовых инженерах и техниках, — зависели от Храбрикова Сергея Ивановича, человека с большими полномочиями и правами.

Надо, правда, сказать, что никто таких полномочий ему не давал, просто экспедитор подчинялся лично Кирьянову и уж исключительной заслугой Храбрикова было то обстоятельство, что он со-редоточил в себе часть власти и могущества начальника.

Сближение самого большого человека в поселке с самыми, казалось бы, маленьными происходило очень незаметно и как бы невзначай.

Когда Храбрикову приходила очередная группа, или кто-нибудь из специалистов, или какой-нибудь начальник партии и требовали вертолет для того-то и того-то, Сергей Иванович не торопился бежать к машинам и исполнять команду, а звонил всякий раз Кирьянову и удостоверялся, действительно ли такому-то или такому-то необходимо предстать в вертолет. Кирьянов поначалу эти звонки раздражали, но потом он понял, что звонят Храбриков не напрасно, а почти всякий раз стремясь то ли содинить два рейса в одно направление, то ли задерживая полет для того, чтобы одновременно закинуть продукты или вывезти большого, — словом, всевозможные экономии. Кирьянов обрадовался появлению такого человека: предыдущий экспедитор был доброяра парень и гонял машины почем зря, никакого не забоялся об экономии, а вертолеты стоили жуткие деньги.

Храбриков знал тысячи способов умело подъехать к начальству, пусть поначалу без видимой пользы для себя лично, это ничего, не страшно, хорошее отношение скажется в нужную минуту, и к Кирьянову он применил способ не самый уж и мудренький. Ежемесячно экономия порядочные деньги на вертолетах, он как-то пожаловался Кирьянову, когда они были вдвоем, что тяжеловато ему, пожилому человеку, в Сибири почти без выходных, без старых, годами выработанных привычек.

— Каких привычек? — спросил Кирьянов скорее механически, чем из интереса.

— Да вот в России-то рыбалил каждое воскресенье с сынаами, — робко сказал Храбриков, щурясь на весенний солнце. — А тут рыбаки этой реи — не ходу, а ведь и некогда.

— Вот тебе и некогда! Бери счастье какую хочешь, — сказал Кирьянов, — я разрешаю, да и рыбачь с багом.

— Эх, Петр Петрович, — прокряхтел Храбриков, — какая там счастье, не поняли вы меня, глушануть бы ее хорошошко да и обеспечить всех, кого надобно. А рыбака-то здесь, что там говорить, и стерлядка, и таймень, и краснопорыбка.

Кирьянов был охотником, рыбалку не признавал, как это часто бывает среди охотников, но и не о рыбаках шла речь, — он понял сразу, а ответил дипломатично:

— Чего ж тебе надо?

— Толу малость да вертолет.

Кирьянов внимательно оглядел экспедитора. Храбриков был худощав, но жилист, маленькие серые глазки его, утопшие среди припухших век, выражали сплошное и рассудительное и смотрели прямо на Кирьянова, не мигая. «Что ж, — ухмыльнулся про себя Кирьянов, — на этого, кажется, положиться можно: хитер мужик, такой не подведет, потому что играет на себя, на свою пользу, заодно и мне удержать желает, чего ж я должен упрямиться?» И сказал Храбрикову:

— Тол я тебе выпишу, а вертолеты в твоих руках.

Храбриков не кивнул, еле заметно прищурив глаза, ничего не сказав, а через сутки, в сумерки, когда Кирьянов окончил служебные дела и хотел было выйти прогуляться, появился на пороге с большой белевой корзинкой, плотно укутанной холстиной. Деловито прикрыл дверь, Храбриков триплицу откинулся, и Кирьянов увидел рыбу, прекрасную рыбу, уложенную ровными рядами.

— Экий ты мастер! — удивился Кирьянов, радуясь в душе, что не имеет к этой рыбе никакого отношения: за такое даже его по головке не погладят, теперь ведь в самой глухомани найдутся прокуроры, — а сам сказал: — Куда ж ее столько?

— Полагаю, Петр Петрович, — снимая картуз и отирая пот с лысины, ответил Храбриков, — учиши я вам и без того стюю, отдавать же в столовую рисково, так как дело незаконное, даже, можно сказать, подсудное. Потому предлагаю, чтобы дали вы мне адресок вашей семейства, письмоцо и разрешение — устное, конечно, слетать до станции и отправить корзинку с поездом к вам домой.

— Ну, это ты занял, — удивился Кирьянов, — до станции без малого триста километров да обратно триста.

— Зато рыбкой своих обеспечите, — улыбнулся Храбриков, — а насчет километров не беспокойтесь, у нас большая экономия.

Кирьянов еще раз пригляделся к этому щуплому мужичонке, лысому, обросшему щетиной, и ему жаль стало его, жаль стало неоцененную преданность этого человека, хорошего, в общем-то, работника, его хлопоты, его всю эту доброжелательную суету, и он ответил:

— Ну, как знаешь. Хозяиничай сам, раз сэкономил, но меня в это не вмешивай.

— Хорошо, — засуетился Храбриков, — будет сделано и так, Петр Петрович. — Но письмо домой и адрес жены у Кирьянова забрал, исчез в полуутюме.

Еще через день Кирьянов получил от жены восторженную, полную наимеков на какую-то секретность телеграмму, усмехнулся, одобрил Храбрикова, его четкую работу, а главное, одобрил экспедитора за то, что тот как бы выключил его, Кирьянова, из этого дела, все сделал без него. Это было свидетельством действительной преданности, а преданность, считал Кирьянов, надо ценить и положиться на Сергея Ивановича.

Теперь они стали как бы друзьями, не переходя, правда, границу: Сергей Иванович обращался к Кирьянову на «ты», Кирьянов говорил Храбрикову «ты», несмотря на разницу в возрасте, — тути были свои правила и свои привычки, которым оба свято и искренне верили.

Рыбные посылки шли теперь регулярно, и Кирьянов по-прежнему не имел к ним никакого отношения. Больше того, он теперь узнавал о них только из телеграмм или писем жены. К таким радикальным мерам его вынудил все тот же Храбриков, который едва не вмазал его в нечистоплотную историю, да, слава богу, он вовремя поставил его на место.

Ту историю, как выражался Кирьянов, Сергей Иванович тоже прекрасно помнил, хотя ничего нечистоплотного в ней не видел, даже скорей наоборот, он прозвил по отношению к начальнику предельную честность и искренность.

Нечистоплотность, видите ли, Кирьянов обьявил тот первый случай с рыбой, когда Сергей Иванович переправлял посылку на станцию. Заплатив проводнику полсотни, он наказал доставить одну корзину семье Кирьянова, а остальные три, о которых Кирьянов не знал, но догадываться мог, верному человеку, старому приятелю Храбрикова. Выручку поделили на

троих, и экспедитор искренне предложил Кирьянову его долю.

Тот покраснел, заорал, стих, правда, быстро, но от денег на троих отказался, объявив это нечистоплотным занятием.

Ну, бог с ним, Сергей Иванович не больно-то огорчился: теперь две трети шли ему.

В девятнадцать часов 24-го, закончив свои дела, Храбриков пришел в посековую сберкассы, чтобы положить полученные из города телеграфным передводом две сотни.

Копейка к копейке рубль бережет. Все эти сотни, по мнению Храбрикова, были залогом будущего счастливого пенсионерства.

— Итак, анализируя расстановку сил накануне присяжности, вы считаете, что Гусев был обязан страховать себя выбором другого, надежной точки для лагеря? Ладно. Будем полагать, вы правы, обстоятельства могут сложиться по-всякому. Но в конкретной истории! Исключительных обстоятельств не было. Гусев радиовал вовремя, более чем вовремя: и у него и у вас был громадный запас времени. И все-таки вы не помолгли.

— Так сказать нельзя. Помогли, но с опозданием.

— Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

— Не пугайте меня, я пуганый!

— Я не пугаю. Я спрашиваю: вам не страшно вот так говорить? Словно речь идет... ну, о невыполнении плана, что ли?.. Или еще о каком-нибудь недостатке, который можно устраниить, исправить?

— Что это вы мне морали читаете? Ваше дело — вести следствие!

— Ну, хорошо, Петр Петрович. Один вопрос не для протокола. За что вас зовут губернатором?

— Это имеет значение для следствия?

— Нет. Лицо для меня.

— Когда будете прокурором, начальником следственного отдела или как там еще, и вас за глаза как-нибудь прозвозят.

— Вы считаете это уделом любого руководителя?

— Каждый, кому дана власть, автоматически получает и недоброжелателей. Если он со всеми будет падать, значит, никудышный руководитель.

— Мысль не новая, хотя и справедливая. Но всегда ли справедливая? Всеобща ли она?

24 мая. 19 часов 10 минут. Петр Петрович Кирьянов

Пэз, как звали за глаза Петра Петровича Кирьянова, гордился своим ростом — 192 сантиметра и весом — 100 килограммов. Человек далеко не глупый, он, бесспорно, понимал, что физические данные не играют важной роли в том деле, которое он выполняет, и все-таки склоняется со счетов данное ему природой не собираясь.

В душе заурядный актер, в жизни он играл иногда довольно удачно. Используя подходящий момент на совещаниях или в разном разговоре с человеком, он сначала как бы сникал, вжимал в стол могучие бицепсы, стараясь казаться незаметным, невзрачным, потом разко распрыгивался, вскакивал, повисал над человеком или над людьми громадой своей стокилограммовой туши, приглушил в противовес внешним действиям голос, который от этого рокотал внятно, с железным звоном, и действовал тем на окружающих, как редким исклюением безотказно.

Умение использовать физические данные было заложено в Кирьянове, видимо, от рождения. В последней мужской школе, где культивировались силы считалася как бы узаконенным, он был бессменным и непререкаемым авторитетом. Сам он, правда, ужасно не лю-

бил драк, пытая отвращение к заранее известной славости противника, но уж так выходило, что вокруг него, как возле баррикады, вечно происходили какие-то сражения, и он надеялся на правмы третийского судьи, беря под свою опеку то одних, то других. Всезле Кирьянова всегда крутилась какая-то компания, льстя ему, предлагая покурить. Одаренный жизнью умом, он отвергал лесть, справедливо полагая, что сила ему дана от рождения и сам он тут ни при чем. Отказываясь от курева как проявления почитания его, «Киря» был почитаем еще более; беря чью-нибудь сторону, он никогда не допускал ее к себе вплотную, оставаясь независимым.

Классе в седьмом случился, правда, конфликт из-за этой независимости. Она возмутила одну из школьных компаний, которую он тогда поддергивал, парни решили приурочить эту стоечесовую, как они выразились, лубину и вечером в подворотне устроили «Кире» темную — их было человек десять, — но Петька сила превзошла расчеты.

Он раскидал эту компанию. Троим или четвертым наследия фингалы прямо там, в подворотне, делая это основательно, лупя противника затылок, о забор, давал «леща» по носу, ноктиутировал в подворотне и доводил тем самым врага до полного изнеможения.

С остальными Кирьянов рассчитался наутро, прядом в школе, жестоко и открыто. Он не стал никого караулить в подворотнях, как сделали его бывшие приятели, он вошел в класс, сунул в парту сумку и отправился в коридор.

Начал он с одного девятнадцатилетника. Взял его за горло, на глазах у онемевшего коридора Кирьянов поставил врага на колени и двумя сильнейшими ударами свалил его на пол. Девятнадцатилетник валялся, засыпанный собственной кровью, а «Киря» с невозмутимым, железным лицом мордовал следующего, хотя тот отпирался, что он был вчера в подворотне, и ревел, и умолял его не трогать. Петька верил его словам, но тем не менее поступил так же, как с девятнадцатилетником — для профилактики и по инерции.

Избиение продолжалось до самого звонка, но Кирьянов не успокоился, и тогда с застывшим, даже равнодушным лицом он вошел в параллельный седьмой, где шел урок черчения, вывалил в коридор последнего из врагов, засыпал в угол и свалил на пол.

Школа как бы задохнулась от происшедшего. Учитель черчения побежал к директору, немедленно был создан педсовет, и многие классы беспновались, освобожденные от учителей. Кирьянова позвали в директорский кабинет, он вошел, обмотав правую руку, разбитую о зубы противников, платком. Лицо директора было бледным — такой жестокости и такой наглости даже в мужской школе никогда не было, но тем не менее педсовет продолжался минуты три, не больше.

Кирьянов не стал молчать, не стал отрицать ничего из содеянного, он просто рассказал все, как было: и про вчерашнюю подворотню и про ночную драку, когда десятка было против одного. Директор подергал губами, но ничего не сказал, отправив его в класс. Педсовет не принял никакого решения: по существу, Кирьянов был прав, тем более что никогда ранее в подобных драках не замечалася, и если уж этот увален устроил столь свирепую расправу, значит, он был прав. Директор решил поддержать обиженного Кирьянова, дабы вообще пристановить драки этим поучительным примером. К тому же избитые противники «Кирия» после вызова к директору и допросов с пристрастием подтвердили вчерашнюю «темную».

Кирьянов после этого стал в школе олимпийским богом. На его независимость никто никогда не посяг-

гал, а сам «Киря» сделал важный для себя вывод: ни за кого не заступаться, никого не поддерживать, кроме себя.

Как ни странно, оказался прав и директор: драки в школе резко сократились. Откровенная жестокость Кирьянова, бывшая объективно актом мести, отрезвила некоторых азартных головы. Но сам он вдруг уверовал в свою беспредельную безнаказанность.

С тех пор прошло много лет, и ни разу больше Кирьянов не дрался, даже в энергичные студенческие годы. Со временем он заматерел, стал мощней, бицепсы его выпирали стальными буграми в противовес рано лыснеющей голове, он отпустил колючую бороду и вычесал громогласно, несколько театрально хохотать, так что стоило ему лишь появиться и громко, рычаще захахать, как драки словно бы испарялись, люди враз успокаивались и потихоньку расходились.

В студенческие годы Кирьянов любил бродить по городу с красной повязкой на рукаве, улицы, где он дежурил, были всегда образцовыми в смысле общественного порядка, его, как своеобразный символ бригадмира, всегда усаживали в президиумы милицейских и прочих общественных заседаний, щедро одаряли грамотами и наручными часами, и как-то незаметно получилось, что Кирьянов — замечательный активист, за которым укрепилась слава хорошего, толкового и нужного человека.

Окончив институт, Кирьянов сразу стал начальником группы, работал легко, играющи, беззаботно перенося тяготы полевой жизни, потом быстро стал любимцем среди начальников партий, когда ушел в управление бывший начальник экспедиции, сомнений ни у кого не было: на него место назначили Кирьянова.

Продолжая актерствовать, «Киря», который стал теперь называться ПэПэ, умел вести себя в управлении, изображая там этакого неотесанного, но добродушного уяльца, щедро отдавал своим шефам окорока конченой медвежатиной, кули бруски, мешки кедровой шишки, всякий раз поражая воображение бывших геодезистов, а нынешних горожан какой-нибудь рассыбирской новинкой. Например, настойкой из сырого кедрового ореха, напоминавшей рижский бальзам, драгоценной иконкой из старообрядческого скита, старой книжкой или осетром в человеческий рост, которого vez, возвращаясь в управление, самолетом, специально мымым друзьям, ком ждут не дождутся, когда чудаковатый Петька Кирьянов удивит еще какой-нибудь штуковиной.

Впрочем, было бы несправедливо обвинять его в игре корыстной. Он делал это и бескорыстно. Он играл перед людьми, от которых ничего не хотел и которые даже были обиженны ему. Тот же Храбровик. Тут игра шла как бы за текстом. С этой пигалицией Цветковой Кирьянов играл для, так сказать, самоуважения, отыскивая в своей одремучившейся душе элементы галантности, хотя были искренней сто раз послать к черту эту бездарную, бестолковую бабу.

Но так ПэПэ поступить не мог. От такого человека, как он, порой ждут и несправедливой справедливости, сносиходения, доброты. Так что пусть эта никемная, в сущности, доброта упадет лучше на нее, жалкоюкое и невредное существо, которое будет благодарно и счастливо.

После ухода Киря Цветковой Кирьянов набил «золотым руном» трубку, закурил, подвинул маленькое настольное зеркальце, чтобы увидеть себя во всем великолепии — черная трубка с золотым ободком, привезенная из-за границы, жесткая серая борода,

стальные, светлые глаза, небрежно расстегнутая удобная фланелевая рубаха.

Он улыбнулся себе одними глазами, прошел в угол, где хранились охотничьи принадлежности, снял с гвоздя многоязычный карабин, подвинул его легко, одной рукой...

Завтра день рождения, черт побери, тридцать шесть лет, и к праздничному столу придется кокнуть лось.

Он задумался, выпуская струйки сизого дыма. Тридцать шесть — это, конечно, много, но ведь, как говорится, жизнь определяется не по сроку, который прожит, а по тому, сколько еще предстоит прожить. В тридцать шесть командовать экспедицией — это, пожалуй, даже несколько посложнее, чем, скажем, защитить докторскую. Там, в науке, ты один на один с самим собой, тут же все посложнее. Ты управляешь людьми, делом. И какими делом!

— Как вы понимаете ответственность руководителя?

— Я понимаю ответственность так: каждый отвечает за свое дело. В армии, к примеру, командир полка отвечает за успех боевых действий своей части. За то, чтобы солдат был сырт, например, отвечает старшина. За то, чтобы солдат был готов к бою, — командир отделения. За его дух отвечает замполит.

— В армии свои порядки. Да и то, я думаю, вы неправы. Хороший командир полка больше, чем кто бы то ни было, заботится о том, чтобы солдат был сырт и всегда готов к бою.

— Не исключено. Он может об этом позабыться, но не обязан. Не пытайтесь обязанности с заботливостью. Ведь мы же говорим об ответственности. Отвечают за выполнение обязанностей, а не за заботливость или отсутствие оной. То, что для меня будет заботливостью, для подчиненного мне руководителя — обыкновенная обязанность. Так пусть он ее и выполняет.

— И такая программа у вас всегда? Или только в ситуациях, подобных этой?

— Всегда.

— Что ж, том это страшней, мне кажется.

24 мая. 19 часов 30 минут. Слава Гусев.

Он отодвинул котелок, бросил в него дюрапел-вую ложку и отвалился на рюкзак.

— Молоточек, Сема! Влия новые силы в усталый организм!

— Она, дичината, — поддержал дядя Коля Симонов, — кровь обновляет и силы придает. Ранее древние люди, говорят, як прямо так дичью кровь пили и матерели жутико.

— Ну вот, опять за свое, — буркнул Орелик, — все о брюхе да о брюхе. Похвалили бы лучше охотника, whom он ради вас до сих пор обсохнуть не может.

— Обсохну! — лениво вякнул Семка, так же, как и начальник, откинувшись в съесты на мешок.

Гусев обвел умиротворенным взглядом славную свою геодезическую братию и подумал, что ему все-таки везет на парней. Семка — молоток, добрый, безотказный, золотой человек для всяких экспедиций; дядя Коля Симонов — просто лошадь, вытянет любой груз и поможет толково, без шума и крика. Да что лошадь, не в том дело — душа-человек.

Дура набитая эта его Кланяка, что там себя повела. Орелик — новый человек и не акты какой, пока не обогнался, работник, хотя и с самомнением, но это городское, институтское, обогнется. Зато во всем остальном Валька вроде бы как пордия своего воздуха: и дядя Коля Симонов, и Семка, и он сам

уже друг дружке известны давно, все вроде поспели рассказать о себе, а Валька еще не выговорился, нет-нет да бухнет такое, что глаза на лоб. Или расскажет что-нибудь интересное. Или вот даже стихи начнет читать.

Уважал Гусев, когда Орелик стихи читает, особенно про любовь или про расставание всякие. Сам он был мужиком грубоватым, отменимым матерщинником — как же без того в тайге, хотя по-человечески добрым и неиспорченным. Себя Гусев в глубине души полагал малознающим; окончил лишь техникум, он не набрался городской культуры; город был ему в тягость и теперь, потому что родился он всю юность прожил в лесном селении, в семье охотника-отца. Но сейчас от города скрыться было невозможно: охотник-отец помер, а вся новая родня — теща, тесты, жена, трое ребят — были народом городским от начала и до конца, привыкшим к водопроводам, ваннам и телевизорам. Так что, любя жену и детей, он тосковал, однако, целую зиму, до поля, пока не начинялся сезон экспедиций и пока сноя на окна оказывались в родной стихии.

Зимы же для Гусева были прямо мукой. Ему приходилось писать бесчисленные отчеты; ненавидевший бумагу и перо, которое не очень-то ему подчинялось, он слагал слова в неуклюжие, малотолковые объяснения и оттого считался человеком слегка, что ли, туповатым. Дружить с работниками управления он не умел, распивая после службы стопку-другую уклоняясь, торопясь, с одной стороны, домой, а с другой, экономя: из шестерых, кроме него, в семье работала только жена, но заработок у нее был скучный, так как служила она бухгалтером. Словом, с деньгами было всегда напряженно, и в экспедиции на него иногда обращались ребята за то, что он сам, похожий на вола, ищачил до изменения, перевыполняя план для дополнительного заработка.

Обижались, впрочем, недолго, а в этом составе только Семка, да иногда ворчал Орелик, глядевший на его действия, ну, что ли, по-институтски.

Однажды Гусев спросил его прямо, чего он хочет. Орелик обиделся, сказал, пусты, мол, не думает, он не подсаживает, просто хочет иметь собственное решение по любому поводу. Слава повздыхал про себя, подумал и плонул: ну, пусть имеет свое решение, разве можно этим попрекать? Ведь он хороший парень, Орелик, и ему рasti и рasti, а не вечно ходить за спиной у какого-то Гусева.

Слава поглядел в темнеющее весенне небо, похожее здесь, у Енисея, даже в мае на осколок синего льда, подбросил в костер сунчака и попросил Орелика:

— Ну, расскажи чего-нибудь. Иль почитай.

Тот послушно полез в рюкзак, вытащил обтрепанную книжницу, сказал:

— Слушайте. Это я вам еще не читал.

Костер сухо и кратко щелкнул углями, Валька помочал чуточку для близоруки и стал читать обычновенным голосом, — не как по радио, не громко, не нараспев, не выпендриваясь. Гусеву очень нравилось, как он читал стихи, хотя сам Гусев стихов никогда не покупал и не читал в журналах, предпочитая романы для потолок, что уж заплатил, так и начитался. Вкус к стихам появился у Гусева совсем недавно, с тех пор, как в группу пришел Орелик. Он сразу начал читать стихи. Сначала Гусев не обращал внимания, что он там бормочет, потом стал прислушиваться, и ему понравилось, потому что всякий раз стихи эти вызывали у него странные чувства.

Костер потрескивал в тишине, дядя Коля Симонов, прикрыв глаза, дремал, Семка, не отрываясь, глядел

на Орелика, а Гусев тщательно разглядывал свои кряжистые, бесчувственные от мозолей падони, пытаясь скрыть странное смущение, вызываемое в нем складными словами.

Прошло с тех пор
счастливых дней,
нек в небе звезд, наверное.
Была любимою твоей,
женю стала верною.

Своей законной черепой
прохлад эйны с веснами...
Мы старше сделались с тобой,
в дети стали взрослыми.

Уж, видно, там заведено,
и не о чем печалиться.
А счастье...
Вышло, что оно
на этом не кончается.
И не теряет высоты,
заботами замучено...

«Дьявол», — подумал Гусев, — слова ведь простые, а как режет этот Валька, черт его дерри! Стихи не просто волнивали его, а как бы стыдили, что ли. Никогда не мог он подумать даже о таком неловком, постыдном, а тут сказано, да еще и гладко. И правильно в общем-то.

Ах, ничего не знаешь ты,
и, может, это к лучшему.
Последний луч в окне погас,
поплыли здания...
Ты и не знаешь, что сейчас
у нас с тобой
свидание.

Что губы теплые твои
сейчас у сердца самого
и те слова — слова любви —
опять воскресли заново.

И пахнет вялой травой,
от имен хрустальная,
и, различимая едва,
звезда блестят печальная.

И лист слетает на пальто,
и фонари качаются...

Благодарю тебя за то,
что это не кончается.

Валька умолк, а Гусев сказал себе, что эти стихи не про него, — здания, фонари, какие тут фонари и здания, тут тайга, но тем себя не успокоя.

Помимо него, помимо его боли, выплыл осенний день его жизни, городской сквер, укрытый медью берез, мокрые скамейки, газета, постленная для сухости на одной из них, и они — он, Слава Гусев, и Ксения Кузьмина, студентка финансово-экономического техникума.

Мысли о Ксении пробудила в нем тайную радость, какое-то ликование, тепло. Он улыбнулся рабой, беззащитной улыбкой. «Надо бы запомнить стихи, — сердясь на себя и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев, — как это там? «Благодарю тебя за то, что это не кончается», — и сплюнул, застыдившись и злясь на себя. — «Вот еще выдумали!»

— Какими средствами безопасности обеспечивает-
ся каждая группа?

— Прежде всего я отношу к ним связь, рацию. За-
тем надувную лодку.

— Как вы знаете, ее у Гусева не было.

— Знаю, но это не моя личная вина.

— Кто же тут виноват персонально?

— Прежде всего сам Гусев. Он был обязан поза-
ботиться о лодке.

— Вы же теперь знаете, он заботился. И не только он. Заботилась и Цветкова.

- Что же махать кулаками после драки?
- Пожалуй, все-таки во время драки.
- Нет, я считаю, что в первую очередь виноват Гусев. А уж потом Цветкова, которая не проверила, как выполнено ее указание.

— И в третью — Храбриков.

— Его винят нельзя. Простой исполнитель. Винтик. Мог и забыть, хлопот и обязанностей у него полон рот. К тому же это очень порядочный человек.

— Очень?

— Вы ironизируете?

— Нет, нет.

— Да, очень исполнительный, порядочный человек и прекрасный работник, он на своем незаметном месте скончался тысячи рублей.

— Так вернемся к средствам безопасности.

— Ну, конечно. Значит, рация, лодка, ракета. Ракетница, естественно. Ракеты — красные, чтобы было заметнее.

24 мая. 19 часов 40 минут. Валентин Орлов

В от прошел еще один день, и я пишу тебе дальше. Мое письмо походит, кажется, на длинную и бессвязную песню, помнишь, как дорога в «Степи» у Чехова? Но что делать? Можно было бы послать его по частям, всякий раз, как за нами приходит вертолет, чтобы перебросить на новую точку, но конверты у меня нет, и я не хочу рисковать, не хочу даже думать, что Храбриков, — есть тут один липкий тип, который приставлен к вертолетам, — будет сорвать свой нос в мои к тебе письма. Лучше уж отправлю сам, когда буду в поселке, через почту, все как полагается.

В общем, так, Аленка. Живем мы тут не акты как весело. Скучаем без цивилизации, без людей. Я по тебе скучаю, Гусев — по своей жене до ребятишкам, Семка, радист наш, зеленый пока парнишка, по дому, кажется, скучает, хотя и не говорит, а дядя Коля Симонов по жене своей Кланье, которую клянется и к которой обещает не возвращаться. Однако, я думаю, вернется, потому что любит ее, любит, несмотря ни на что, и без Шурика, сына своего, жить не может. Разный народ у нас тут собрался, разноцветный, можно сказать, и по возрасту и по жизни, а все-таки только тут я узнал настоящееве товарищество.

Не знаю, Аленка, как дальше будет, как повернеться жизнь, но нравится мне мое нынешнее бытие. Еще в институте я заметил: когда выучишь что-нибудь здорово, разберешься как следует, и ребята к тебе идут, словно к спасцу, за разъяснениями, чувствуешь себя хорошо, уверен в себе, собой доволен. Теперь такое состояние у меня постоянно. Каждый вечер, когда сидим у костра после дневной жуткой, изнурительной горки, чувствуешь себя человеком, хорошо как-то, в душу музыка играет.

Еще вот я тебе что скажу. Человеку очень важно одиночество. Не такое одиночество, когда ты совсем один, а вот такое, как у нас. Каждый по кому-то скучает, каждый здесь одинок, и это одиночество нас сближает, соединяет в свой мужской коллектив. Можно, конечно, опуститься в мужском коллективе, тут важен, так сказать, основной дух и главный человек. Наш главный человек — Слава Гусев; наш основной, общепонятный дух — вот это скучание по близким, и одиночество наше, если хочешь, нас облагораживает.

Я часто думаю: почему так? Нас всегда четверо, нас никто не контролирует, на нас никто не глядит. Что же движет нами, что заставляет не волнист, честно вкалывать, вкалывать от души, помогать друг дружке, заботиться, как заботились сегодня обо мне Симонов и Гусев, не пускать вперед, ненавязчиво, скрыто,

как бы стесняясь, заботились; что Семку заставляет встречать нас с работы, словно родителей, что ли, дикой тунгусской пляской, криками, а то и пальбой. (Это он, когда космонавты летали, палил в их честь, а потом, когда мы первое место за артель получили).

Нет, ты не думай, Аленка, что обстановка у нас дистилированная. Слава Гусев свои мысли, особенно в маршруте, выражает чаще всего в банных словах, но я к этому привык, к тому же сие относится не говорит о его испорченности или порочности. Просто он вот такой — и все тут. Но начни я стихи, к примеру, читать, Гусев и слова плохого не обронит ни, и наоборот, на дядю Колю Симонова цыкнет, если тот как-нибудь неловко выразится.

Ни нежности, ни внешней заботы никто у нас, упаси бог, друг к дружке не проявляет, наоборот, скорее ругнется лишним разом, но в серединке-то — я это очень хорошо чую — спаялись мы плотный монолит, и, случись так, что нам пришлось разойтись, разъехаться, разлазиться, каждый долго тосковать о других станет, потому, как говорили кто-то из великих: «Нет уз святое товарищество», — и товарищество это, вот поди ж ты, обосновалось у нас, таких разных людей.

Я понимаю, конечно, все поверяется делом, все испытывается бедой, и настоящую цену друг другу мы поймем, когда — не дай бог! — случится что-нибудь с нами. Но чувствую, что и в испытании, коли придется, все у нас будет нормально. Не больно-то силен я, прямо признаюсь, хотя и материо, крепну у себя на глазах; хлипок довольно Семка, оттого и не берет его в трудные маршруты Слава Гусев, заставляя кашеварить, поддерживать связь и сторожить лагерь; зато дядя Коля Симонов силен, и Слава Гусев тоже, и оттого, что мы не каждый поединочке, а все вместе, и мы с Семкой сильней и надежней, как кажется. И, в общем, знаешь ли, так оно и есть. Семка воин охотится у нас научился, прямо профессионал, хотя он очкарик и по зренiu в армии не пошел. И с ракетой работает исправно.

Видишь, Аленка, каково у меня длинное и путаное послание. Утром писал — Славу Гусева слегка осуждал, себя высоко ставил, а к вечеру — наоборот. Но, ей-богу, непостоянство мое не от болтливости и не от неуверенности в себе. Просто, видно, жизнь сложнее, чем мы хотим ее представить, и на каждое дело, на каждого человека может быть стояк зрения. Все будет аналогично, если эти точки отрывать друг от друга. А если обединять, то и получится искомое — жизнь, сложная, многогранная и хорошая.

Хорошая, Аленка, хорошая!»

— Сколько ракет положено иметь группе?

— Нормы нет. Я, когда был в положении Гусева, брал два-три десятка.

— У них оказалось девять.

— Вот видите. Это, хоть и косвенно, говорит о начальнике группы. Мог, кажется, позабыться. Это-то уж зависит только от него.

— Я проверял. Завхоз отказался выдать больше десятка.

— Этого не может быть!

— Было. Завхоз ссылался на ваш приказ об экономии любых материальных средств.

— Но не сигнальных ракет!

— Это в приказе не оговаривалось. Вы требовали экономить все и на всем.

— Не для себя, для государства. И потом, я старалась, чтобы было хорошо людям. За экономию ведь нам, кроме всего прочего, полагается премия.

— Хорошо. Пока оставим это. Итак, ракет было девять. Одна найдена у Симонова в кармане. Она не пригодилась. Ракеты им не помогли.

24 мая. 20 часов. Николай Симонов.

Качеру Николаю полегчало. И то уж не раз он замечал: как намотишься за день, намотаешь поясницу, ноги, руки, всего себя — сразу легче становится. Зуд рабочей головы утишает, мысль сбивает. Думашь уже о том же самом совсем иначе, проще и спокойней. А когда еще пологаешь от пузы дичинки опять же, глядиши, и загнал в себя на неделю свою хворь. Живи, знай себе, не ковырай болючку, слушай сквозь дрему, как Валько стихотворение читает, Семка балягурит, Слава Гусев солит, про план соображает, про ускорение работ или про заработок.

Нет, слава Богу, повезло ему, Николаю Симонову. Он тут, среди ребяташек этих, как в санатории, душа отыкает от тягостей, от грязного духа, который в заключении, хоши не хоши, а имеется. Да уж и то, кто тюрему себе выбирает! От сумы да от тюремы, говорят, не откажешься.

Вот сколько, думал про себя Николай Симонов, сколько ни прикидывал, неспешно перебирал свою нескладную жизнь, три только момента и было у него счастливых: когда с Кланькой гулял и не лаялись они еще, когда Шурин родился да вот теперь, после заключения, в партии этой.

Работал он из проволокой зверем, все мимо ушей и глаз пропускал, только бы скрой на волю выйти, исправить свою промашку страшную, а в голове все свербило: как он станет после тюремы, Ну как людям в глаза поглядит? Ведь скажет только в любом месте: из заключения я, отсюда отбывал, — так тут хоть как ни обясняй, за что и каким случаем туда попал, все в сторону шарахаться станут.

Так оно ишло.

Освободившись, ходил по разным конторам, нанимался. Как добирался до того, что идет из заключения, на него будто со страхом глядели, мемели, говорили, не требуется, хотят объявление у входа висит: требуется, требуется... И не искал Николай Симонов ничего такого особенного — лишь бы заработок на пропитание и на обмундирование штатское где еще общеежитие.

Ах, общежитие, пропади оно пропадом! Приняли-таки все же на одну новостройку, поместил комендант общежитие — комната большая, на девять человек, все молодые парния, в сыны ему годятся, а нет-таки узнали, что он бывший эзк, напаскудили. Объявили, будто бы пропал у одного парня костюм ненадеванный, польский, за сто тридцать рублей. Поглядел на них Симонов — те в сторонке сидели, пили перцовую, его не приглашали, — понял, какую шутку они учинили хотят, плонули в гостях, подняли из-под койки свой мешок, выданный при освобождении, наступил телогрейки, нахлобучил картуз, сказал им на выходе:

— Ну, попробуйте простить друг дружке за этот факт, за это паскудство. Объяснять вам не стану, скажу, однако, что сидел не за воровство, а за то, что задавил машиной человека. И не вам меня корить. А что не замарались об меня ваши чистые хуложу.

И хлопнул дверью.

Который-то из них бежал потом по коридору, хватал за руки, приговаривал: «Погоди, дядька, не бывает, ну сдуру!» Но он руки выхватил: сбывалась его опаска, сторонились его люди, — и ушел в дождливую непогоду, неизвестно куда и к кому.

Ночевал на вокзале, доставлялся розовощеким ми-

лиционером в отделение, на проверку подозрительности, но другим, пожилым, был отпущен с советом побыстрей вернуться домой.

Эх, домой, да кабы мог он вернуться домой, как бы побежкал к кассе за билетом на выданные при освобождении небольшие рубли, как бы бежал по том к своему дому, в дальнем краю улицы маленького города!

Но не мог, не мог, никак не мог Николай Симонов домой вернуться...

С Кланькой жизнь у них шла неровная, трясящая — ровно ехали на худой телеге по колдобистой дороге. Поздно он женился, в годах уж, так вышло, а Кланька молодая еще была не обкаталась, не наигралась, молодых мужиков глазами мимо себя не пропускала. Когда Шурин родился, утихла ворде, но сын подрос, опять за свое: ты не такой да не эздакий, другие, мол, при галстуках и книжки читают, про кино судят, а от тебя слова ласкового не дождешься. Так-то оно так, не мастак Николай был на рассуждения культурные и на прочие такие дела, шофером, считал, родился, шофером и помрет, главное бы машину беречь да в аварии не попасть.

В то утро с Кланькой схватились, — опять она свои требования к нему, — весь день езди, зубы скав, руки тряслись от обиды, от несправедливости ее злой, бабьей. Под конец смены к «Гастроному» подъехал, взял бутылку, чтоб машину поставил, распить, забыться, и еще бутылку пива заодно, приехал в гараж, ободрав пивную пробку о дверцу, не вылезая из кабинки, выпил, выпул илючи, собрался выйти, а тут диспетчер Семина. Так и так, мол, Николай выручать базу надо, срочный груз со станции вывезти требуется, заказчик рвет и мечет, потому как за простой вагоном штраф берут.

Облокотился он тогда, помнится, о дверцу, подумал-подумал и согласился, забыв о пиве. Про Кланьку же в своеобразя: к чему, считал, домой торопиться, если ты там постылый, ненужный, чужой.

Завел машину, выехал, а у самой станции выскочил под колесо ребятенок, вихрастый такой, белобрысый, на Шуринка смахивал. Рульнул тогда Николай резко, но не рассчитал, улица узка была, наехал на человека. Пожилой был мужчина, в парусиновых штанах, с потрепанным портфельчиком, много лет, видет, носил.

Николай ручной тормоз выжал, но руль голову склонил и ничего больше не видел. Как «Скокрая» мужчину того увезли, как толпа собралась, как милиция приехала. Мальчонка сгинул, словно в тартары провалился, ладно еще нашлись двое прохожих, давали показания, что руль он для спасения ребёнка, а то бы еще хуже было.

Да уж куда хуже, мужчина с портфельчиком в больнице помер, — портфельчик этот и парусиновые, не новые штаны до сих пор ему мнятся, — а милиция признала, что шофер был выпивши, — провели обследование — и бутылку под сиденьем нашла.

Про суд Николай вспомнить ничего толком не мог, понял только, что помогли ему те двое прохожих, да еще хорошо помнил Кланьку: она, сидя в зале, ревела, как корова, и казала ему кулак.

Но и это мог утишить Николай Симонов, мог спрятать, забыть — то же, что случилось дальше, забыть было бы позором.

В заключении работал, как дьявол, пятилетку ему скостили до трех лет, а то, что Кланька наделала, скостили никто не мог.

Сперва он писал ей краткие, кургузые, нескладные письма, и она отвечала — костерила его, корила,

что подвел, оставил одну, — но отвечала. Потом письма ее стали приходить реже, а затем, как раз к Новому году, в подарочек, — ничего себе, — пришло враз два конверта: одно из обывновенное, как всегда, второе от каких-то добрых людей, неподписанное, и в этом втором сообщалось сердечно, что Кленовая — потаскуха, связалась с мастером какого-то завода, моложе даже ее, а у него жена и дети. Николай поверил этому неподписанному письму, поверил сразу и затрясся плачами — первый раз заплакал во взрослом возрасте.

Мужики, жившие с ним, — а разный, надо сказать, был народец — умолкли, подставили стакан денатурата, добытый каким-то хитрым образом, но пить Николай не стал, потому как понимал: такое не запьешь, не успокоишь.

Кленовая продолжала писать, он складывал ее письма в мешок; но она настигала своими письмами, видно, поняла, что он все знает, настигала — через миллионы, что ли? — и здесь, в тайге, в пертии, куда он устроился, уйда от тех парней из общежития.

Тут, в группе, никто не досадил ему разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое: выносливость, старание, безотказность — и он среди них отошел, отогрелся.

Лежа у костра, успоконив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотреть они на него, что спросят. В конце концов Кленовая еще не пул земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, баба.

И только мысль о Шурке, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.

Взглядывая в костер, в кровавое его пламя, Симонов думал, что все не просто, что Нюрка — это так, заблуждение, и что Шурик — вот кто для него самый главный смысл жизни.

— Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?

— Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.

— А в случае ЧП?

— Есть аварийная радиоволна, которую наша станция прослушивает постоянно, в конце каждого часа.

— Я профериал. И простые и аварийные радиограммы центральная радиостанция принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанции. Но я хотел бы поговорить о системе рассмотрения радиограмм.

— Пожалуйста.

— Начальник радиостанции, начальники партий показывают, что очень часто радиограммы группы, адресованные нам как руководителю экспедиции, валились на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи — для вас норма, обычное дело.

— Но в этом случае все было не так.

— Разберемся, как было в этом случае...

24 мая. 22 часа 15 минут. Семен Петрущенко

«**B**» ежерный сеанс, — напомнил он Славе Гусеву, надев наушники и подкручивая настручку.

Слава астрапенелся, обтер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привыкнуть:

— Передавай!

Семка перекинулся с радиостанции отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.

— Давай! — велел тот. — Работы идут нормально. Закончим объект двадцать пятого вечером — двадцать восьмого утра.

дцать шестого утром. Последующей связи уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка. — И рубанул твердой, как лопата, ладонью. — Гусев.

Семка передал радиограмму, попрощался с отрядом, снял наушники.

— А ветер-то, правда, теплый! — сказал он удивленно. — Я и не заметил.

— Во дает! — засмеялся Гусев. — По брюхо искупался, а что весна, тек и не заметил.

— И правда, братцы, — виновато ответил Семка, — совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все погода цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.

— Греби шире! — откликнулся дядя Коля Симонов. — Не-а, ныне весна запоздала.

— Да она в здешних местах всегда такая, — засмеялся Слава, — наверху-то река уже поди ото льда освободилась, а тут и не думала.

— А я люблю половодье, мужики, — оторвался от бумаги Орелик. — Едешь на лодке, гребешь потихоньку, глядишь — а лес в речку зашел. Черемуха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее — трава, как длинные волосы, шевелится.

— Хе, хе, — оживился дядя Коля Симонов. — Ты у нас, Орелик, прямо этот, как его, рилик.

— Кто, кто? — захотел Семка. — Рилик? Ну, ты даешь, дядя Коля!

Симонов смутился, махнул рукой, полез в спальный мешок, заворочался в нем, словно медведь-шатун, аж полога ходуном заходили. За ним ушел Гусев. Семка сидел у костра и глядел, как пишет длинное, на много страниц, письмо Орелик. Пишет, пишет, не может кончить, даже удивительно, как у него терпения хватает — и, главное, не отправляет свое письмо, ждет, когда сам вернется в поселок.

Семка глядел на костер, на его трепещущие, жаркие языки, переводил взгляд на Вальку, хотел спросить его про то, о чем давно думал, и не решался.

В палатке на разные голоса захрапели Слава и дядя Коля Симонов — с присвистом, с протяжкой.

— Теплышь-то! — удивился негромко Семка.

Небо над головой было бездонным, смоляным. Ни одной звезды не видно, и от этого Семка делалось еще торжественней и слаще. Он вдыхал запахи, которые приносила ночь, взглядывался в темноту, и ему казалось, что его ждет кто-то. Может, в этой темноте, хотя это глупо, кто же может ждать в темноте, посреди тайги или в поселке? Но в поселке никого не было у Семки. «Мама?» — подумал он и сразу отверг это. Мама ждала его всегда, ждала отовсюду, где бы он ни был, и Семка знал это, чувствовал, понимал. Но сейчас было что-то другое. Где-то кто-то ждал Семку совсем иначе, чем мама.

Он вздрогнул, встал на колени, прислушался. Ветер дул неизменно с юга, оттуда, где поселок, где город, и Семка неожиданно для себя вспомнил девочку.

Сердце его колотнулось неровно.

Странно, как он мог забыть ее. Девочка шла в школу, а он уже учился на радиостанции.

Была зима, очень морозная, но очень прозрачная, дающей, наверное, звонкую от мороза. Если стукнуть пальцем по березе в парике, то стук этот звучал бы долго и мелодично.

Семка не стучал по березам, это ему просто показалось так. Уже потом, когда она ушла.

Он встретил ее днем на пустынной аллее парка, вдоль которой росли старые деревья. Было солнечно, солнце лилось откуда-то прямо сверху, падало вниз, оставляя короткие, смешные тени, и девочка

шла навстречу Семке. Она не торопилась, она не замечала его, и она не просто шла, а гуляла.

Семка, увидев ее издалека, замер, а девочка была наедине с собой. Она иногда останавливалась, крутилась вокруг себя маленький черный портфель и сама кружилась, пригнула, ступала вальянками друг с другом, будто играла в классики, подхватывала пригоршню чистого снега и кусала его.

На девочку была рыжая круглая шапка с длинными ушами; когда она ушла мимо Семки в конец аллеи, он подумал, что издалека она походит на одуванчик. Одуванчик зимой — это было странно и удивительно, — Семка, не понимая себя, повернулся за девочкой и, не приближаясь, проводил ее к школе. Она исчезла в дверном проеме, и Семка долго стоял, не замечая, что уши у него перестали чувствовать холод. Потом он повернулся, побежал вприскому домой, березы мелькали вдоль аллеи и Семка счастливо смеялся, а потом забыл...

Надо же, забыл!

Вытянувшись на коленях, вглядываясь в черное не-бо, он пытался представить девочкому лицо и не мог. Никак не мог его вспомнить. Он вздохнул, поглядел на Вальку, на счастливого человека, который каждый день пишет свое бесконечное письмо, и поклонил себе: ему писать было некому, кроме мамы.

Снова подул теплый ветер. Валька оторвалась от письма и увидел обожженное Семкино лицо.

— Ты чего? — спросил он и засмеялся.

— Да так, — покраснел плечами Семка. — А что?

— Лица у тебя странное, — сказал Валька.

— Будет странным, — неуверенно ответил Семка. — Такой ветер, а они дрыхнут, как цуки.

Валька рассмеялся опять.

— Тебе не спится?

— Нет, — вздохнул Семка.

— Мне вот тоже не спится...

— Дописываешь? — деликатно полюбопытствовал Семка.

— Я и не знаю, — задумчиво ответил Валька Орлов, — допишу ли когда-нибудь...

Семка, пыхтя забралась в спальник, застегнул его до подбородка, притих. В приоткрытый полог палатки гляделось черное небо. Ветер негромко трепал презентованный полог.

Притихший костер, влез в палатку Валька. Он быстро захрапел, теперь уже целый оркестр играл в тайге, а Семка никак не мог отключиться.

Ему представлялась звонкая зимняя аллея — и девочка в конце ее, похожая на одуванчик.

Девочка проходила мимо него, проходила и проходила, как в куске фильма, который крутят много раз подряд, и вдруг Семка услышал плеск.

Он вздохнул и закрыл глаза. «Какой там плеск, — решил он, — вокруг зима...» И уснул.

— Первая радиограмма от Гусева поступила вчера, 24 мая.

— Я не признаю эту радиограмму тревожной, требующей каких-либо моих действий.

— А начальника партии?

— Вы опять намекаете на лодку?

— Да.

— Но не могли же мы гнать вертолет ночью. Тем более что авиаторы могут садиться в темноте только в условиях аэродрома или хорошо освещенной и ориентированной площадки.

— Я не говорю про ночь.

— Будем считать, что мы это выяснили. В том, что у Гусева не оказалось лодки, в первую очередь виноват он сам, во вторую — Цветкова, в третью — Храбриков.

— Теперь о второй радиограмме. Утренней, от 25 мая. Когда стало ясно, что группу надо выручать и как можно скорее.

— Меня не было в это время в поселке.

— Вы отсутствовали по служебным делам?

— Безусловно.

25 мая. 9 часов. Кира Цветкова

Она просыпалась рано, как бы искушая этим свои недостатки, деловито выходила из дома, не зная толком, чем заняться: геодезисты были в тайге, ей оставалось только следить за ними, поддерживать связь, получать информацию — опытные начальники групп знали свое дело и не нуждались в командах.

В этот раз она просыпалась так же рано, как и обычно, но решила переписать инструкции, конспекты, чтобы обновить в памяти порядок и систему геодезических вычислений — время от времени это приходилось делать, чтобы не оконфузиться.

Раскрыла тетрадку, заполненную аккуратными, мелкими буквами; Кира уставилась в нее невидящими глазами. Ей было одиночно и страшно, она опять подумала о своей судьбе, вспомнила мечту о пединституте. Она даже в загородные походы никогда не ходила, и вдруг — начальник партии.

Кира оторвалась от тетради, обессиленно захрапнула ее, надела куртку. Единственное, что у нее получалось, — отчеты. Она умела их оформлять, подчеркивать разделы, итоги, цифры разноцветными карандашами и поэтому считалась неплохим начальником партии. Но Кира понимала: она только переписывает результаты чужого труда, как бы примазывается к работе других. Кира вышла из дома, побрала по улице, вдыхая сырой, туманного воздуха. Делать ей было нечего — надо только зайти ненадолго радиостанцию, прочитать радиограммы групп, кому-то ответить, что-то просто принять к сведению. Связь находилась в покинутом доме, который экспедиция отремонтировала и приспособила к своим нуждам. Хозяева избы исчезли и не появлялись, не предавляли своих прав, — наверное, перебрались в город. Кира вошла в дом, обтерев на крыльце липучую поселковую грязь.

— Кира Васильевна! — окликнул ее начальник радиостанции Чиладзе, худой, словно изможденный, грузин с огромными, казалось, во все лицо грустными глазами. — Кира Васильевна! — повторил он. — Хорошо, что пришли, мы к вам посыпали хотели. Тут две радиограммы от Гусева.

— Опять ранние работы кончили? — усмехнулась Кира, вспомнив Гусева, грубоватого, простодушного мужика, который вечно торопился, неизменно перевыполнял план, будто за nim кто-то гнался, кто-то его торопил.

— Одна вот вечерняя, — подошел к ней Чиладзе, протягивая бланк. — А эту сейчас приняли.

Кира пробежала строчки. Первая радиограмма напоминала про лодку; читая ее, она с раздражением вспомнила Храбрикова, которому передала лодку еще неделю назад с наказом немедленно переслать ее Гусеву. Храбриков кивнул, сразу возвращаясь к своим делам, будто Кира — назойливая муха и отвлекает его от важных забот, и, конечно, подкупе не перевез, а она, растяя, забыла проверить.

Кира раздраженно взяла второй бланк, испытанным калиграфическим почерком, и юношеским тревога.

«Наблюдается подъем Енисея, — прочла энто. — Возможность в пойме реки, где находится лагерь,

окружена мелким слоем воды. Выходим работу. Предполагаем завершить четырнадцати часам. Этому сроку высыпайте вертолет Гусев».

Кира снова вспомнила Храбрикова, его хорькоподобное маленькие лицо, мелкие серые глазки. «Всегда так, — подумала она, раздражаясь еще сильнее, — всегда мешает, ласкаться только к Кирияному, а виноватой будешь ты».

— Ничего страшного, з? — спросил Чиладзе, поблескивая глазами, выражая добродушие и симпатию к ней.

— Пока ничего, — ответила Кира.

Она взглянула в окно. Погода прояснялась, воздух светел, делая пространство емкими и прозрачными. Кира кинула Чиладзе, велела поддерживать с группой Гусева связь и вышла на крыльцо.

Этот Храбриков всегда раздражал ее, как, впрочем, и всех остальных начальников партий, проявляя к их делам полное равнодушие... «В конце концов это не может продолжаться бесконечно, — подумала она, стараясь расшевелить себя. — Когда-то и кому-то надо с этим покончить».

По ее мысли, сейчас был самый подходящий момент пойти к Кирияному, используя его расположение, поклоняться на Храбрикова, доказать с фактами в руках, что игнорирование им заданий начальников партий может привести к неприятностям, но что-то мешало Кире решиться на такой разговор.

Она не была уверена, что Кириянов не станет на защиту Храбрикова. И почему выступать против экспедитора должна именно она — ведь есть в конце концов начальники партий — мужчины. Она понимала, что жалоба есть жалоба, как ни крути...

Кира сошла с крыльца и нерешительно пошла в сторону дома Кириянова. Нет, все-таки она должна была об этом сказать. Это ее обязанность. Речь идет о людях ее партии, она за них отвечает.

Стараясь расплакать себя, а в самом деле робея все больше, Кира подошла к конторе, где работал и жил Кириянов, но его на месте не оказалось, и, когда ей сказали, что начальник ушел к вертолетам, она облегченно вздохнула.

Жалоба на Храбрикова, это неприятное дело откладывалось на какой-то срок, пусть даже не на очень большой, и это успокаивало ее.

Кира вернулась к себе, снова открыла тетрадь, но в голову по-прежнему ничего не шло.

Неожиданно словно что-то толкнуло ее. Машинистка, еще не сознавая, что делает, Кира оделась и выскочила на улицу. По дороге к вертолетной площадке мысль оформилась и созрела: она должна сказать все Кириянову прямо при Храбрикове. И немедленно послать лодку. Пусть это будет уроком для маленького, облезлого человека.

Кира шагала, не разбирая дороги, разбрызгивая грязь, и была недалеко от площадки, когда раздался привычный грохот винта, и зеленая пузатая машина взмыла вверх, уходя к тайге. Волнуясь, Кира подбежала к избушке возле площадки. Второй вертолет был тут. Кира увидела пилота, рабочего молодого парня, совсем мальчишку, и крикнула ему:

— Где Кириянов?

— Они улетели, — ответил летчик, постукивая гаечным ключом о какую-то железку.

— Кто они? — спросила Кира.

— Кириянов и Храбриков.

— А куда? И нэдолго! — настороживо спросила она, понимая наивность своего вопроса.

Пилот поклонил плечами, отвернулся, и тут только Кира заметила, что лопаты хвостового винта с вертолета сняты и пилоты вместе с механиком возвятся возле него на расстеленном брезенте,

«Профилактика», — отметила она механически и вдруг увидела на пороге избушки небрежно брошенную надувную лодку. Она узнала ее: это была лодка для Гусева, и она с острой неприязнью подумала о тщедушном и вредном Храбрикове.

— Я хочу вернуть вас к одному своему вопросу. Хочу повторить его. Как вы оцениваете вторую радиограмму?

— И ее я не считаю тревожной. Видите, Гусев же собирался продолжать работу.

Однако несколько позже он направил новое сообщение. Вот оно: «Уровень воды поднимается. Попытались перенести лагерь трапециевидной вышке. Сделать это не удалось большого объема груза. Остров, на котором находимся, постепенно сокращается. Просим вертолет перенесения лагеря более высокую точку. Гусев».

— Но эта радиограмма пришла намного, а не несколько, как вы выразились, позже.

— Через четыре часа.

— Видите!

— Из можно понять. Они пытались исправить положение своими силами.

— А нас нельзя понять?

— Я хочу повторить один вопрос.

— Слушаю.

— Вы летели в тот день по служебным делам?

— Я же сказал. Конечно!

25 мая, 12 часов 10 минут. Петр Петрович Кириянов

 енъ рождения, черт побери!

Он считал себя обязанным быть временами сентиментальным. Для большого, мощного человека очень даже своеобразно проявлять иногда свойства, вроде бы для него чуждые; их надо проявлять, если даже их в самом деле нет; нет, так надо создавать, синтезировать.

В день своего рождения, каждый год, он вел задушевные беседы с окружающими людьми, валил дурака, представлялся симпатичной, обаяющей, умницей. В день рождения, выпив, он обожал всплакнуть, рассказать в лицах какую-нибудь притчу, пофилософствовать, стараясь свежо формулировать старые мысли или рассказывая классиков.

Этот день был как бы смотром его всевозможных дарований, и всякий раз он оставался доволен, убирая в стокилограммовую оболочку, как в пепел, свой действительный характер.

Сейчас, когда вертолет несся над тайгой, оставляя на земле неизъянную тень, и разговаривать из-за треска моторов было невозможно, Кириянов как бы внутренне готовился к предстоящему вечеру.

Время от времени он взглядывал в иллюминатор, хотяглядеть по негласному уговору должны были пилоты, знающие, куда и по какой надобности летят сам начальник, и взгляды на землю вызывали в нем чувство приятного удовлетворения.

На сотни километров внизу кипела тайга, однобрачная, скучная весной, и на этих сотнях километров он, ПэПэ, был полновластным хозяином. Он работает тут уже несколько лет, его деятельность придавали значение, каждый год увеличивая количество партий, людей, техники. Сибирь осваивалась во всем, по-настоящему, но сколько еще было до этого настоящего! Сколько первых троп, первых просек, первых отмечек на картах, пока не начнется здесь хотя какая-нибудь мало-мальская жизнь.

Нет, все это было впереди, и про себя ПэПэ готовился к будущему, к тому, что заслужено: новым

должностям, на этот раз в управлении, а то и выше, к наградам, вполне возможно, орденам, к скромным рассказам в генном кругу приятелей,— впрочем, что ж стесняться, можно и в широкой аудитории,— о нелегком, сорвом, полном лийшений и невзгод, как пишут сочинители, труде знатного, умного первогохода.

Это, конечно, будет, придет, бесспорно, надо только не загадывать вперед, не гнать динамо, вопрос упирается во время, в несколько каких-нибудь лет. Кирьянов вспоминал двух геологов, молодых довольно парней, выступавших у них в управлении. Оба получили Ленинские премии за открытие нефти, кандидатские степени без защиты — только по отчетам, и их появление тогда влило в Пэлэ новые силы. Терпер образ двух парней в освещенном яркими огнями зале был для Кирьянова своеобразным этапом, жизненным стимулом, миражем, который, возникавший время от времени в памяти, обнадеживал на дальнейшее...

Он взглядывал в иллюминатор вертолета, властно осматривал таенную равнину и, не смущаясь смелых параллелей, сравнивал себя с Семеном Дежневым. Кирьянов усмехнулся. Что скрывать от самого себя — ему казалось, что даже внешне он походил на Дежнева, если бы вот только волос на голове побольше. Но этот недостаток свой он прикрыл, зачесывая волосы сзади и с боков вперед, а в остальном — в чертах лица, по его мнению — все склонилось.

«Ха-ха! — рассмеялся над собой Петр Петрович. — А вы порой глупеете, так до орденов и регалий можно и не добраться! — Но тут же успокоил себя: — Ничего, в день рождения можно».

Можно, конечно, можно, а ему, хозяину всех этих необитаемых, пустынных мест, «губернатору», как шутят его друзья, можно многое.

Кирьянов вновь скосил глаз в иллюминатор, усмехнулся, вспомнив одного начальника партии, который ушел от него каким-то клерком в геологическое управление. Насчет клерка — это он, Пэлэ, беспокойсяся, не лыком все-таки шить, все-таки кое-что разумеем в устройстве этого мира, не было времени, тот начальник бушевал. На открытом собрании правду-матку резал. Объяснял ему, Кирьянову, что-де для него тайга лишь ступенька вперед, что ему на тайгу наплевать. Тогда он обогрялся, прислонясь, говорил красивые тексты, но потом взял крикуну за грудки, — нет, не в переносном, в прямом смысле слова, — поднял его за телогрейку в тихом перелеске, выследив, конечно, заранее, и высказал ему что положено. Что убиралась прежде всего и что тайга — она и есть тайга, молиться на нее он не собирается. Он тут хозяин — и точка. Начальник быстро сматывался, молол что-то в городе на Кирьянова, но поди-ка, доберись к нему из города!..

Вертолет пошел вниз. Храбриков заметался у иллюминатора, стал подбрасывать мешки к дверце, чтобы Кирьянову мячко было стоять на колене, — стрелял он всегда с колена, распахнул дверь, устроил специальную решетку, — не дай бог, вывалившись.

Кирьянов приветливо улыбнулся ему, помахал пальмами — они сигналили руками, указывали пальцем вниз — и пристроился на колено. Теплый ветер реагировал в открытую дверь. Петр Петрович захмурился в удовольствии, обратил внимание, что вертолет повис совсем низко, и только тогда, не волнуясь, выглянуло.

На большой прогалине, не зная, куда бежать, носились взад и вперед три лоси.

Самый большой из них, самец, пугаясь стекочущего чудовища и черной гени, скользяя по снегу, порывался к лесу, но тень перерезала его путь,

и тогда он круто разворачивался и мчался назад. Это была игра живого и мертвого, игра крови и металла. Она забавляла Кирьянова, он гулко хохотал, предвкушая победу над лосеми.

Он поставил удобное колено, щелкнул затвором и положил ствол карабина на решетку. Пилот на какое-то мгновение завис неподвижно, и Кирьянов неспешно, через ровные интервалы времени, будто робот, выпустил в самца пять пуль.

Оружие приятно отдавало в сильное плечо, карабин харкал злыми, почти невидимыми на солнце всплесками пламени, пули уходили вниз, взрывая снег, но ни одна не достигла цели. Кирьянов, честно говоря, не получил бы удовлетворения, если бы с первого выстрела уложил лося. Он хотел игры, но не короткой, неинтересной. Его увлекал азарт охоты. Он перезарядил карабин и, целясь уже тщательнее, выпустил обоймой рядом с лосем. Зверь затрясенно выдыхал, смотрел на карабин и, целясь уже тщательнее, выпустил самку и детеныша.

К Кирьянову нахлынулся Храбриков, что-то лопота.

— Ори громче! — велел ему Пэлэ, не расслышав. — Вы прямо как в тире, Петр Петрович, — крикнул в ухо Храбриков. — Красиво! Быть!

— Красиво! — гаркнул Кирьянов, любуясь собой, своей силой, меткостью, хваткой настоящего промысловика. — Гляди, как будет теперь!

Лось упал, тотчас вскочил, волоча заднюю ногу. Пэлэ прицелился снова, но на этот раз промазал.

Третья пуля попала лосю, кажется, в позвоночник. Он упал, забрыкал ногами и пополз, оставляя тягучий кровавый след.

Кирьянов устало откинулся от карабина. Посмотрел, жмурясь, на летчиков. Они вопросительно показывали на землю, спрашивая, садиться или продолжать. «Продолжать!» — велел знаком Кирьянов и снова припал к прицелу...

За всю охоту жалость ни разу не покрасилась в его сердце. Удовлетворенно разглядывая свою работу, он махнул пилотам, сигнализ, чтобы они возвращались к прогалине, где лежал убитый лось.

— Ну что ж, я еще раз хочу узнать ваше мнение о Храбрикове.

— Я уже говорил. Или вы проверяете меня, не изменил ли я по ходу следствия свое мнение?

— Вы излагали здесь много точек зрения на разных людей. Ради истины надо признать: знаете вы большинство из них весьма приблизительно. Но про Храбрикова говорили крайне положительно.

— Безусловно.

— Вы считаете его человеком, на которого можно положиться?

— Конечно.

— А на пилотов, с которыми вы летели в тот день?

— Ах, вот оно что? Но они тоже получали свое.

— У этих людей хватило совести самим прийти ко мне.

— Я повторяю, они тоже нестерильны.

— Кто подтвердит это?

— Храбриков!

— Вы уверены?

— Конечно.

— Вот его подтверждение.

— Что это?

— Коробка из-под зубного порошка. Откройте.

— Я не понимаю.

— Это пули. Пули вашего карабина.

(Окончание следует).

Мара Гриезане



★
Когда строка воистину народна —
твоя душа воистину свобода
и полноводна, радостна, как Волга,
веде чувство воли — это чувство долга:
с ним ярче цвет полуденного неба
и спаще вкус полуденного хлеба.

★
В Латвии, как в шкатулке,
спрятано мое детство:
розовый хрусткий прянник,
кувшин с молоком парныи...
[Ах, ерунда какая!]...
В Латвии, как в шкатулке,
спрятано мое сердце,
словно щегол, живое...
И только заветная песня —
от этой шкатулки ключ.

Ночлег на берегу

Звезда у ночи на виске.
Скала. Пещерная камора.
Костер пахучий на песке.
И песня хрюпая помора.
И подка дремлет на волне.
И плеск волны — что всхлип младенца.
И свежий ветер в тишине.
И море теплее у сердца.

Старинная песня

Подымай повыше весла,
пусть попутный вольный ветер
спускай поглубже!
Свой большой бушлат рыбацикий
и прищурь свои большие
вольный ветер, вольный ветер
затяни потуже
и баркас уходит быстро
от багровых круч...

Паруса гудят раздельно,
как большие трубы,
И веселый бог удачи
смотрит из-за туч...



Под вечер
в латвийском море
печально,
как в русском поле:
печальны
седые дали,
и тучи
полны печали,
и месяц
печально светел,
и душу
тревожит ветер,
и яхта
так сиротлива,
как в поле
седая ива...



Вечно струится
чистое пламя
в женской крови
первой любви.
Десять любовей
встречаются
испепелятся
в этом огне.



Был самый серый понедельник.
Машины плавали в пыли.
Не намечалось новых денег,
да и дела почти не шли.

И никуда уже не деться —
броди, толкайся, пей снитро...
Но вот обычного младенца
я вдруг заметила в метро.

Глазел он розово, плакатно,
как бы с обложки «Огонька»...
И стало ясно и понятно:
беда моя невспыка.

Понятно стало мне и ясно,
что унывала я напрасно,
что понедельник — тоже день,
а деньги — просто дребедень.

Орловщина

Заката теплая малина
так мягко тает на губах.
И среднерусская долина
висит на редужных столбах.

И туча темная разъята,
И дождик искрится спелой.
И облака, как жеребата,
бегут к реке на водопой.

И хаты близкое соседство
приятно в добной тишине.
И ночка, тихая, как детство,
выходит из лесу ко мне.

ИВАН
КОРНИЛОВ



ПОГОНЯ ЗА ВЕТРОМ

Рисунки
Г. Пондопуло.

ПОВЕСТЬ

1

Cморенные сытым полдником, спать улеглись где кому хотелось. Саша устроилась в телеге. Нагретый солнцем войлок приятно теплил живот, бедра и грудь. По всему долу шумели под ветром травы. От затухающего костра потягивало дымком. Потом кто-то запел. То ли женщины проехали по лем, то ли ветер поддал силы, а всего скорее это незаметно одолел сладкий, сладкий сон...

Словно в хорошем сне прошел у Саши Владыкиной отпуск в родных Мостках. Было много веселых солнечных дней. Дожди перепадали тоже, но это были все случайные, парово-теплые, несеребряные дожди. После таких дождей часто зависал над полями лучезарный свод радуги, притихали травы, в

чуткую струнку прямились хлеба. «Нынче сама земля растет!» — радовались хуторяне.

На выгонах и по низам, сквозь траву прориаясь, в несметном числе высыпали сдобные на вид опята; склоны долин начинали альять землянкой. И все Мостки носили даровую эту благодать кто чем мог: и кошелеками, и ведрами, и тазами!

По-новому изумлял Сашу Трофимыч, муж старшей сестры Марии. Ни веселым и ровным нравом своим изумлял — таким был он и раньше; и даже не тем, что в сорок лет выглядел таким же молодцом, каким был и в двадцать пять, когда женился. Изумлял Трофимыч моторностью. По своим бригадирским делам уносился он с самой раны, замученную к обеду Рыжуху сменял на Воронка, наскоро закусывал и исчезал снова. Совсем возвращался лишь перед заходом солнца — пропахший травами, в пропыленной рубахе, зато с неизменной улыбкой во все лицо и с какою-нибудь поживой в телеге: то

это барабанский сбой, то полведра карасей, а то вдруг свалил на траву мешок, мокрый, нечистый, а в мешке взорвался. «Раки! Варите, я побежал купаться». Он же, Трофимыч, устроил и эту вот рыбалку — на дальнем за хутором пруду. Пустой, без улова оказалась рыбалка, но само путешествие Саша запомнилось. За кучеря был Женя, ее муж, а Саша сидела в задке телеги, на этом же вояжке. У выткнутых ног Саша расположился Андрейка. В хуторе малыш храбрился, что будет смотреть он в поле «всех до одной птичек и цветочков», однако тяжкая телега убивала его, едва соронулся со сна.

Откинув голову на стеганый ватник, спал и Трофимыч. Временами он рассказывал такой храп, что Женя только оглядывалась да покачивал головой. Пробудился Трофимыч на поплите к пруду, однако вставать не вставал, лежал просто так, глядел в небесную синь.

Ехали шагом. Ветер клонил к земле хлеба, заворачивал ветви вязов и кленов в лесной полоске. Лес этот рассадили давно, еще в Сашином детстве, но, оставленный на произвол суховея, он так и не поднялся, лишь раздрогался вширь, занесавши дорогу.

А потом случилось то, что осталось в Сашиной памяти накрепко. Навес ветвей раздвинулся, и в просвете открылось пространство — очень большое и как бы подернутое нежной фиолетовой дымкой. Телега неспешно подавалась вперед, лесок рассступался, а дымящее пространство все разрасталось, раздвигалось и ширилось. Оно уже сплошь застелило увалы, косогоры и все уходило вдаль и будто бы даже вверх.

Еще не понимая, что же такое она перед собою видит, Саша приствала на колени, и сердце у нее застучало горячо.

— Овсяница! — ахнул Трофимыч и тоже встал на колени. — Вот это вымахала, вот это да! И когда она успела? Я же был тут. — Он пошептал, что-то высчитывал на пальцах и заговорил, вонец щеломленный: — В три зари! Женя, Саш, всего три зари — и наше вам, в плях!

— Косики-то готовы? — спросила Саша.

— Косики? — Восторг Трофимыча сменился растерянностью. — Как назло, ни одной!

И притих.

Чистая, жижающая на теплых дождях и волглых утренниках-туманах, овсяница раскачивалась под ветром охотно, вольно, лоснилась с изнанки седым атласом.

— Женя, остановись-ка, — попросила Саша.

Скинула шлепанцы — и босиком. Да чуть не присела: горячая пыль обожгла ноги. Словно бы входя в знойную воду, Саша приподняла подол сарафана, в траву шагнула с осторожностью.

— Вот чудно: земля горячая, а трава холодит. И не очень-то ногам доверяя, нагнувшись, принялась ворочить траву рукой. Рвал ее, к лицу, к плечам прислоняла и все не могла надивиться: прохладной было трава!

Неожиданно для себя Саша легла и покатилась с боку на бок, с боку на бок; холодок обнигал теперь и лицо, и руки до самых плеч, и ноги. Поникая с шумом, трава стелилась впереди мягкой волной. Андрейка, Трофимыч с Женей и даже Рыжуха — все смотрели на Сашу затянуто, чего-то ожидая.

Вдруг Андрейка соскочил с телеги — и к матери, давай кувыркаться тоже. И вот они баражаются, смеются вдвоем, на пару.

— Ящерка! — крикнул зоркий Андрейка и, широко раскинув руки, запелся по траве.

Саша затянула дыхание: утопая по шейку в зелени,

лугом бежал ее родной сын! Из-за леса выскочил маленький двукрылый самолет, вот он накренился и так низко пролетел над лугом, что Саша увидела летчика. Летчик смотрел вниз с таким же интересом, с каким смотрела на него Саша. Стремка и покачиваясь, самолет пролетел, а Саша все еще стояла и смотрела ему вслед. «Отчего он летает?» — подумала Саша о самолете. Она знала, конечно, отчего самолеты летают, это она «проходила» в школе. И все же она каждый раз удивлялась: тяжелый, а летает... «Он от ветра летает. Пропеллер крутился, делает ветер, и от этого ветра самолет взлетает»... Такое объяснение Сашу удовлетворило. Отчего летают другие самолеты — те, что без пропеллеров, как они поднимаются в воздух неподъемные тяжести — в это ей винить не хотелось, ей достаточно было сейчас своего простого объяснения: от ветра, от луга, от солнца, от радости.

— Зеленая! Ящерка зеленая!

Раскрасневшийся, возбужденный охотничим азартом, Андрейка подбежал к Саше, и она жарко обняла его и, не стыдясь слез, стала целовать. А сын промолк.

А потом они играли в догонячки. Придерживая подол сарафана, Саша носилась за быстрононгим сыном, ловила его за задвигающуюся на спине рубаху.

— Попалась, что, попалась! Сыночка, ты прыгай с горочки, с горочки. И руки вот так — будто летиши. А теперь догоня-ка меня.

Вскрикивая, она кружила по овсянице. Ветер снес с ее головы косынку, распластал по траве; метелки стегали Сашу по коленкам, а она все удивлялась, что бегает быстрее сына и долго не устает.

Некруто стекал в лощину уклон. Рыжуха качнула головой, всхрапнула и сама, без понукания, с мерного шага перешла на спорную рыхь. Дорога была не из тех, какие накатывают резиной грузовики, а простая тележная, и колеса запрыгали на толчках, застучали. Под удачей этот перестук Женя, сдерживая улыбку, говорил Саше на ухо:

— А ты знаешь... Сейчас, когда по траве бегала, ты, Саш, была какой-то другую...

— Другой? — радостно удивилась Саша. — Каково же я была?

— Волосы у тебя раздымались. Вверх — вниз, вверх — вниз. Этакое золотое облако... А еще мне показалось...

— Что еще тебе показалось? — перебила Саша в сильном нетерпении.

— Показалось, что тебе не двадцать семь твоих лет, а шестнадцать.

— Шестна-адцать?

— Ага.

Саша даже не попыталась сдержать обувшей ее радости. Смех ее рассыпался звончиками.

— А вот не угадал! Мне сейчас шестнадцать с половиной! И зорница посмотрела ему в глаза.

А Женя зашептала ей в лицо — горячо зашептала, тайно:

— Скорко, что ли, у нас Леночка появится? Обещала...

— Сегодня к вечеру тебя устронят? — смеялась Саша.

И подумала: как славно отдыхается им у сестры Марии, как славно спится в саду, особенно под утром. Тихо шепчется над сеновалом яблоня, циркают синицы, а потом с тяжелым медным звоном начинаютноситься пчелы.

— Нет, Женя, с Леночкой еще успеется.

— Сколько уж ты говоришь это свое «успешися»... — И отвернулся.

Она взъерошила ему волосы и поцеловала в висок.

— Не дуйся, слышишь?

Она и сама не знала, отчего так упорствовала, когда заходил у них разговор о втором ребенке. И саша думала не раз, что неплохо бы родить еще и девочку, беленькую писькушку. Однако стоило мужу напомнить об этом, как что-то в ней затворилось.

Распягли Рыкуху возле пруда, и она, не тряся времени попусту, захрупала пыреем здесь же, прямо у телеги. Кинув на куст чилиги рубаху и брюки, Женя разбежалась и с невысокой кручки бросилась в пруд. Тело его взметнулось над водой гибким полудумком и без брызг воинством.

— Умеет, леший та под-митки! — оценил Трофимыч.

Кидая саженки, Женя плыл уже серединой пруда, а Трофимыч зной сбека покидал головой да приговаривал свои хвалебные слова.

Потом они ловили рыбу. Рольский Трофимыч потянулся от глуби, Женя поднял коленями воду у берега. Собирать улов в полуведеник напросился Андрейка. А Саша тем часом разводила костер, усаживая коровий шлепки скоро взялись жирными колотыни плавнем.

Рыбачили-рыбачили, а поймали пяток карасей.

— Ветерено, подождем затишья, — оправдывалась Трофимыч.

А Саша над ним подтрунивала:

— Рыбак всю свою жизнь ждет погоды.

Уха, однако, и из этих карасей получилась неплохая, и вот, сморенные сътым полевым полдником, они свалились где кто хотел. Андрейка заснул в холодах под телогей, Трофимыч с Женей облюбовали местечко возле куста, а Саша устроилась в телеге на войлоке. И вот Саше уже неудомек, то ли она дремлет, то ли уж сюкье сон слышит, как шумят под ветром трава и кто-то невдалеке поет очень задушевную песню.

И домой уезжали Владыкины тоже в хороший, солнечный день. На той же Рыкухе подкинули их Трофимыч за хутор, до большака.

Провожала их вся родня: и старшая сестра Мария, вечно занятая на своем молочном пункте, и соседские ребята, и Грунчика Ковалева, дальняя родственница, которая упросила оставить у нее на лето Андрейку.

И Саше хорошо было идти вместе с ними и говорить о том, про что переговорено было за отпуск десяти раз.

А над головой гитарными басами постанывали телеграфные провода, и бился вдоль дороги, то ли прощально раскланивались, то ли взлетят пытаясь, серебряный ковыль. Саша набрала пучок ковыля — в память о родных местах и о родных людях.

И об этом очень хорошем своем отпуске.

2

Упаковывая посылку Андрейке, Саша исподволь посматривала на мужа, который колдовал над шкафом. Вот пальцы его мягко и быстро простирались низ шкафа, вот они пробежались по одной переборке и перешли на другую. Женинные пальцы касались дерева слегка, самую малость, а порою начиняло казаться, что не задевают его и вовсе, и только глухой полый звук выдает, что по дереву все-таки стукают.

Саша улыбнулась: какой-то месяц не видел человека своего жилья и так по нему соскучился. Все постукивает, все и простукивает: не отстала ли где краска, не дала ли случайную лопину дверца или переборка.

О как понимала Саша мужа! Что в их комнатах есть — все эти кресла, столы, этажерки, шкафы, серванты — все было сделано им самим, Женей. Краснодеревщик самой большой руки, он для своей семьи делал все с выдумкой, по собственным чертежам. Целый год, когда они с частного угла перехали сюда, новый дом, Женя только строгал да клепал, шуршал наждаком, да накладывал лак — и целый год из их комнат не выветривались запахи опилок, стружки, канифоли и красок. Веселое было времечко! Женя был жаден до каждой свободной минуты, он был увлечен и одержим... И с присущей добруму человеку особенностю благодарно оглядываясь назад, Саша думала сейчас, и думала искренно: тот год был лучшим годом их жизни.

Пришла Оля Нечеева, соседка, и стала пристально, без потаек рассматривать Сашу.

— Я думала, тебя там, на вольном молоке, разгнишь, в двери не пролезешь, а ты ничего, впрежних берегах. — И обняла Сашу, поцеловала в щеку.

Взглянув на Женю, она высказала идею:

— Вот ты, Владыкин, съезжай в деревню с пользой, поправляйся, помолодей, и этого дела так просто оставлять нельзя, это надо отметить... Сейчас я притчу своего Нечая и кое-что еще.

Нечеевы не заставили себя ждать, заявились через минуту. Макс, пощипывая усы и улыбаясь, шел впереди; Оля держала руки за спиной, и вид ее был таков: «Угадайте-ка, что у меня?»

— Угадайте-ка, что у меня? — спросила Оля и, отверта не дожидалась, поставила на стол пузатую бутылку в плетеной корзинке. — Мы здесь, как видите, тоже не тряпили времени попусту.

Макс обласкал жену долгим влюбленным взглядом.

— У нее командривочка подпернулась в винные края, вот мы и учили.

— Вы посмотрите, какую у меня конфеты, они тают во рту. — Оля высыпала на стол ворох конфет в оберточках с иноязычными буквами. — Чур, наши коняки и конфеты, а ваши яичница и все остальное. Женщины удалились на кухню готовить закуску. И здесь, за совместным занятием, у них случился всем известный в таких случаях разговор двух приятельниц, давно друг друга не видавших, когда обеим хочется рассказать обо всем сразу, да ничего не получается: перебишаешь друга друга и не замечашь, что перебишаешь.

Уже высвечивало по рюмкам вино, и Оля, прошагая шипящую с пламени личинцу, ойкала, когда пришли Барковы — Неля и Володя, до смешного одинаково худосоческие. Завидя их, Женя так и просияла: Барковы он любил давно и преданно, особенно Володю. Вместе они окончили училище и уже несколько лет вместе работали.

После первой рюмки дружно принялись есть, по-сле второй запели.

Саша запела тоже, и ей привиделся просторный за Мостками луг, догонячки с Андрейкой по высокой осинянце. Не стало ни комнаты с зеркалами и жажкой люстры, ни стола, ни застолья.

— Дружные, ребята, дружнее! — издалека-далеко слышалась Олия голос. Песня тянулась нестройно.

— Может, другая пойдет лучше?

Стали перебирать, какую бы песню спеть, но любая песня кем-нибудь да отвергалась по причине старомодности или же потому, что надоела по прошлым вечеринкам.

— Опять он со своими «Ландышами»! Может, еще «Репку» затянем? — крикнула Оля. — Саша, ну до чего же твой Женек... Он законченный, как бильярдный шар. Уж лучше давайте станцуем. Включите магнитофон.

И Оля стала двигать кресла, толкать к дивану стол; лицо ее пыпало жаром.

А у Саши перед глазами все стоял неохватный луг. Убирали со стола посуду, они уронила тарелку — и вдребезги.

— К радости! К счастью! Го-рико! Целуйтесь, Владыкины! Вы приехали из деревни? Ах, вы стесняетесь?

Тогда буду целоваться я. Макс, Максимушка мой милый, давай сюда свои крашеные усы.

«Вечното распрыгается наша Оля. Зачем?» — рассеянно подумала Саша и стала вглядываться в каждого как бы заново. Что бы ни начал кто-нибудь говорить, она уже вперед знала все осталное. «Макс, ты опять пускешь мне в лицо дыма». Сенчак Оля непременно добавит: «Какое идиотство, или ты не понимаешь?» И ведь точно: Оля сказала именно это, слово в слово...

«Я становлюсь привередливой. Может, я старею?» — подумала Саша.

— Макс, милый ты мой Максимка, кой черт на-взял тебя на мое душу?

А через минуту Оля уже плакала. Возле нее узывались Макс и Женя, поднесли ей холодной воды, но Оля, каприничная, повторяла одно и то же: «Уйдите, уйдите, уйдите!»

И тут Саша подумалось, что все это было у них вот так же и десет лет назад, и двадцать, и сто. И самой-то ей, Саше, не двадцать семь, а уже пятьдесят семь, а то и целая сотня.

Ребята, милые, мне отчего-то нездоровится сегодня. Может, выйдем погуляем на воздухе?

Тут все вспомнили, что пора спать, и разошлись по домам.

А Саша опять подумала: может, она стареет? Закрывая дверь за гостями, она подумала, что завтра после долгого перерыва пойдет опять на работу, и этим утешилась.

3

Полумесяцем изогнулась аллея узкоплечих пирамидальных тополей. Ходить этой аллеей — все равно что ходить по светлому коридору с высоким потолком и длинными, вытянутыми окнами: столько простора над головой, свет, торжественность. Радоваться бы на такой аллее, но ходят по ней все больше с хмурыми лицами: к хирургическому корпулу, даже с виду тяжелому зданию, ведут эти красавцы тополя.

Сашин путь лежит мимо них. Корпус нервных болезней, где она работает, затерялся в глубине больничного двора, в кустах акций и сирени. За отпуск Саша крепко соскучилась по всему знакомому и пришла на работу раньше положенного часа, чтобы не обширном больничном дворе увидеть все перемены, какие всегда случаются, если уезжаешь надолго. Она даже выбрала для себя не асфальтовую аллею, прямую и короткую, а земляную тропку и шагала по этой тропке расслабленно, неторопливо и осматривалась вокруг. Но тут наперерез Саше из-за куста высокий человек в больничной пижаме. Он посмотрел на Сашу, мельком, как смотрят на досадную помеху, и сейчас же скрылся. Саша улыбнулась про себя: беллец! Знакомая картина...

Больничные запахи в корпунке показались Саше необычайно резкими, а потолки — ниже. И только в сестринской ничего не изменилось. Годами на том же месте стоял рассохшийся шкаф, годами тускло отбескивал со стены осколок зеркала. И годами, вываривая шприцы, булькала на электрической плите вода.

Увидев Сашу, радостно взвизнула Люся Трушина, палатная сестра, еще незамужняя. А старшая сестра Таня оглядела Сашу с головы до пят.

— Бернудас! Вот и слава богу, все будет полегче.

Сыпала ли Саша новый анекдот про медиков? Ну, тогда послушай. И пока Саша прибрала в своем стопике, Таня, сама себя поощряя смехом, рассказала две непристойные истории... Говорили, что в свое время Таня была худенькой и резвой, но теперь в это не верилось. С годами фигура ее раздилась, живот отяжалел, и ходила Таня по больнице нетропливо, чинно.

Взглянув на себя в осколок зеркала, Саша бодро изготовилась к делу — разносить лекарства, отсчитывать порошки и записывать назначение врача.

В десятой палате залежались двое, оба шоферы, оба с простуженной поясницей. Они обрадовались Саше, и она им тоже обрадовалась. Все другие в ее палатах были новые. Тот, которого она встретила — беллец-то! — тоже оказался у нее, в восьмой палате. Сидя на койке, он мельком взглянул на Сашу и углубился в свое дело. На коленях у него лежал какофон плащет не плашет — плоский ящик с прорезями и белыми кнопкими. Человек нажимал пальцем на кнопку, внутри ящика что-то срабатывало, щелкало, и он смотрел в прорезь.

«Сторожев», — прочитала Саша на его бирке. И чуть ниже латинью — диагноз.

Вокруг него на постели и на тумбочке — листы бумаги со столбцами слов и цифр; толстая тетрадь и книги лежали вразброс, таблетки положить некуда, и Саша спросила, где ей оставить лекарства.

Он неохотно оторвался от своей щелкалки. И хотя смотрел он очень внимательно, Саша была уверена, что он ее не видел: взгляд его был неосмыслен, он был там, в своем деле.

И потому сколько ни заходила, сколько ни заглядывала Саша в восьмую палату, Сторожев сидел в той же позе — с опущенной головой и с этой щелкалкой на коленях. Перед обедом его пригласили к телефону, и Саша слышала, как он твердил в трубку: «Так и передай шефу: в Жаксы-Гумар еду сам и только сам, понятно!.. Это — мое дело... О, да ты меня плохо знаешь: сбегу — и все дела».

Потом к нему приехал толстый очкарик, и они о чём-то спорили на скамейке под окном, и опять Саша услышала это нерусское слово «Жаксы-Гумар».

Сторожев и на второй день сиднем, сидел и на третий. Сидел, что-то записывал и без конца щелкал.

«Дни и ночи работает, так и в самом деле можно свихнуться... Чё у него за щелкалка? Для чего она?»

Сама того не замечая, Саша смотрела на Сторожева все чаще и вот однажды, приглядевшись, подумала, что где-то она его видела.

«Кого он мне напоминает?.. Ой, что это я остановилась на пороге! Больные потчас же что-нибудь подумают. И обязательно подумают некошмар!»

Раноноса обед, отсчитывала порошки, а думала все о своем: где она его видела? «Он же выпытый Трофимыч! — как будто бы сказал в ее однажды кто-то, но сейчас же и стал вразброд: — Да нет, не должна быть... Но похожо».

И снова, прохаживаясь коридором, она замедляла шаги перед восьмой палатой, заглядывала в угол к окну, где его койка, неслышно заходила в палату и тайно выспирывала Сторожева всего — и спереди, и со спины, и сбоку. Какой уж там Трофимыч! Тот большой, весь литой, ровный. А у этого плечи хотят и не узкие, но сухие. У Трофимыча ладони вроде лещей — круглы и увесисты, а у Сторожева они



тонки и длиннопалы. Этот волосом темен — Трофимыч белобрыс. Ничего общего! Однако стоило войти, как опять начиналось это непонятное: Сторожек и Трофимыч смеялись в одно. Саша подумалось однажды: заговори Сторожек, и первое, что она от него услышит, это будет не что иное, как любимая присказка Трофимыча: «Леший та подмитки!»

В тот день перед уходом домой Саша узнала о Сторожеве все, что можно узнать из истории болезни: что ему тридцать четыре года и что живет он на Седьмой Парковой, с женой разведен, а травму получил в автомобильной катастрофе.

4

Утренний обход шел своим порядком.

— Что-то вы, дорогой товарищ, того... С вами заболеванием поаккуратней надо. Травма черепа есть травма черепа, пускай и старая. Встаньте-ка.

Сторожек встал, и рядом с ним сухонький старик Филипп Николаевич показался и вовсе маленький.

— Пятыми вместе, носки тоже вместе. Закройте глаза, руки вытяните перед собой.

Сторожек усмехнулся: знакомая, мол, волынка. А Филипп Николаевич между тем посмотрел на тумбочку, заваленную книгами, и усмехнулся тоже.

— Нынче все в науку подались. Мода века...

— Ругать науку — тоже мода века.

— Я не против ученых, не против. Только не слишком ли много их нынче!

— Их слишком мало, доктор!

Потом у них произошел короткий спор-перепалка. Филипп Николаевич: они, мол, ученые эти ваши, на горе человечеству атомную бомбу изобрели. А Сторожек ему: вот и хорошо, говорит, что изобрели. Саша тут даже головой покачала: гляди-ка, дерзкий какой! Все у него наперекор...

— Бомба эта опасная игрушка, никто не спорит.

Но она же и отрезвитель хороший... Для горячих голов!

Филипп Николаевич слушал, согласно кивал, а взгляд его поскунился, он глядел на собеседника все строже.

— Саша, покажите-ка большого окулиста еще раз. Мне не нравится его глазное дно. И вот еще что, заберите его бумаги, снесите их под замок. И эту балалайку унесите тоже.

Сторожек попытался было отстоять свою щелкунку, но Филипп Николаевич был неумолим.

— Никаких книг, никаких балалайки, никаких писаницы! Из передач — крепкая, мужицкая еда. Лежать и думать о футболе...

Сторожек смущенно кивал врачу, но Саша видела, что смиренность его притворная. Пока он с Филиппом Николаевичем вот так — то явно, то скрыто — пререкался, Саша успела разглядеть его хорошо. Лицо его ужасно непривычным оказалось — с кривым носом и неровными по высоте бровями; глаза у него зеленые, а ульбка очень молодила его; при быстром разговоре Сторожек слегка замякался. А какие беспокойные у него руки! Когда Саша собирала его бумаги, эти руки барабанили по тумбочке или шарили в карманах как потерянные.

И, глядя на эти нервные длиннопалые руки, Саша еще раз удивилась: с чего вздумалось ей срав-

нить его с Трофимычем? Ничего же общего! Эту похожесть она придумала сгоряча, вопреки здравому смыслу. Но для чего?

Выходя из корпуса, Саша лицо в лицо столкнулась с кудрявым парнем. Он, видимо, бежал от самой автобусной остановки: его щеки пылали румянцем. В руках у парня был такой огромный букет, что цветы загородили добрые польдвери.

— Сестрица, нельзя ли вызвать Сергея Сергеевича Сторожева? — Парень перевел дух. — Вот так Срочно!

— Срочно не получится. Сергей Сергеевич принимает гальванический воротник. А что, у него день рождения?

— Да нет. Лиза выходит замуж! Лиза Панова, слышали?

Парень по-прежнему стоял в двери: ни воротни, ни воротни; и Саша засмеялась от его торопливости и его рассказу о какой-то там Лизе Пановой, а здно предложила отойти от подъезда в сторонку.

— Вы не знаете Лизу? — очень удивился парень. — Ту самую Лизу, которую Сергей Сергеевич несла на трамвайных рельсах?

Теперь удивился Саша: как это найти человека на трамвайных рельсах?

— Так неужели вы ничего об этом не слышали?

И опять Саша засмеялась: этот человек говорит так, будто бы живет он в деревне, а не в большом городе.

— Гм... А ведь и в самом деле... И как это у меня из головы? — замялся парень. — Помните, под Новый год пурга разыгралась? Ну, тот случай, когда по всему городу ни трамваи, ни автобусы не ходили?

Саша кивнула: это-то она помнит. А парень, горячая, то и дело поглядывая то на часы, то на больничные ворота, стал рассказывать, и с его слов Саша поняла вот что... В тот вечер, когда никакой транспорт не ходил, Сторожек возвращался с работы пешком, по трамвайному пути. На шапаках-то он и набрел на эту самую Лизу. Что-то у нее там с сердцем случилось. В общем, замерзал человек. Сторожек подобрал девушку и нес ее на руках километра два, до первопопавшихся больниц. Ну а потом... потом девушка стала просить, чтоб спасительницу навещала ее в больнице. «Проголоси и просит. Даже на поправку не идет, по целям дням в слезах». Волей-неволей Сторожеку пришлося наведываться к ней едва не каждый день. Работы полно, дыхнуть некогда, а вынужден ходить. У девушки ни отца, ни матери, она и привязалась к Сторожеву, и вот теперь он для нее вроде бы за отца, что ли. А сегодня эта самая Лиза Панова замуж выходит. С минуты на минуту примчится с женником сюда. «Там такой шикарный автомобиль, там столько шелковых лент и цветов!» А Сторожек и не догадывается о свадьбе, и Лиза хочет преподнести ему сюрприз!

— А мы подумали, — кричал во всю силу молодых своих легких парень, — мы подумали: пусть и с его стороны будет сюрприз для новобрачных! Скинулись по пятере да и купили вот это. — И только теперь увидела Саша в руках парня еще и сверток. Парень хотел было похвастаться своим подарком, но Саша остановила его.

Потом парень стал интересоваться, не скучает ли здесь их Сергей Сергеевич и не положено ли, мол, по больничному этикету привезти ему гитару. «О, гитарист он отменный!»

Тут из подъезда показался Сторожек, и парень бросился к нему.

Саша посмотрела на Сторожева и улыбнулась тоже: ей пришла в голову озорная мысль: не поздравить ли Сторожева с замужеством приемной дочки? Подумать подумала, но поздравить не отважилась...

5

Сестрам, что поможе, больные любят говорить любезности. Поначалу их комплименты кружили голову, но довольно скоро надоедали, и их пропускаешь мимо ушей.

В свое время Саша Владыкина все это пережила тоже. Однако после возвращения из отпуска комплименты ссыпались на нее со всех сторон, валом валили, и под благодатным дождем этой полуистинно-полусти Саша и вправду стала замечать, что с нею словно бы началось что-то новое или же повторяется очень-очень знакомое, но такое давнее, что успело забыться. Любовь облегал плачи халат, легче стала походка. Разносила ли больным лекарства, сопровождала ли на обходах врачей, она мысленно подгоняла себя и всех: «Скорее! Ну скорее, что ли! Опять этот Петров собрал вокруг себя консилиум, вечно-то он плачет!»

И вдруг сплюхнула: «А куда я, собственно, спешу? Отчего меня носит, как ветром были!»

И однажды Саша подкараулила, куда это она все время спешит. Едва случилась свободная минутка, она почтой бегом помчалась к белому своему столику в сестринской. Крутнула ключом, выдвинула нижний ящик — и вот они, бумаги Сторожева. Осторожно, опасаясь, что не попадет на табурет, Саша присела и прикрыла руки глаза.

— Ну чего ты там копошишься! — осердилась Таня, старшая сестра. — Лекарства разносить пора!

— Отпусти меня, Таня Федоровна, домой. У меня отчего-то все из рук валится.

— С Женкой, значит, поцарапалась! Ладно, иди, а завтра меня подменишь.

«Сторожев. Неужели? — думала она по пути домой. — Нет-нет!»

Ни о чем она с ним не говорила, ничего она о нем не знает, а стало быть, все пустое. «Это семнадцатилетних завлекают глазами, а мне-то уж...» Она попыталась вспомнить, какие глаза у Сторожева, но как ни старалась, не только глаз — лица его вспомнить не могла.

«О чём же тогда разговор? Это какой-то шальной случай, затмение ума!»

Но сейчас же снова и снова вспоминались ей счастливые минуты, когда, торопясь-горячая, она подходила к своему корпусу, накидывала на ходу халат и летела из раздевалки наверх, надеясь встретить Сторожева еще в коридоре. «А потом, притихшая, опущенная в груди холодок, заходила в восьмую палату, стараясь не смотреть на него, но видела только его.

Ей захотелось посмотреть, где он живет.

От трамвайной остановки к его дому шла она пристально, словно бы кто-то мог догадаться, куда это она идет и что при этом думает. В незнакомый подъезд вошла, чуя в висках невнятный стук, как от вина.

Вот она, его дверь — обычная, не лучше и не хуже любой другой. Саша замедлила против нее шаги, прислушалась и едва удержала себя, чтоб не потрогать дверную скобу. Потом — не стоять же

перед дверью! — она поднялась на площадку между этажами и остановилась у окна. Прямо перед нею стояло голубенькое строенце с куполом — церквишка, переделанная в планетарий. «А что за этим куполом? — и поднялась этажом выше.

Так, с этажа на этаж поднималась, вспоминая она из чердачного помещения и отсюда залюбовалась на крыши. С печными трубами — то длинными, то присадистыми, с витиеватыми антеннами, голубые, зеленые, розовые, холодного цинкового литья и цвета земли — крыши устилали собой все пространство впереди. Они лежали ровно, сплошь, по ним, казалось, можно было гулять так же привычно и просто, как по лугу или по площади или полевой безлюдной дорогой.

«...Отчего этот парень так на меня смотрит? Он что, догадывается, где я была? А вон и другой посматривает с ухмылкой. Может, я задумалась и о чем-то проговорилась?.. Боже, как много народа, некуда деться!.. И вышла из трамвая, не доехав до дома.

Но и на тротуаре были все те же люди, люди, и все толпятся, идут туда, идут сюда, встречаются и обговаривают, задевают плечами и сумками, заглядывают тебе в глаза. И чего бы им заглядывать? Может, у меня на лице сейчас что-то такое, о чем догадается и Женя? Нет, сейчас я домой не могу.

Кривая, немощенная уличка привела ее на окраину, к кладбищу. Могилы без оградок и памятников, покосившиеся трухлявые кресты, и вдруг чаек с золотым крестом, возле которой паслись куры.

Саша привалилась спиной к ветелке; ветелка, качаясь, тихо поскорпывала, пощипывала листовой, навевала сладкую грусть.

Интересно, что сейчас делает Сторожев? Заскучал он без своих бумаг и без щелкакли. «И вот опять я о нем... Для чего? Зачем? Такое случается, говорят, только в недружеских семьях, а мы-то с Женей... мы ведь живем хорошо, и я его по-прежнему люблю. Ведь люблю?» И вдруг забеспокоился, а еще через минуту ее охватила паника. Саша уже готова была бежать снова в город, на люди, но тут из часовенки вышла старушка с ситом: «Гульки, гульки, гульки!» Но ее зов из-под карниза часовенки, из-за ограды и отовсюду налетели голуби. И пока птицы клевали, а старушка села им пшено и хлебные крошки, о ее ноги все время терпела дымчатый котенок. Он и убежал следом за хозяйкой в часовенку, играя на ходу и подпрыгивая. Это Сашу развеселило, и домой она шла успокоенная.

— А я тут пельмешки катаю!

Без майки, в комнатных шароварах Женя вышел на террасу с румянцем в обе щеки.

— Женя, давай куда-нибудь сходим.

— Может, для начала ты хотя бы прикроешься за собою дверь?

— В кино. А еще лучше в парк, на качели. Там еще самолет есть...

— Что это с тобой? Новое дело!

— Женечка, милый, мы каждый день что-то тремся.

— Ну уж! Мы живем, как все. Может, не лучше, но и не хуже других.

— Что мне другие? Мне не нравится, как живем мы. Каждый день все одно и одно, все одно и од-

но. Ну давай что-нибудь придумаем, а? Знаешь что
попши в ресторан!

— Вот это да! Замашечки...

— А что? Мы так давно никогда не ходили.

— Да ведь в субботу на дне рождения у Володи — забыла! Сейчас я клиники Нечаяевых — давай!

— Нет! Говори: идешь со мной или не идешь?

— Интересно...

Он откинулся голову к стене, оглядел жену с расстояния.

С расстояния и как бы чужими глазами взглянула на Женю и Саша. Взглянула и чуть не вскрикнула: «Женя, да у тебя брюшко!» Да-да, именно брюшко! Еще небольшое, но в то же время и уже довольно отчетливое, оно плавным овалным козырьком нависало на поясной ремень, отчего Женя показался Саше до обидного непохожим на себя — на того Женю, каким он был совсем недавно: юношески стройным, поджарым. «Гм... у него брюшко, а я и не замечала!» — подумала Саша рассеянно, а когда заговорила вслух, то поразилась своему голосу: был он до удивления спокойным и негромким:

— Ты, значит, не идешь? Хорошо, тогда я иду одна. Вернусь нескорово.

Вернулась, однако, минуты через три, не дойдя и до соседнего дома. Женя встретила ее усмешкой. Не набросив на плечи домашнего халата, не скинув даже туфель, она выдвинула из угла на середину комнаты зеркало, а на его место загнала телевизор. Под оттоманкой что-то скрежетало, драпо пол, но Саша и ее передвинула на другое место. Очерьдь дошла до шкафа.

— Ты что, рехнулась?

Приправляясь плечом к стенке шкафа, Женя наблюдала за Сашей вприщурку.

— Не мешай! — оттолкнула его она, и опять Саше бросились глаза брюшко мужа. Брюшко — большего ничего она почему-то не видела. Мимоходом мелькнуло: «Никаких забот, вот он и толстеть».

Сдвинуть шкаф Саша оказалась бессильна, и от бессилия своего вдруг заплакала.

— Что с тобой, Саша?

— Отойди-и!

Ткнувшись в подушку, она заплакала все горше и все безутешней.

Женя стоял над нею потерянный.

6

Утром, поднявшись с припухлыми веками, Саша долще, чем всегда, наглаживала платье и долше обычного пушнила перед зеркалом прическу. Странно рассматривая себя, она здесь же решила: сегодня буду следить за собой, за каждым словом, за каждым движением. Следить постоянно, каждую минуту. И только с холодной головой. С холодной...

Однако стоило завидеться больнице, и Саша не замечала для себя стала прибавлять шагу, а в цементный полуподвал, где раздевалка, неслася уже бегом. Халат едва накинула, и наверх, наверх — в свое отделение.

«Постой, постой! Зачем ты прыгавши через две ступеньки?» — окорачивала себя Саша. Только не поднималась ей ноги, ноги несли ее и несли.

«Вот тебе и холодная голова!»

В две палаты разнесла лекарства привычно, а перед восьмым заборела. Не могла войти туда, и все.

40

вернулась в сестринскую, посмотрела на себя в осоколок зеркала. Лицо пыпало.

Не попросить ли Трушину Люсю: пусть в этой палате раздаст лекарства она! А в обед, а завтра кто за тебя это сделает? Никто не сделает. Хочешь не хочешь, а когда-то придется перебороть свою робость. Уж лучше сделай это сейчас. Иди сама. Иди.

Готовый к завтраку — умытый, и выбритый, — Сторожев лежал поверх убранной постели и, прикры глаза, слушал музыку: крохотный, с ладони, радиоприемник из тихонько верещал у него на груди.

Услышав, что подошла сестра, Сторожев приподнялся, кивнул Саше и снова лег. Она оставила ему таблетки на тумбочке и уже уходила, когда услышала его голос:

— Сестра!

Оглянувшись, не совсем уверенная, что окликнула ее именно он. Но окликнул ее он, Сторожев.

— Подойдите, голубушка.

Хотя ног под собой, Саша вернулась. А Сторожев быстро метнул глазами по койкам вокруг себя — плуговской такой с искоркой взгляда.

— Не можете ли вы рискнуть?

Саша сделала движение сейчас же с готовностью ему ответить: она может пойти на любой риск, но слов у нее в этот момент не нашлось.

— Мне очень нужна одна моя книжка. Из тех, что где-то там у врача. Не надолго. — Он еще раз оглянулся, перешел на шепот. — Не бойтесь, я буду осторожным, вот увидите... Что вы смеетесь? Я говорю глупости, да?

— Что вы, не волнуйтесь, пожалуйста... Книгу? Которую?

— И он сказал которую.

— Сестра, голубушка.

Как-то очень уж хорошо он это сказал! Так не говорил ей никто. Потом слово в слово она припомнила, что и как сказал он и что ответила ему она. И снова все повторяло его это: «Подойдите, голубушка». И краснела и стыдила себя за то, что говорила не так, надо было говорить ей как-нибудь получше, поумнее, и теперь они приходили на ум, эти складные слова, да прокру-то, поздно уж, поздно! Будет ли случай поговорить с ним еще?

«Подойдите, голубушка» — и не сиделось на месте. То и дело забегала ординаторскую, весело отвечала на телефонные звонки, наполняла кислородом подушки, разносила обед.

«Сестра, голубушка» — и незачем уходить домой, сказала Тайсе, что хочет работать и в ночную.

— Ага, прокатали денежки в отпуск, теперь подзаработать надо! — весело погрозила та, довольная своей проницательностью. — Ассеева уходит со вторника в отпуск, заступнича вместо нее.

— Только со вторника? А сегодня?..

— Сказано со вторника!

Неподалеку от больничных ворот, в холодке под туманом акции, сидела старуха, вся в черном, продавала семечки. Она сидела здесь каждый день, а может, и целую вечность, и Саша так к ней привыкла, что часто проходила мимо, как проходят мимо телеграфного столба, не замечая, стоит ли он, или его убрали. Сейчас же, увидев старуху, Саша оглянулась: нет ли поблизости кого из знакомых, и опустилась перед нею на корточки.

— Бабушка, я слышала, вы гадаете...

— Гадаю, а как же! Тебе по руке или карту раскинуть?

Из-под передника, из потайного места, будто бы даже из-под юбки откуда-то бабка достала трепаную колоду карт.

— Все знаю, все вижу: муж ушел. От такой-то крали ушел! Приворожим. Завтра в ногах будет вальята.

Говорила старуха так напористо, что Саша и слова не могла вставить, но вот та взяла передышку, и Саша вспомнилась ею, успела.

— Нет, бабушка, у меня совсем-совсем иное... Вы умеете отгадывать сны?

— А то! Ну-ка, что там у тебя?

— Еду я будто бы поездом... с одним человеком. А поезд-то коротенький, всего из двух вагонов.

— Так-так.

— В одном вагоне — я, а в другом — он... Выгнали из окон, смотрим друг на друга, и оба нам так хорошо, так отчего-то весело, что и не сказать, как весело. Но вот что удивительно: поезд-то на них идет не по рельсам, а водой.

— Зряхший сон, пустой. Вода, — стало быть, на воде виляли. Выкинь этого человека из головы. Выкинь, забудь, отруби. Будто бы никогда не знала, будто бы никогда его не видела.

Саша всерьез опечалилась. Она собралась уже уходить, да вспомнила еще один сон.

— Вроде бы купила я себе шубу...

— Нехорошо живешь, милочка! Нехорошо живешь, от этого и сны у тебя нехорошие... Видела шубу — значит, быть шуму. Жалко мне тебя, возьми стопку семечек за так.

«Пошли ты со своими семечками!»

А дома опять ей вспомнилось: «Сестра, голубушка! — и захотелось сделать что-то не каждодневное, не надоеувшее.

Взялась мыть еще чистые окна. Распахнула настежь все три, а ветер только и ждал этого — подкинулся к потолку: занавески. Стекло под рукой подывало, ужало, и с каждым выпытанным звеном в доме становилось светлее.

Меняя воду, она шлепала босыми ногами по крашеным доскам, и каждый ее пришел отдавался четко, звонко, и звук не затухал сразу, как при закрытых дверях и окнах, а звенел-отдавался долгодолго. На середине большой комнаты получалось особенно пользувочно; здесь Саша остановилась и топнула покрепче.

— Ну-у, — запела по углам.

Она засмеялась и принялась шлепать босой ногой еще раз, и еще раз, и еще раз... Снизу, из комнаты под ними, сосед Василий Капитонович забыл ключ к потолку: «Владыкины! Эй, что там у вас, угомистые!»

Потом Саша вымыла пол, умылась и прилегла отдохнуть. Ветер по-прежнему пузырил и подкидывал занавески. Нынче, казалось, и воздух больше стало, чем во все прежние дни, и был он, воздух, необыкновенно легок, чист и припахивал молодой тополиной листовой.

Замирая от радости и пылая щеками, Саша стала думать: вот живут они со Сторожевым в высоком доме, на самом высоком этаже, и под их окнами лежат крыши. Никому не видимо, только им одним видимое царство крыш — красных, сизо-цинковых, зеленых, с дымовыми и витяжными трубами, с антеннами и с голубинными чердаками. Над крышами в немыслимую высоту возносится вечное небо, но только им одним видно, как оно высоко и вечно. И делается от этого сподисто, и легко веришь: нам суждено осться молодыми, молодыми на века... Вот такая нелепая, такая правдивая в своей четкой реальности и в острой радости картина предстала сейчас Сашиним глазам.

Девочкой любила Саша уходить за хутор, на Каменные холмы. Внизу расстилась ровная-ровная даль, мягкие травы закликали в свои просторы. И чудилось: вот закрой глаза и так, за-жмуркой, иди час и еще час — и ни разу не споткнешься, ни разу не наступишь на что-нибудь грубое, жесткое: такая это ухоженная, но совсем-совсем ковер-земля. Верх и не веря воображению, наперед зная, чем все это кончится, Саша тем не менее сбегала с холма в низину, в зелень, но всякий раз возвращалась едва ли не в слезах: ровная изделия безмежкность вблизи оказывалась грубым обманом. Тут что ни шаг, пучились кротовые кочки, попадались водомоины; плотными слоями лежала старая солома и коряги, занесенные сюда полой водой. А сиреневые кулиги, казавшиеся издали цветами, оказывались всемо-невеского унылой голощиной, неплодным солонцом.

Что-то похожее происходило нынче и в Сашиных мыслях о Сторожеве. Вот уж какой раз ловила она себя все на одном: ее влечет узнать его поближе. Но в то же время заходить с ним в близкое знакомство она опасалась. А боялась Саша вот чего: вдруг окажется он червистым, каким-нибудь нехорошим человеком. Мало ли людей, которые с перво-го взгляда приятны, а при близком знакомстве... Ах, будь что будет!

Однажды, когда ей посчастливилось разговориться со Сторожевым, Саша потянулась к нему сразу, умг забыв обо всех опасениях, и долго потом благодарила себя за свою неожиданную смелость. Увидела из окна: Сторожев, то убыстряя шаги, то почти останавливаясь, ходит в глубине двора и при этом то и дело посматривает на каменный забор, словно бы к чему-то присматриваясь. Саша направилась ему на встречу, заговорила первая:

— Гуляйте вволю, Сергей Сергеич. На завтра слухи погоды обещает дождь.

— С громом или без оногой?

— А как бы вам хотелось? — И почувствовала, что уловила его тон. А он увидел пролом в заборе и задержал на нем свой взгляд.

— Вы сказали: «Сергей Сергеич». Был когда-то Сережа. Нынче Сергей Сергеич — поправочка на возраст.

— Бумаги ваши лежат у меня в столе...

— Они, значит, у вас!

— То и дело попадаются под руки. Каюсь, я кое-что почитала...

— Не стоит каяться, греха тут нет. В данном случае нет...

— Вам, может быть, вернуть какую-нибудь книгу?

— Не надо, нет. Слишком я увлекся, слишком...

— И он это хорошо сделал, что отнял. Этот наш Филипп...

— Филипп Николаич-то? — засмеялась Саша.

— Извините, пожалуйста. Я прозвал его так для себя.

— Фи-лип-пок!

Саше легко, хорошо смеялось. А Сторожев опустил голову.

Между ними что-то произошло. Неожиданно Саше показалось, что Сторожев пожал ей руку. Пожал было — если оно было — мимолетным, как бы случайным, и Саша отшатнулась от Сторожева, чтоб не идти в опасной с ним близости. Но едва она сделала свои пол шага в сторону, как сейчас же и пожалела об этом.

— Не обижайтесь, пожалуйста... Со стороны вы такой бука.

— Я бука?! — неподдельно удивился Сторожев.
— Конечно. Вечно вы задумчивый, нигде не смотрите.

— Нигуда! Это еще как сказать... Вот сегодня я и вправду бука.

Саша посмотрела на него внимательно: да, глаза его были небесные.

— Вот гуляю с вами, шучу и все такое, а думаю только одна, и притом самая авантюрная: как бы сбежать отсюда? И поскорее.

— Сбежать-ат?

— Сегодня у нас особенный день, своего рода событие. Я пристан к этому событию. На объект, конечно, уже невозможно, так хотя бы с расстояния, издали...

— А что для этого нужно?

— Для побега? Пока что не хватает решимости. Но решусь! Еще немножко, и решусь.

— И прямо вот так, в больничной пижаме?

— А что поделаешь? Тут то и дело носятся легковушки, как-нибудь столкнуться с шофером.

— Погодите... Стала быть, одежда?

— Часа на два, не больше. — Он понял Сашу с полуслова и сказал это с мольбой.

— Не обещаю, но попытаюсь...

Сказала неуверенно, однако сразу же поняла: она не попытается — сделает это. И сделает тот-час же!

8

Слабостью кладовщицы Капитоновны были тыквенные семечки и пиво.

Саша повезло: на ее счастье, в ближнем ларьке оказалось бутылочное «Жигулевское», а у знакомой гадалки в черном она купила два стакана поджаренных семечек. Когда она спустилась в прохладу кладовой, Капитоновна, чуть ссутулившись на привычном месте, под лампочкой, и взяла.

Старуха взглянула на Сашу поверх очков и, чуя нечто особенное, задвигалась, забеспокоилась. Предчувствие тотчас же оправдалось: Саша выгнулась пред ее лицо гору лягуш, крупностью с наперсток семечек.

— Какие, ой, какие! — тихо воскликнула Капитоновна.

А Саша тем временем выставила еще и пиво, но сразу же свое условие: всего на минутку ей нужна одежда одного человека. Ну конечно же, конечно, она принесла и расписку. Капитоновна взяла эту расписку, запихнула ее в левое полушарье лифчика и с неожиданной для своих преклоненных лет расторопностью затерялась в царстве чужих узлов. Скоро она вернулась с большой сумкой, но прежде чем отдать сумку, она взглянула на часы.

— Через три с половиной часа у меня пересменка, смотри не опоздай. В случае чего, с работы поснимают обеих.

«Поснимают... Не поснимают!» — и стрельнула вверх по ступенкам. Она знала, что Сторожев будет благодарить ее, но не ожидала, что он так обрадуется. Нет, он не говорил много, он только смотрел на Сашу, и радость его была видна во всем. Потом Сторожев спросил, можно ли вызвать такси. Ну конечно! И опять он благодарил ее долгим взглядом, хотя теперь-то уж не стоило бы: ведь это такой пустяк — вызвать по телефону такси!

Спортивного покоря, на «молнии» куртка и узкие брюки изменили Сторожева. Стал он еще выше, статнее и ловче,

Он предложил Саше проехаться вместе с ним.
— С вами?

При упоминании о дороге Саша почувствовала знакомый озноб. Как и в детстве, ее невыразимо тянуло куда-нибудь ехать — все равно куда, лишь бы ехать и видеть новое.

— Ну что ж, я сейчас... Я попытаюсь отпроситься.

И опять она ощущала неожиданную, но уже и знакомую в себе твердость духа: не попытается, а отпросится наверняка.

Город остался позади, бетонная потянула их через скучную равнину к холмам.

Ехали на большой скорости. Саша нет-нет да поглядывала на Сторожева и не узнавала его: стараясь перебороть какое-то свое волнение, Сторожев обхватил себя руками за плечи и не мигая смотрел на дорогу.

У подножия холма он велел таксисту подождать, а Сашу пригласил с собой. «Здесь близко», — сказал он, и они пошли. Скоро они оказались на краю глухого буерака, поросшего кустарником, и на их пути оказался столбик «Запретная зона». Недалеко за столбиком виднелася проволочная ограда. Здесь Сторожев остановился и стал слушать. Невнятный звук доносился издали и как бы еще из глуби. Время от времени он становился явственней, и тогда земля под ногами чуть заметно подрагивала, а вслед затем возникало какое-то глубинное, утробное движение, будто бы сразу тысячи непомерно и неправдоподобно больших машин, расшатывая материковые устои, выдиралася откуда-то из глубин, из своего подземного пленя, сюда, на вольный свет.

Этот звук и эта тряска земли были то, ради чего Сторожев так стремился сюда. Он каждую секунду неуловимо менялся в лице, каждый миг становился для Саши новым. Когда звук седился, Сторожев тоже как бы садился — сутулился и досадливо моргался — как музыкант, уловивший фальшив. Но вот звук нарастал, и Сторожев вместе с ним как бы вырастал тоже: он расправлял плечи, яснел лицом: «Ну-ну, милый, давай-давай!» После очередного сбоя звук ровно взорос и вскоре набрал такую могучую силу, что Сторожев еще раз, совсем уже по-новому преобразился. Он показался Саше безумным. Глаза его блестели горячечными, он весь напрягся и замер, вспыхивая.

«Сумасшедший. Боже мой, он сумасшедший!»

Где-то вдали и в глубине случилось, как видно, что-то такое, во что Сторожев верил и не верил.

— Слава Богу, раскочегарили!

И тут он внезапно углас, на глазах постарел, как человек, прошедший тернистый путь и теперь оказавшийся в тихой гавани. Как бы желая утешить его, Саша качнулась ему навстречу, но он не дал ей ничего сказать, он только взял ее за руку и крепко пожал ее. Ладонь его была горячая.

— Наука — она как горизонт. Сколько ни идешь — все перед тобою горизонт. Чем больше узнаешь, тем большего и не знаешь. Это моя жизнь...

Когда шли обратно к такси, Сторожев не то выдал тайну, не то обронил случайно:

— Вот отсюда начинается наш путь на Жаксы-Гумар... Раскочегарили! Ай да молодцы, ай да ребята! — И засмеялся.

Все время, пока ехали назад в город, улыбка не сходила с его лица. Он что-то напевал, потом показывал, какой чудесный поясной вид и даже ни с того ни с сего подмигнул Саше и засмеялся в полный голос: «Ах, как хорошо!»

«Законченный, как бильярдный шар», — откуда-то

всплыло у Саши воспоминание о муже, но сейчас же и потонуло.

Уже показались дымы и трубы заводской окраины, когда Сторожек сплюхнулся: куда же мы торопимся, целиком два часа в запасе. Уж лучше погулять здесь, в этой роще, на свежем воздухе. Саша не возражала, и они отпустили такси.

А роща и вправду оказалась чудесной: молодые вязы и липки, еще зеленая трава и небесные полевые цветы. И было непривычно после жесткого асфальта бродить по этой мягкой траве; каблучки то прятанно упружили, то проскальзывали в грунт.

На полянке, у кем-то оброненной булки, толпились с десяток голубей. Отталкивая друг друга, птицы клевали булку торопливо, и каждый старался оторвать себе кусок покрупнее. Взглянув на голубей, Сторожек о чем-то подумал, ульбнулся и стал осматриваться по сторонам. Вот он нашел проволоку, быстро смастерили из нее сетку-ловушку на длинной ручке и, облюбовав чистенький голубя, стал за ним ходить. Вскоре он изловил и поймал птицу.

— Голубь или голубка? — с такими словами подбекал он к Саше.

Саша покосилась племян: она не могла определить, бойкое, как и у всех голубей, глаза в оранжевом ободке поспиркивали на Сашу с любопытством и доверием; радужный, от зеленого до розового перелив перьев на зобу и шее и красивые «носочки» голубя не говорили Саше ни о чем. Нет, она решительно не могла угадать.

— Это голубка. Смотрите. — Двумя пальцами Сторожек слегка сксал птице клюв, и голубь тотчас же затаился, притих. — Видите, она не сопротивляется. Самец — тот всегда вояж, непременно будет крути головой, вырываться.

А Саше неожиданно вспомнилось: «Сестра, голубушка», — и сердце ее замерло.

— Прелестно, какая смиренница! Что мы с нею будем делать?

— Может, снесем в больницу? — предложила Саша.

— Верно! У больничных сизарей такой утонченный вкус, такой высокий интеллект, они оценят незнакомку-красавицу. Слышали, как сердечно воркуют они по утрам? Куда там! Проникновенные голоса у них — от эрудиции. А здешние пижоны поддерживают свой авторитет на алломбе, — говорил Сторожек, не переставая улыбаться.

— А может... может, она к чужим не захочет?

— А вот мы посмотрим.

Сторожек вытянул руку перед собой и разжал ладони, голубка затаилась, как бы веря и не веря свободе, и вдруг — знакомый посвист крыльев.

— А! Я что говорила?

Голубка метнулась было куда-то под гору, да передумала, развернулась и пошла кругом вперед над самой рощей. В частом плескании ее крыльев слышалась радость. Она зазывала подруг и друзей на свою высоту, в небо, где так прекрасно жить. И призыва ее были услышаны. Белые, рыхкие, полосатые моряки, а больше все привычные сизарии по одному и парами заспешили к подруге со всех сторон. И вот уже стая в добрую сотню птиц заплескалась в небесной сини на такой высоте, откуда и шума не слышно.

— Вот кружат голуби, — сказал Сторожек взволнованно, — и я уже не удивляюсь, как в детстве, их летят. Теперь я точно знаю: летают голуби не оттого, что они птицы, а оттого, что у них малый удельный вес, превосходно развиты грудные мускулы, а крылья в каждой фазе полета изгибаются именно так, как нужно, чтобы лететь. Как много узнаем мы с годами и как много теряем, узнавая.

И посмотрел на Сашу: так или не так? Она все ждала от него чего-то необычайно ученого, опасалась, что не поймет его, а выходило, Сторожек и сам в чем-то сомневался, сам чего-то не понимал, и это — вот странное дело — Сашу сближало с ним. Проникши к нему полным доверием, она уж хотела было поделиться своей «теорией» — от ветра, мол, птицы, летают, но не решилась, сказала совсем другое:

— Надо идти в больницу.

— А что, разве уже пора? — И замолчал. И посмотрел на траву, что-тоща глазами.

В это время они обходили кулиги непролазных кустов.

Неожиданно Сторожек скжал Саше руку и встал наперек дороги. Бессстрашно, дерзко посмотрел ей в глаза и обнял. Понячалу она слышала, как колотится, готовое из груди выскоить, ее сердце, и лишь потом ощущила его ладони. Были они так горячи, что казалось, обожгли лопатки. А потом был его крепкий и долгий поцелуй.

«Он хитрый, очень хитрый!» — успела подумать Саша и поддалась его настойчивости, раскрыла губы наструвч.

«Хитрый, какой он хитрый! Сестра-голубушка.. Голубка-смиренница... И вот я покорная! Боже мой, я ему покорная!»

— Только не надо, не надо, не надо уходить! — взмолился после всего Сторожек.

Не надо, так не надо, согласилась Саша с неожиданной для себя легкостью. Будь что будет. В больницу вернемся, когда стемнеет. Но вот стемнело, вот уже показалась и снова скрылась тоненький ободок месяца, а Саша все твердила про себя: «Я не могу туда возвращаться, не могу».

Лишь под прикрытием полной темноты пришли они к больничной калитке. Сторожек обнял Сашу, поцеловал и тотчас же исчез. А она постояла, прислушалась и лишь после этого — прямая, вся напряженная, — стараясь ступить неслышней, пошла к севе в корпус.

9

Больничный корпус был когда-то обычновенный жилой дом, средний по высоте, но очень длинный, и во всю длину дома протянулся коридор. Позже к корпусу под прямым углом подстроили еще один дом такой же высоты и протяженности, свели их под одну крышу, а коридоры соединили. На стыке двух коридоров, под самым потолком, круглые сутки не выключалась электрическая лампочка, и в коридорах вечно держалась сумрак, однокаковый вечерами и днем.

Однако на этот раз показалось Саше, что на месте тусклой лампочки у потолка подвешен необычайной яркости прожектор и направлен он своим лучом прямо на нее, на Сашу. Она вошла было в коридор, но сейчас же отпрянула назад. Ей казалось, что врачи, и сестры, и больные — все уже знают про нее и про Сторожева, и стоит ступить сейчас в коридор, как что-нибудь переменится. Саша не представляла в точности, что может перемениться в ее нынешнем положении, но была убеждена, что перемены ей не миновать.

А корпус затаился. Это была не та тишина, какая устанавливается, когда больные уже настучались в домино, на рассказывались анекдотов, тайно от де-

журного врача наигралась в карты и давно видят вторые сны — нет! Нынче тишина была выжиданием, язвительной и подозрительной. И стены, и темные ночные окна, и раскрытые двери падают — все это сейчас не что иное, как сплошные глаза и сплошные уши.

В дальнем крыле коридора невнятно, как бы сквозь сон, застонали. Через минуту стон повторился. Надо идти. Нельзя не идти.

Стараясь ступать как можно неслышим, Саша прошла мимо темных окон с одной стороны и раскрытых настежь палат по другую руку.

«Они меня видят! — думала Саша о притихших больных. — Такие хитрые! До поры до времени будут помалкивать, будто бы ни о чем не догадываются...»

В ординаторской на голой кушетке, придинутой изголовьем к телефону, спал дежурный врач, молодой мужчина из хирургического. Спал он на скорую руку — в халате и полуботинках, опущенных зеленой пыльцой, какая остается на обуви после ходьбы по лебеди. И Саша подумала, что врач, должно быть, только что прохаживался больничным двором и видел, как они со Сторожевым подошли к кипятке и как потом расставались. Видел или не видел? Спит он или только делает вид, что спит?

Не спала, казалось, и Люся Тушина в дежурке. Она сидела, облокотясь на стол, подложив под лоб обе руки, кулак на кулак. Саша наклонилась к ней: «Люся, я перед тобой виновата. Домой поедешь, я таксы...» «Отойди, отойди... дай досмотреть сон!» И это хитрил!

Даже Больная Смирнова, которая вот уже с полгода не подымается, живет лишь на искусственном дыхании, даже Больная Смирнова что-то, казалось, о Саше знает. Желтая, изможденная, она держала в руке большую раскраску, и, пошевеливая восковыми пальцами, подавала Сашу к себе, и глядела на нее сухими глазами. «Это нехорошо, очень нехорошо, что ты загуляла с чужим, неродным мужчиной! — красноречив был ее строгий взгляд. Саша поправила ей подушку, дала лекарства и вышла. И лишь теперь почувствовала, что вся она опустошена и хочет, безумно хочет спать.

В сестринской Саша распахнула окно на весь разлет. Окно снаружи подпирали ветки сирени, и едва Саша распахнула раму, как они пропалились в комнату, спихнув с подоконника порожний пузырек, и пузырек весело покатился под кушетку. Вместе с ветками наплыл в комнату горьковатый запах листьев, а еще через минуту волной накатила прохлада.

И сразу спать расхотелось. Саша устроилась подудобнее на широком подоконнике и, ощущая спиной холодок крашеного косыка, заглядилась в небо. Оно было темное, без единой звезды.

«Сторожев, Сергей Сергеевич... Ты уже спишь, ми-ли? Или, может быть, смотришь, как я, в открытое окно? Если не спишь, то о чем думашь ты сейчас? Наверное, это опять твоя работа, лишь работа и книги. А может, думашь ты обо мне? Если есть что-то сильное — бог ли, судьба ли — и если этой судьбе угодно будет смигнуться ко мне и к тебе, и если когда-нибудь мы будем вместе, мы каждый вечер, каждую ночь — в часы, когда переделаны все дела, будем открывать на всю раму окно и молча сидеть на подоконнике. Ты — прислонись спиною к одному косыку, я — к другому. Моя колени будут упираться в колени твои, а руки наши переплетутся. Наш подоконник будет в самом высоком доме, на самом верхнем этаже, а ниже, под нами, будет царство огней и крыши. (Интересно, как они выглядят ночью, крыши? Надо как-нибудь посмот-

реть.) На наших глазах будет оставаться и затихать уставший за день город, одно за одним погаснут окна, отойдут ко сну целые улицы и кварталы, и вскоре на весь огромный город останется лишь несколько случайных машин, да изредка поздний дежурный трамвай, да где-нибудь карета «Скорой помощи» прошуршит к больному. На наших глазах будет умирать одна звезда и нарождаться новые, выглядят из-за края земли полумесяц. А к утру на невидимых крыльях залетит из степей в город ветер, принесет с собою неуловимый звон послевающих овсов, запах горькой полыни да луговых трав. Потом на крации падет роса, и они заблестят тускло. На востоке прорежется свет нового дня, небо охвачено заревом, а мы все будем сидеть, молчать, и думы наши будут высокими, светлыми. Вот улицы остужены. Все слят — лишь мы разбужены. Парим с тобой над городом — счастливые и гордые... Роса на крыши ломится, у нас с тобой — бессонница, шальная ночь бессонная у лета на виду. Еще у нас — вселенная: и звездные владения, и реки горячие, моря, ветра, холмы. И самые счастливые на этом свете — мы!»

Ми-ли, ми-ли! Я научусь заботиться о тебе, как не умея заботиться о другом человеке никто. Если ты захочешь, у меня не будет жизни своей, я буду жить для тебя и только для тебя, и мне это будет счастьем. Только ты, пожалуйста, оставайся таким, каким я тебя узнала. Не останавливайся никогда! Никогда... Все мы, должно быть, сотворены матушкой природой для назначения высокого; все мы, наверное, мечтаем гореть вот так же всю жизнь, да не каждому это удается. Мне не удалось — но что ж! Зато я — буду возле тебя, буду постоянно видеть, как живешь-пылаешь ты, буду помогать тебе, и мне это будет счастьем».

Так, сидя на подоконнике, думала Саша Владыкина, не замечая, что ночь приблизилась к половине четверти, к своему слому. А на сломе ночи тяжелым больным становится еще тяжелее, на сломе ночи всего чаще в больнице наведывается смерть. И в этот раз из тяжелой палаты в дальнем крыле коридора пронесся стон — высокий, резкий и страшный своей протяженностью. Последний стон человека живого. Саша сорвалась с подоконника и помчалась на этот стон, как умеют бегать больничными коридорами лишь врачи да опытные сестры — стремительно и бесшумно.

10

На утреннем обходе Сторожев развеселил всю палату. Когда они вошли свитой — Филипп Николаевич, ассистент, Саша, старшая сестра Таня да еще врач, Саша увидела, что Сторожев спит. Вот он услышал говор и обычное при врачах оживление, тряхнул спросонок головой и сел. Показал Саше глазами, что страшно хочет спать, а она еще покачала головой: потерпеть, мол, надо.

Врачи выслушали четверых и подошли к Сторожеву, а он опять уже спал — в неудобной полусидячей позе: руки крест-накрест, голова на груди, волосы сплелись на лоб. Поза упрямца.

— Каков? — указал на него Филипп Николаевич, и все засмеялись. Сторожев не проснулся.

— На поправку взял! — возгордился Филипп Николаевич.

И разбудил Сторожева, пощекотав ему подошву бронзовой булавкой. Сторожев протер глаза и быстрым взглядом обвел всех.



— Извините, пожалуйста.— И сосед по койке: — Что ж вы меня не разбудили?

Все опять смеялись.

Когда Саша кончила смену, Сторожев пошел ее проводить к кипятике в конце узкой нелюдной тропы. Саша не знала, как себя держать после вчерашнего, она стыдилась Сторожева, но первые же его слова в один миг прогнали и ее стыд, и скованность, и все ее опасения. Весело, приветливо ей улыбаясь, Сторожев сказал:

— Всего лишь второй раз вижу нашу палаточную сестру Сашеньку не в халате, а в платье и без чепчика. Еще вчера мне хотелось сказать: как это все-таки нерасчетливо под каким-то казенным чепчиком прятать вот этакую красоту,— и потрогал ее светлые волосы.

— Так надо было сказать об этом еще вчера. Отчего бы не сказать вчера же?

— Вчера мы были еще юны и застенчивы... Если нам улыбнется судьба еще раз остаться одним... И правда, какие прекрасные волосы! Расточительно прятать красоту, красота целительна.

— Как покажет ваша дочка Лиза Панова? Я заметила: они с молодым супругом навещают вас часто.

— О, вы знаете и это? Прекрасная девушка, и женщина, имея каких-то, человек толковый. А как ваш сынок, что пишут о нем родные?

И Саша стала рассказывать об Андрейке, и, как у всякой любящей матери, выходило у нее, что сын ее — самый лучший ребенок на свете.

Так шли они и говорили, и Саше было так хорошо, как, может быть, ни разу в жизни. Она готова была глянуть со Сторожевым вплоть до самой ночной смены, но тут ее окликнули.

Пряча усмешку, к нему приближалась Оля Нечеава, и Саша пришла со Сторожевым распрошаться.

— Извини, я на минутку, — сказала Оля на ходу. — Дай скорее десятку, очередь заняла за кофточкой. Там такие кофточки выкинули... Поздравляю, ты этого длинного любишь. Но учи, Сашка, ты-то им ослеплена, а он тебя не любит. Ни чут-чут, он только заигрывает с тобой. — Оля взяла деньги и понеслась, но вот обернулась еще раз и шумнула издали: — Ни-ни! Ни чуточки!

«Любит — не любит — не твое дело... Сегодня меня не рассердит ничто на свете», — подумала Саша. А на душе сделалось нехорошо.

Вот он дом, многолюдный, многоэтажный. Гремучая деревянная дверь в твой подъезд. Сорок четырех бетонных ступенек вверх — и окажешься у двери другой, аккуратно обшитой коричневой обивкой. За дверью — все твое, только твое: комната со всеми этими шкафами, этажерками, плятвами и посудой. Все то, от чего ты уходишь по утрам и к чему возвращаешься каждый вечер; все то, где ты отдыкаешь, а порой уставишь, но чаще все-таки отдашься — от своей работы, от очередей в магазинах и от всей разномастной городской суеты; все то самое, о чем ты скажешь где-то или просто подумаешь: «Пойду-ка я домой», или «У нас дома», или «Пойдемте-ка, ребята, к нам».

Уже целый год Саша входила в свой дом до того привычно, что и не замечала, каков же он, их дом, кто около подъезда постоянно сидит и кто перекрасил в новый цвет рамы или балкон.

А сейчас, подойдя к своему дому, Саша почувствовала растерянность: «Зачем я сюда пришла?» До мелких подробностей представила: сейчас она войдет в свои комнаты, что-то там будет делать, потом встретит Женю и что-то ему скажет, а стало быть, сожжет... Можно, конечно, не говорить ничего, да

ведь порой и молчание не самая ли большая ложь?

Не удаляясь от своего дома, но и не собираясь в него заходить, стала она прохаживаться взад-вперед.

— Вы, должно быть, ключ потеряли, — окликнули Сашу с четвертого этажа. — Я смотрю, ходите и ходите. Поджидаете, видно, мужа? Нескоро его дождется: в столовой с получки!

«Боже! Опять кому-то что-то надо! И все-то им известно! Шагу не шагнешь без подсказки. Почемучка! Ах, у него сегодня получка...»

Направилась в столовую, где троица неразлучных — Володя Барков, ее Женя и Макс — «обмывала» получку. Пили они обычно лишь пиво, неторопливо пили, сдабривая трапезу безобидным каламбуром да анекдотами. В такие дни Женя приходил веселым, одаривая Сашу с Андрейкой сладостями да безделушками с галантейного прилавка, и Саше нравились эти дни.

Повторяя: «Получка, ах, у него сегодня получка...» — Саша увидела ребят издали, еще с улицы, через широкое окно. Облокотясь на высокую стойку, они поглощали пиво. Сейчас она подойдет к ним, наговорит грубостей, чтобы знали...

«Боже, да зачем это? — спокойствовалась Саша. — Ты-то это уже ни к чему». И остановилась, в столовую не вошла.

Куда же теперь — домой? Но и домой иди она не могла. Неожиданно явилось яростное отвращение ко всему тому, что находилось там, за их аккуратно обшитой дверью. Все свое нажитое показалось ей дурным, опостылевшим грузом.

И прошла мимо своего дома.

II

Куда пойти? У кого бы остановиться? У Женины сестры Юльки — она всегда такая приветливая. Нет-нет. Иди к родственникам по-кинувшего мужа — это ли не кощунство? К Нечеавым? Барковым? Опять не то: в своем доме оставаться больше не могут, нет. К Люсе Трушиной? Что Люся? Приюти на ночку-две да и то лишь для того, чтобы вынырнуть все: как, зачем да отчего все это случилось, чтобы потом все это рассказать *из самых первых рук...* Ни отвечать, ни рассказывать Саше не хотелось сейчас ни о чем и никому. Не нуждалась она и в сочувствии.

Так шла да шла Саша Владыкина — бездумно, сама не зная куда, шла просто вперед, лишь бы не оставаться на месте. И все прикидывала, все перебирала в памяти, у кого бы можно было остановиться и пожить. И оказалось, что знакомых-то много, а пойти вот не к кому.

— Да ты что это не откликаешься? Шумлю: «Саша, Сашенька!» — а она и ухом не ведет.

Хлопая густо накрашенными ресницами, Сашу догнала Тайса.

— Ты отчего такая сумрачная?

— Да нет, я ничего, Тайс, ничего...

— А отчего ты не дома?

— Да вот по магазинам надо.

— По магазинам? С кем это пор в моих деревянных краях появились магазины? — Тайса взглянула на Сашу внимательно и вдруг сказала решительным своим тонаем, каким привыкла распоряжаться в больнице: — Знаешь что, милая девочка, идем ко мне.

И Саша пошла за ней, не прекословя.

Домик у Таисы, как и у многих на этой окраине: деревянный, с палисадником и крашенными в голубые наличниками.

Едва переступили порог комнаты, как Таиса спросила, не желает ли Саша принять ванну. Нет, Саша уже искупалась — у себя в больничной душевой.

— А, я, грешница, люблю понежиться в нагретой водичке. — С этими словами Таиса запалила газ, стала греть воду, и вода сейчас же весело зашумела.

Под этот шум Таиса расстелила на диване простыни, вблизи подушку и опять куда-то удалилась. Ходила она, несмотря на свою пополну, разостранно и бесшумно. Потом принесла книгу, роман, велела Саше прилечь отдохнуть, а сама опять удалилась в ванную комнату и пробила там долго, не меньше часу, зато вышла оттуда совсем новою — ничуть не похожей на ту старшую сестру отделения, какую привыкли видеть Саша каждый день в белом строгом халате и чопорном высоком чепце. Сейчас Таиса была в домашнем платье — простеньком, и не новом. Но главная перемена была не наряд, а лицо — брови и ресницы. У Таисы всегда они густо подкрашены в черное, и ресницы кажутся длинными-предлинными, а брови — широкими, яркими. Неокрашенные же брови и ресницы оказались совершенно бесцветными, их даже будто бы не было совсем. Потеряли свою выразительность и глаза. Но вся эта перемена, как ни странно, рождала какую-то необыкновенную симпатию к Таисе: в этом простеньком своем одеянии и без косметики она казалась очень уж доброй и тихой хозяйкой по дому. И к такой, к новой, Таисе вдруг захотелось подойти, и, как в детстве часто бывало у них с матерью, прислониться щекой к ее плечу, и слушать что-нибудь — пусть это будет сказка, рассказ о живом прошлом или хоть песенка — все равно.

Вот Таиса стала поливать цветы, в чистеньких горшочках подвешенных под беленый потолок, и в движениях ее полного тела и полных рук была неожиданна своя красота и своя грация: все эти движения были мягки, округлы и законченны.

— «Ах, город ты, город! — тихо поражалась Саша. — Сколько лет работаю с Таисой, а не знаю, как она живет и чем. А вот в Мостках я бы с малых лет знала о ней все».

Таиса между тем тихо постукивала кончиками пальцев по аквариуму, этому стеклянному ящику с водой, словно бы подкрашенной в зеленое, и на ее привык сбежались нарядные рыбешки. Округлив выпученные глаза и широко раскрыты беззубые пасти, рыбешки тыкались неслышно изнутри в стекло тупыми рыльцами и, казалось, угрожали, силились кого-то настремить перепугать.

— Прогодолапа? Ах вы мои касатки, ах вы пичужки беззащитные! Ешьте, кушайте на здоровье, — задушевно говорила им Таиса, рассыпая поверх воды сухой корм.

И Саша опять дивилась, не могла надивиться: откуда у Таисы эта ее задушевность? Где же те властная, грубая и самоуверенная старшая сестра отделения Таиса Федоровна, что ходит по коридорам больницы так, будто бы она коронованная?..

От этой, новой, Таисы не успишьши, казалось, глубокого слова; эта не расскажет стыдного анекдота, не нашумит, не накричит.

И тогда Саша неслышными шагами подошла к ней, зарыла лицо в ее теплые, мягкие руки и заплакала.

— Ну-ну, девочка моя, ну-ну, — только и сказала Таиса, и мягко, необидно вернула Сашу на диван, и села рядом с ней.

...Помните! Поезд все убыстряет и убыстряет свой бег, убегает все дале и дале от вашей стан-

ции, от вашего родного дома. Мерно покачивается большой, уютный, теплый вагон. Задушевную, мягкую, баюкающую мелодию завистукивали по рельсам колеса. А за окном надвигается ночь — бесконечная ночь поздней холодной осени; голыми полами носится ветер, он за кем-то гонится, он кого-то ищет, да так, видно, и не находит, и оттого так жутко и неистово-слезно его завывание в проводах; вот он с шумом падающей воды ломится на голый лес, вот он ревет, грозясь поломать деревья, крутит, клонит к земле податливую чилигу, порошит в окно последней листовой. О, это уже не ветер, но зверь, неприятен и зол, и чем холодная изморось, то и дело переходящая в мокрый, лицучий снег. И хорошо, и боязно, и жутковато слушать это завывание, это кураны за окном — хорошо оттого, что сидите вы в тепле, при неярком сиянии ночника. А напротив, за тем же столиком, ваш попутчик, чужой, незнакомый человек. Он тоже уставился в одну точку, тоже вслушивается в музыку бегущих по рельсам колес и тоже думает, наверное, каково-то сейчас там, за стенами вагона, в этих полях и лесах. Вот человек потрогал пальцами черное стекло окна, как бы желая проверить, холодное оно или какое, вот он чему-то своему улыбнулся, потом негромко, словно бы невзначай, обронил одно слово, другое, третье... И случилось диковинное: вдруг показалось, что вы знаете этого человека давно-давно — может, с самого первого дня своей жизни, а может, еще раньше, раньше. И вы проникли к нему доверием в минуту, в один миг, сразу. Вы у него в плену. В плену его голоса и его слов. И вот уже меж вами негромким ручейком зажурчал дрожжный разговор-исповедь о самом сокровенном, самом-самом личном, когда вовсе не к чему объяснять, кто вы есть и откуда, когда вовсе не к чему заботиться о красноречии — складные слова плюются сами собой; когда говоришь и все хочется, хочется говорить еще, и все сказанное не утомляет ни вас самого, ни вашего попутчика. В такие вот минуты душевной раскрепощенности вы незаметно для себя расскажете то, чего минуту назад считали никак не возможным рассказывать никому на свете.

Вот и Саше рассказывалось сейчас тоже охотно, тоже в сладость, и голос ее был то чист и ясен, то как бы потерян, то радостно-пуглив. Рассказала она все. И про то, как жила раньше, — это были монотонные, одинаковые, как столбы на полевой дороге, дни; и про то, как все у нее изменилось после знакомства со Сторожевым — жалко только, что случилось это так непростительно поздно.

Таиса слушала. Уронив круглую свою голову на оба кулака сразу, сидела тихо, не шелохнувшись, только похлопывала бесцветными ресницами и опять казалась какою-то очень уж домашней — смиренной, покорной и нежной. Но если бы Саша не ушла так глубоко в свои думы, в свои печали и радости, она давно бы заметила, что лицо Таисы как бы отражает в себе и эти ее думы, и печали, и радости.

— Со стороны все это, может быть, и смешно, и ты, наверное, осуждаешь меня... — Саша взглянула на Таису в большом смущении.

— Осуждаю? Не говори так, не надо... Я-то давно за тобой все это заметила.

— Правда?

— Конечно. С самого первого дня. Да у тебя же не на виду, все нараспашку: и улыбка, и голос, и эта временная твоя красота.

— Временная? Как это временная?

Таиса стала говорить про красоту женщины в дни долгой ровной радости или большой любви. Тогда улыбка словно бы витает вокруг лица, тогда

неожиданно появляется плавность и ловкость в движениях, голос становится глубоким, грудным, полно-звуковым, а походка — летучей, легкой...

— Да что тебе объяснять? Ты и сама знаешь это за собой. Знаешь и радуешься.

И Саша легко согласилась, что замечает это за собой всегда. Нынче каждая минута у нее — сама радость. Такая радость, такая! Она ненкороно, непростительно счастлива нынче. Так счастлива, что порою стыдно от людей: ведь очень многие, а может, большинство людей за всю свою жизнь не испытывают и доли той радости, что выпала ей одной, Саше.

— Да-да. Ты, по-моему, стала даже высокомерной от своей радости. Ни замечашь ли за собой такого?

Ах, не все ли равно, отвечала Саша. Но она так счастлива, что порою начинает бояться своего счастья. Порою ей начинает казаться, что наша жизнь, жизнь любого смертного, идет по какому-то своему написанному жестокому закону, по закону моря. Как в море за приливом неизбежен отлив, так и у нас чуть ли не всегда за радость надо расплачиваться, а схем приходится оккупать слезами.

— Ах, Таня, милая, я совсем запуталась, как видишь. Я уже и в счастье начинай искать несчастья. Мне так хорошо, так хорошо нынче каждый день, но не знаешь ли ты, что в конце концов из этого выйдет?

— А зачем тебе ждать какого-то конца? Ты живи, и все. Если останется в тебе все это надолго, считай, что тебе повезло, ну а если пройдет, уляжется, — переживешь, как пережили другие. Кто из нас не прошел через это?

— Ты сказала «прошел через это»? По-твоему, все это случайное, недолгое, на время? — И Саша подала вперед, к Тане.

— Я ничего-ничего не знаю и ничего не хочу пророчить. У каждого это случается по-своему. Начинается у всех по-своему, а кончается, как правило, одинаково.

— Как же? — Саша притихла в ожидании.

— У всех кончается обычно это тем, как если бы ловить в поле ветер.

— Ветер... ветер, по-твоему, это что? — спросила Саша. — По-твоему, это все пустое?

Таня молча пожала плечами: «Если хочешь, по-нимай так».

Они еще некоторое время помолчали, а потом Саша сказала:

— Вчера я заглядилась на то, как ребята запускали змея. Один из них держал змея, а другой был далеко впереди со своей никтой. И оба они так бежали, так бежали...

Таня посмотрела на нее выжидательно, как бы желая спросить: «Ну и что?»

— Ну и что? — спросила Таня.

— Как это что? Без ветра не взлетишь... А впрочем, я говорю, наверное, что-то не то, совсем не то. — А как, по-твоему, он, твой Сторожев... он, по-твоему, любит тебя?

— Любит? Не знаю, не думала...

Тут Саше внезапно вспомнилась встреча с Олей Нечавей в больничном дворе и этот красноречивый ее знак кин-ни, ни чуточки. Что-то вроде досады или неприязни примешалось было к этому воспоминанию, и Саше вдруг показалось, что она бедняжка-бедня, беднее всех на свете. Усилием воли ей удалось все это подавить, скрыть, и Таня ничего, кажется, не заметила.

— Любят? Да это не имеет никакой важности. Главное — люблю я! — сказала Саша с жаром, но тут опять вспомнились ей Олины слова и знаки. — Я сейчас сильная, уверенная, готовая перенести мно-

гое. Я и к тому даже готова, что он не захочет встречаться со мною потом, после больницы. Миг, день, вечность — не все ли равно? Для меня нет сейчас ни вчера, ни завтра. Я и не подозревала, что способна чувствовать такую силу, какая у меня теперь.

— Боже, все, наверное, прошли через это. Всё! — Не говори, пожалуйста, своего «всё», мне почему-то обидно от этого «всё». А у тебя, Таня... у тебя тоже это было?

— Было, было. Еще как было! Самое начало войны, самые первые раненые... Впрочем, к чему все это?

— Таня, милая, прости меня, пожалуйста. Я не хотела, это вышло само собой.

Но Таня казалась уже совершенно спокойно. Казалась... На самом же деле эта уже немолодых лет женщина думала о своем, о далеком-далеком. О том думала она, что жизнь все и вся любят перекраивать на свой манер, и перекраивают безжалостно. Когда-то говорили Тане, что лучший целиитель, лучший лекарь от былого — время. Случилось же обратное: чем глубже уходишь в годы, тем все настойчивее, все чаще возвращаешься памятью в те своим гордые, но и золотые дни. Отчего это? Может, это лишь у меня одной — думала Таня не раз и тотчас же ворожала себе, что нет, что и другие, наверное, помнят. Еще как помнят! Особенно те, кто коротает жизнь в одиночку. Они только говорят, только не признаются, что забыли, а сами помнят и помнить будут до конца своих дней.

Заболтались мы с тобой, а соловья ведь басни мы не кормят. Давай-ка сделаем вот что, давай-ка наливуси и наливочкой побалуемся. Знаешь, какая наливовка! Сама делала.

Усадив Сашу за стол, Таня доставала из холодильника и с полок то пирог с яблочками, то сдобники, то сыр, то стаканчики для графиники. И за этим умело заставленным столом, за самодельной вишневой наливкой, напоминающей вкусом хорошее некрепкое вино, у них журчал да журчал разговор — о работе, о врачах и о больных. Разговор был настолько простым и житейским откровенным, что Саша не постеснялась сказать того, что не сказала бы старшей сестре своего отделения никогда.

— Таня, милая, я не узнаю тебя сегодня. Там, на работе, ты совсем-совсем иная...

— Грубая?

— Да, порой и грубая. Но в основном — деловая, сплошным серезьня и... сухая, что ли. Ты не любишь своей работы?

— Как тебе сказать... В восемнадцать лет я стала медицинской сестрой, то есть тем же, кем осталась и потепелей. Вот уж скоро тридцать лет все одно и то же, одно и то же, одно и то же. В перспективе — пенсия и старость. Как бы держала себя на своем месте ты?

От такой откровенности Саша растерялась, не знала, что и возразить.

— А учиться? Ты поступала в институт?

— Пыталаась, конечно. И не раз. Да что поделаешь: не идет учение. Я и в школе-то еле тянула на троички. Голова, выходит, не та.

И опять Саша крепко позавидовала такой простой человеческой откровенности.

— А твой Женя...

— Не надо сейчас о нем, не хочу! — восстала Саша. — Опостылило все... Одни и те же слова, одни и те же шуточки. Утром скажет первую фразу, и я уже знаю, о чем будет говорить он в течение дня... В будни еще так-сяк, в будни работа спасает, а в выходной со скуки умреть можно... Вершишь ли, он и поет-то всегда одну и ту же песню: «Ландыш, ландыш...» И чего он помешался на этой песне?.. Диву

дашь, как это я с ним так долго выжила. Давай о нем больше ни слова.

— Ну, давай...

— Я уже пьяна, Таня... Что-то я скажу тебе сейчас, а ты не обижаешься, ладно?

— Давай, чего там.

— Порой смотрю на тебя — там, в больнице, и ты кажешься мне пожилой, даже старой. Но вот прикину, что всего через каких-то двадцать лет стану такую же, а то и старше на вид я сама... знаешь, страшно становится. Страшно не оттого, что буду старой и я, а страшно, что наступит это очень, очень скоро.

— И не заметишь как!

— Когда-то мне казалось, что настоящая, главная жизнь начнется у меня после двадцати. Двадцать лет виделась мне неким перевалом. Этот перевал обещал зрелость ума, трезвость мысли и полную независимость от преподавателей и от родителей. И вот минуту двадцати... Отчего это после двадцати так часто, так внезапно подлетают дни рождения?

— Э, погоди, потом они побегут еще быстрее.

— Будто бы ехала сначала обычным поездом, а после двадцати пересадилась на скорый.

— Еще и на самолет пересадишься...

Вот такой был у них разговор — неспешный, обстоятельный, допоздна. Здесь же и порешили, что жить покамест Саша будет у Танисы, а что и как дальше — жизнь покажет сама.

12

Женя поджидал ее у больничной ограды, неподалеку от главных ворот; стоял он, накрыл плечи и слегка подавшись корпусом вперед. Увидев Сашу, он энергично вскинул голову, и пока она приближалась, смотрел на нее напряженно, прямо, не отводя глаз. В этом его взгляде было глубокое недоумение, слова правдивы и жестоки, и только раз промелькнуло в этом взгляде что-то безнадежно-бескомпомисное — так смотрят в глаза близкому, прекрасно зная, что случилось что-то из рук вон нехорошее, но все еще не желая верить, что это нехорошее уже случилось.

— Саш, а я тебе так долго искал. Где ты была, у кого сегодня ты ночевала? — спросил он негромко, и скептически срывающийся голос выдал его огромную тревогу.

— Где была, там уже нет. Это — мое личное дело, — сказала Саша на ходу, не укорачивая шагу. Но Женя схватил ее за руку.

— Саш, поскольку мы смеялись...

— Была смеялась, да кончились. — И опять бросилось в глаза его брюшко.

— Ка-ак! — вскричал он словно от боли и развернулся Сашу лицом к себе. Грубо, жестко взял ее за подбородок, так что не шевельнуться, не отвернуть от него глаз.

— Ты говоришь, все? — повторил он еле слышно, и она показала глазами, что да, все, мол. — А я? А сын? Андрейка наш как же? — спрашивал он еще раз.

При упоминании об Андрейке что-то перехватило Саше дыхание, но сейчас же и отпустило. Но отпустило еще не настолько, чтобы можно было говорить, и Саша только глазами, одним только взглядом сказала Жене, что он не держал ее, и когда он принял свои руки, она не отвела взгляда в сторону, а продолжала смотреть мужу в глаза.

Уже по одной и парами торопились на работу сестры и врачи из других отделений; уже покуривав-

ли, прокашливаясь ранним утренним кашлем, пожилые больные у своих корпусов, а дворник Петр Захарович прибирал в сарай черные поливальные шланги. Саша не хотелось привлекать на себя и мужа чужого внимания, и она собрала все силы, чтобы сказать то, что сказать было необходимо.

— Я люблю другого...

— Правда?.. Сегодня ты... значит, — он не мог говорить, задыхаясь... — Сегодня ты ночевать опять будешь не дома?

— Опять? — она увидела, как члены его начали скжиматься, желваки забургивались, разбухали, и поспешила добавить: — Я буду ночевать не дома, но и не у него, нет.

— А он не сводил с нее темнеющих глаз и молчал.

— А я знал это. Знал вчера, позавчера и еще раньше... Предчувствие, — сказал он наконец, и во взгляде его мелькнула тонкая проницательность ревнивца.

«Знал, но ничего не говорил, так как боялся: а вдруг мои подозрения окажутся верными?», — мысленно додершила за него Саша.

— Любовник твой... он кто? — спросил Женя, не разжимая членов. — Я говорю глупости, чушь... извивы, — зашептал он потерянно, и кадык его сделал громкое сухое движение сначала вверх, а потом вниз.

И вот эта его убийственность Сашу рассердила.

— У-у, как надоели мне вечная твоя уступчивость. Ты ни разу в жизни не сделал своего самостоятельного шага, ты всегда выжидай, жил по чужим, готовым меркам, всю жизнь копировал с других. «Жить, как всем? «Чем мы лучше других?» «Телевизор купим, как у Нечавьевых».

— Ты говоришь неправду, неправду подряд. Неправда, что я такой нехороший, неправда, что у тебя кто-то там есть. Ты просто разыгрывалась меня, — и опять поймал ее за руку, заглянул ей в глаза и вдруг словно бы убавился в росте. — Саш, родная, ты заняла что-то нехорошее, очень даже плохое занятие... Знаешь, я сейчас напьюсь до потери сознания.

— Пей. Пожалуйста... Отпусти руку, я опаздываю на работу.

— Саш, ты разозляешь семью...

— Довольно, все. Не встречай меня больше никогдя. Я к тебе уже не вернусь.

— А я буду приходить. Буду... Каждый день... Я буду ждать тебя всегда... Я перепретлю все и дождусь тебя... Дождусь. Вот увидишь.

Саша содрогнулась: в его твердых, с паузами словах, в его сухих, остановившихся глазах было сейчас что-то тяжелое, как бы даже роковое. И уже больничным двором шагая, она долго еще видела то этот горячечный взгляд, то новое — волевое, непокорное лицо упрямца. Долго еще стояли в ушах его чеканенные, с расстановкой слова: «Дождусь». Вот увидишь».

И точно. С того самого дня Женя будет приходить к больнице с аккуратностью курьерского поезда. Саша будет замечать его издали, еще с трамвайной остановки, и вынуждена будет идти прямо на него. А он будет стоять, опершись плечом о телеграфный столб, стоять не шелохнувшись и смотреть, смотреть на Сашу. В его взгляде будет и стыд и позор покинутого, но надо всем этим воспребладает неумело скрываемое ожидание. А Саша будет и будет прокуривать мимо него, не сбавив шага, не удостоив его ни кивком головы, ни единственным словом.

Но все это случится потом, много позже. А сейчас Саше всего удивительней было то, что в душе своей она не заметила ни ужаса перед мужем, ни замка на стыд или раскаяние за свою близость с

другим. А ведь недавно, какой-нибудь месяц назад, женщину в своем положении Саша посчитала бы низкой и, наверное, презирала бы ее.

Но чем дальше заходила Саша в глубину больничного двора, чем отчелившись выступал из-за тополей корпус нервных болезней, ее корпус, тем энергичней убистряла она шаги, а на душе становилось веселее.

«Какое же чудесное сегодня утро,— думала Саша.— Какая обильная роса по траве, как и славно постаралась дворник. Так промытое асфальт — надо же! Он блестит словно зеркало или начищенный паркет. Вон как горделиво вышагивают по нему голуби, вон как они разворковались, как, потягиваясь, распускают крылья и встрихиваются. При таком чистоте и родственники больных и сами больные держатся куда веселее и встречаются тобой приветливей, сердечней... Сейчас я увижу его, уже сейчас.

Поначалу мысли о Сторожеве были все новые, пучезарные и воззвищенные. То виделась его убийца, которая так его молодит, то совсем сяземлю, въявь ощущала Саша прикосновение непривычно горячих его ладоней или слышала его смех.

Но вспомнилось неожиданно и совсем иное, горькое, а то и именно вспомнилось — это как Таня и Оля почти в один голос сказали о том, что он, Сторожев, наверное, ее не любит...

И сразу сделалось так нехорошо, что каблучки по асфальту дали осечку, сбоя. Ну, Оля, положим, не в счет, размышляла Саша. Оле просто-напросто захотелось посерьдить меня и посмотреть, что из этого получится. А вот Таня... Что же такое знает она? Что она заметила между нами? Когда? Где? А что она сказала-то?.. Да нет, Таня ничего, кажется, и не сказала, она всего лишь спросила, и все.

И хотя Саша помнила прекрасно, что тогда еще, перебивая Таню в разговоре, уверяла запальчиво, что для нее, Саши, совсем не важно, любят или не любят ее Сторожев, она тогда еще почувствовала, что Таня знает про них — про нее и про Сторожева — что-то гораздо большее, чем она сама, Саша; почувствовала и поспешила перебить ее в разговоре, хотя ее связал изнуренный неприятный холодок, и еще тогда она успела подумать почти с северным страхом: «А вдруг и правда не любят?»

«А правда, любят он меня или нет? — думала она сейчас.— Как бы это узнать, как бы это увидеть? А еще лучше, если бы сказал обо всем этом он сам... Я спрошу его, и он скажет правду, скажет. Но как это сделать?»

Надо было обдумать все это обстоятельно, неторопливо, но уже во весь рост приближался ее корпус, вот уже главный подъезд, а вот и сам он, Сторожев. Приветливо улыбаясь, он идет Саше навстречу.

И увидев его, Саша так обрадовалась, словно бы он, целый и невредимый, вернулся из бог весть какого опасного путешествия. Обрадовалась и в один миг забыла все свои сомнения и опасения, какие зародились было у нее минуту назад.

— Здравствуйте, Александра Павловна! — сказал он, не переставая улыбаться.

— А я знаю теперь, отчего это куртка у вас зеленая,— сказала она вместо приветствия.

— Отчего же?

— Человек по интуиции, по чутью подбирает одежду под цвет глаз. А у вас глаза с зеленой.

— Да здравствует интуиция! — засмеялся Сторожев.— Зеленый цвет — это цвет надежды и, как утверждают социологи и медики, он к тому же еще и успокаивает. Возле меня всегда и всем будет спокойно.

И ведь верно: от его ли слов, а может, и еще отчего-то в раздевалку Саша вошла совершенно успокоенна и уже наперед знала, что и весь этот день будет у нее в меру веселым, удачным и полным большого смысла. Да таким он и получился, этот ее день, только очень уж коротким, как и все дни в больнице при Сторожеве.

13

Hа другое утро Саша передали записку. От мужа.

«Саша! Во встрече с тобой я держал себя плохо. Прости меня. Я все обдумал за эту ночь. С тобой там что-то случилось, но когда у тебя это кончится или станет вдруг нехорошо тебе, то возвращающейся домой поскорее. Я буду любить тебя по-прежнему, и все у нас будет хорошо. Вот увидишь. Твой Евгений».

Записку Саша передали на другое утро, а вечер накануня прошел у нее со Сторожевым. Саше в тот вечер повезло прямо-таки удивительно — и на дежурного врача и на погоду. Дежурный Виктор Васильевич из терапии, мужчина флегматичный, не придира. С вечера, еще до захода солнца, он зашел, сказал Саше, что «в случае чего» ему надо позвонить в ассистентскую, ушел к себе наверх да так больше и не появился.

А погода стояла ровная, при чистом небе и без ветра, и даже тяжелые больные почти не беспокоили.

Саша с Сторожевым встретились в анатомичке, дличном, неукотном помещении. А чтобы стояны и просьбы больных были слышнее, сидели при открытой двери. Сторожев учил Сашу играть в шахматы. Раньше она посмотривала на шахматные фигуры как на что-то недоступное для своего ума, а больных, умеющих играть в эту игру, считала людьми серьезными, образованными и загадочными. Но вдруг сейчас саша она с какой-то непостижимой легкостью, с какой-то радостной уверенностью усвивала и коварные выпады коней и косы, даже к удары слонов; ее восхищали своими поистине безграничными возможностями неизуляемый ферзь, а пешки удивляли.

— Только прямо перед собой и никуда больше! — измельченно говорила она о пешках.— Да это же слепые кутята!

— Но слепой кутенок вырастает ведь из зубастую овчарку.— И Сторожев показывал, как пешка может стать ферзем.— А король, по-твоему, кто же?

— Самый отчаянный груст! У него только вида звания. Вид его так и говорит: «Я рукоюожу государством, я командую полками!». А сам наставлял вокруг себя тьму охраны, отгородился от мира стенной и не видит, что там вокруг творится. Потому-то в конце концов он и попадает в ловушку, что теряет связи с массами.

— Зато королеве при таком горе-хозяине вольно, ой как вольготно!

Сторожева вселяли неожиданные Сашинны сравнения, вот он и подпускал все новые и новые шпильки.

— Ты бы согласилась быть королевой?

— При таком-то увальное и груст! Ни за что!

— А при каком бы тебе хотелось?

— При каком? Надо подумать...

Давно, с самой первой минуты, как зашли они в анатомичку, заметила Саша, что здесь, при тусклом свете, зрачки у Сторожева странно расширились, разлились по всему радужному кругу, и глаза его

выглядели мудрыми, спокойными и необыкновенно красивыми.

«Я люблю его. Люблю. Люблю», — шептала Саша где-то очень-очень в себе и так потянуло, что не знала, правда ли она шепчет или только это ей кажется.

— При каком же? — напомнил Сторожев негромко, и глаза его мерцали в тонкой усмешке.

— При каком?.. Я хотела б чтоб мой король... Сергея Сергеич, вы меня любите?

Он засмеялся.

— Но я ведь не король и, кажется, никогда им не стану. Кто-то стоит, слышишь?

— Слышу. В больнице всегда кто-нибудь постывает, на то она и больница... Вы любите меня?

— Любовь... Странное понятие, не правда ли? В далекие рыцарские времена говорили приблизительно так: «Дорогая, я люблю вас... так люблю, что готов на все. Хотите, я отдам вам свое сердце!» Нынче кто-нибудь отдаст свое сердце, ты не встретишь ли таких будаков? — и засмеялся.

— А разве в те, в рыцарские времена, свое сердце отдавали? — Саша улыбнулась тоже.

И уж так случалось всегда: незаметно для себя в словах и мыслях своих Саша уходила за Сторожевым настолько, что начисто теряла мысли свою.

— Всё это высокие слова, но, увы, пустые.

— Пустые, верно. И все же... и все же отчего так хочется слышать их постоянно, часто, каждый день, каждую минуту? Может, вам, мужчинам, как более сильным, это и не совсем понятно, а по мне... мне бы не надоело слушать это никогда. Господи, и чего это он расстонался? Это, кажется, Белов, он после трепанации. Извините, сбегаю посмотрю.

Больной просил пить. Саша смочила ему губы, пододждала, когда он уснет, и вернулась к Сторожеву.

— Так о чём мы говорили?

— О королях, как ни странно...

— Да-да, мы говорили о них. Но и о другом еще говорили... Всё любите меня? Только правду...

Сказала и сразу же спокойтилась, что сделала это поспешно, ни к чему и зря. Но ком с горы сворвался, он уже летел, катился вниз, и его уже не было не остановить. В душе себя всячески осуждая, Саша тем не менее ждала ответа — ждала мучительно, на пределе всех своих сил. Пусть будет ответ любой — лишь бы поскорее. И в том, как Саша подилась вперед и как замерла в этом своем ожидании, Сторожев уловил глубинную горечь сомнения. И уловив это, он понял, что шуткой тут не отделаться — это было бы кощунством, — и встал. Как бы ища поддержки откуда-то извне, он посмотрел через правое плечо в темные окна, в ночь, потом так же неторопливо в другую сторону — куда-то вдоль стены, к вехриму углу, и, наконец, чуть склонив голову, взглянул на Сашу.

И от этого его замешательства в ней все перевернулось и похолодело.

«Это — все... Его это не коснулось. Да неужели ничуть?»

А Сторожев все тянул, все переминался и медлил. И смотрел на Сашу в смущении, не знал, что ответить. И под этим его жалующимся взглядом Саша ощущала странное, незнакомое раньше чувство зыбкости... Вот бывает: откроешь шкаф со своими вещами, ты еще не видишь, что вынуто, что взято — все, кажется, на месте, и все-таки ты знаешь наверняка: что-то взято! Нечто подобное испытывала сейчас и Саша. Неожиданно ей представилось, что ее грудная клетка — тоже просторный вместительный ящик, где все давно и верно упорядочено, все раз-

ложено по полочкам, и вот из этого ее ящика что-то вынули... Спрашивая Сторожева, она не знала в точности, что он ей ответит, вернее, что он должен ей ответить, а еще точнее: какого хочет ответа она. И вот пока он молчал, пока подыскивал свои слова и смущалася, она вдруг осознела эту зыбкость, эту пустоту в себе самой — внутри, в своем ящике...

Сторожев наконец шагнул к ней, обнял ее за плечи, и она уловила, что объятие его было без волнения, без страсти — то было объятие родственное, отечески-ласковое, не больше. Он глянул ей в глаза очень строго, с шумом набрал в грудь воздуху, и, видимо, обдумывая каждое слово, начал было:

— Саша, я...

— Не надо! Пожалуйста, не надо! — взмолилась Саша.

— Нет, почему же?

— Не надо! Не надо! Не надо! Я спрашивала глупости, извините меня, ради Бога.

— Знать правду — какая же это глупость? Так вот я попытавшись сказать эту правду. Но... я затрудняюсь сказать нынче что-нибудь внятное. Любовь... помоему... Нет, Саша, сегодня я ничего не смогу объяснить даже самому себе. Не смогу, извини... Спокойной ночи... И вышел.

Пока Сторожев говорил, Саша еще раз чувствовала, почти слышала и видела, что из ее ящика что-то вынуто, и все его слова, эту путаную, сбивчивую речь, слышала она нечетко, будто бы сквозь сон.

«Постой, постой, чего же я от него хочу? Чего добиваюсь? — спрашивала себя Саша потом, когда осталась одна. — Ведь мне же и так хорошо. Ведь совсем не важно, как ко мне относится он. Главное — изменилось что-то во мне самой, и изменилось к лучшему. Зачем же спрашивал его, любит он меня или нет? Я уже чуть ли не связывала его какими-то обязательствами и путами. Но ведь все это уже было, было! Тысячи раз повторялось у других, и на грубом языке это называется заманивать мужчин в свои сети. Сторожев слишком умен, чтобы не понять этого, и как только он это поймет, он сразу же и не захочет со мною видеться. Выходит, что отталкиваю от себя его я сама. Но зачем же? Мне ведь и так хорошо. Любовь... и правда, какое-то пустое, бесплотное слово, оно не говорит ни о чем, это пустой звук, «и-богу».

И в какой раз Саша поймала себя на том, что думает она совсем как Сторожев, повторяет его мысли. И опять незаметно для себя она стала думать о нем и только о нем — любовно, нежно, как всегда. Но как бы ни лукавила пред собою, как ни тешила себя хорошими думами Саша, ее все время неостанно, цепко и сторожко держала мысль и другая — холодная, горькая мысль. Та странная, называемая мысль, что из ее ящика что-то вынули.

И Саша четко сознавала, что мысль эта покою теперь ей не даст. Да так оно и вышло.

14

Уроженка тихого хутора, Саша Владыкина долго не могла привыкнуть к городу, к его суетному укладу и шумам. Любую очередь, за which was by her own initiative, Саша обходила стороной и поскорее; уж лучше купить у лоточницы пирожок или остаться впроголодь, чем выстаивать в столовой по часу.

Но с годами у нее выработалась привычка растворяться среди людей, совсем их не замечая. Научилась даже размышлять при людях, мечтать, а порой и напевать, как будто бы никого рядом не было. И даже чем больше людей ее окружало или мимо нее проходило, тем более уединено в своем отдельном мире чувствовала себя Саша.

Объявив поездку, люди стали заполнять автобус, и к Саше тотчас же пришел этот ее спасительный, оторванный от всех мир. Он устанавливался тем быстрее, чем больше людей становилось в автобусе, а когда занятными оказались все места, Саша чувствовала себя уже на своей, только ею одной обжитой планете.

Нечетко сознавая, для чего и зачем, она все-таки поехала на родину, в свои Мостки. Но чем дальше увозил ее автобус от города, от больницы и от Сторожева, тем оставаться в автобусе становилось для нее невыносимым. Порой Саше казалось, что поступает она очень разумно, уезжая, но вслед за тем думала, что совершила какую-то глупость, и тогда ей хотелось остановить автобус, выйти на большак и вернуться назад с первой же попутной машиной. Мысль эта — остановить автобус и вернуться — была столь навязчивой, что Саша не раз привставала на своем кресле. Однако в самый решительный момент Нагерекор этому выступило соображение другое — первое и основное: «Ты собралась кое в чем убедиться, кое-что проверить, вот и проверь. Съезды, съезды, ничего без тебя там не случится».

Под словом «там» разумелась, конечно, больница, Сторожев, и в еще более правдивом переводе это разумело бы так: «Ничего с ним не случится». Однако сама не зная зачем, Саша даже и в мыслях с собою туманила, чего-то не договаривала.

«И потому... ты же соскучилась по Андреюке», — говорила она себе и сразу же чувствовала, что кровь приливает к лицу и совсем поднять на людей глаза. Совсем, что слишком увлеклась, что слишком много дум и времени уходит у нее на Сторожева, что спокойна она за Андреяку, который живет у родных, а беспокойство вызывает только Сторожев.

И — уж так случалось каждый раз! — стоило в ее мысли запасти Сторожеву, он уже не выходил из головы, начинала думать лишь о нем и о нем, забывая все остальное и всех. Когда он спросил, зачем она уезжает, Саша в полном смятении сказала первое, что пришло на ум: «Надо. К сну». Он, конечно же, не догадывался, что у них Тайсой опять был долгий и подробный разговор о них, о Саше и Сторожеве. И когда Саша в десятый, наверное, раз высказала свои опасения и сомнения, Тайса взмыли из джинсовки: «Тебе надо куда-нибудь уехать. Неделю, дней десяти не видеть его. Съезды в свою деревню. Там в одиночестве ты и обдумаешь, что к чему и как».

И вот Саша ехала. Но тревога ее не погасала — напротив, она все усиливалась с каждым километром пути, и вскоре Саша была убеждена, что ничего она этой своей поездкой не добьется: она не только не узнает, как к ней относится Сторожев, но и не успокоится сама. А еще над нею тяжко нависла мысль, что в нынешнем положении ее не обрадует ничего на свете, даже сын Андреяка, видеть которого она очень хотела, но и робела перед этой встречей. И когда из-за Каменного холма показалась крайняя в Мостках, Фени Кузьмичевой изба, Саша растерялась. Растерянность эта оказалась столь сильной, что Саша готова была проскочить мимо своего хутора. Она, поклоняя, и прокоскила бы, да водитель, на ее беду, оказался человеком памятливым. Приостановив автобус и не оглянувшись в салон, он сказал нетерпеливо:

— У кого-то билет до Мостков. Я выбираюсь из графика.

Вымороченной пустотой, полной покинутостью ошеломил Сашу хутор. От крайней избы до самой усадьбы Трофимыча не встретился ей ни один человек, никто не окликнул ее с крыльца, никто не отодвинул занавеску, чтобы высмотреть тайком, кто это там идет. Можно было подумать, что над хутором пронеслась какая-то жуткая болезнь, пымаха, и в однотасье покосила вся и всех. Но «болезнь» эта была не что иное, как хороший, ведренный полдень, а в ведренный полдень, если созрел не только ячмень, но и узк и пшеница, хутор оставался безлюдным из лета в лето — и в Сашине детство, и еще раньше, да так, видно, будет и во веки веков.

Как бы там ни было, но эта тишина и безлюдье показались Саше знаком очень дурным, а ощущение бессмыслицности своего приезда усилилось. И, сама того не замечая, шла Саша улицей, стиная шаги и придерживая дыхания.

У родных тоже не было ни души, и Саша, умывшись с дороги и скинув туфли, ушла в сад. Нарвала почти полную миску смородины, когда послышалась скрип толп бегущих детей, а потом и голос Андреяки:

— Я первый, Клавдия, первый! — кричал сын, и по голосу было заметно, что он крепко засыпался.

— Куда-а тебе, городскому, ты сроду от всех отсташь, — возражал голос другой, очень важный.

— А вот не отстано!

— Куда-а тебе!

— Не отстано! Не отстано!

Услыхав сына, Саша испугалась. Ее охватил почти северный страх. Зажмурив глаза и придерживаясь рукой за ветку, она стояла, не в силах стронуться с места.

«Боже, я уже ненормальная... уже не мать. Показаться психиатру, лечь в больницу, что ли?» Ей сделалось и забко и страшно.

Через минуту она тряхнула головой и с решимостью безумного направилась к калитке, на детские голоса. Она еще верила, еще надеялась, что страх пройдет.

Дети пыхтели и повизгивали — они вовсю дрались. Клавдия Наташина, толстая румянецкая ровесница Андреяки, сидела на нем верхом и тузила его пухленькими кулаками по бокам, а тот обеими руками вцепился ей в косицу и, притягивая ее к земле, шипел злую:

— Ты сама отстана! Сама, а не я!

Услыхав поскорее калитки, Клавдия слетела с Андреяки и пуганой сорокой, виляя из стороны в сторону, умчалась в логухи. Андреяка кинулась было за ней, но тут Саша его окликнула, и он остановился.

— А-а, — он помолчал. — А что привезла?

И стояла на месте, и глядел на мат с досадой. Во взгляде его и в лице и во всей решительной фигуре все еще сквозил азарт незаконченной схватки. Гнев, злость и позор побитого — все смешалось и четко просматривалось и в этой его решительной позе, в особой постановке напряженных полусогнутых ног.

Стараясь придать лицу выражение самое приветливое, Саша стала перечислять, какие игрушки и сладости она привезла, но поймала себя на том, что не ожидала радости. Нет!

Много позже, вечером, когда Саша искупала Андреяка в корыте гретой на керогазе водой и, одев потеплее, усадила его на свои колени, а он все крутился и касался ее рук и тогдато у них случился хороший семейный разговор, вот тогда-то — лишь тогда! — оба они потянулись друг к другу прежнему.

— Мам, ты все молчишь и молчишь,— сказал тогда Андрейка.

— Да так, сынок, так...

Андрейка посмотрел ей в глаза, потом весь вжался в нее головой и ручонками, и сказал горячо и решительно:

— Мама, я тебя буду любить всегда!

И Саша не смогла сдержать слез благодарности своему крохотному комочку, который прыгнулся к ней на коленях и который назывался ее родной сын. И, осыпая его поцелуями, она уже верила и знала, что любила его всегда — еще и тогда, когда его не было на свете, любила каждый миг, каждую минуту потом, когда он находился в младенческом крике или радовался, когда подавал свои первые звуки и учился переступать с ножки на ножку. Любила больше всего на свете и будет любить его до конца своей жизни. И Син ее — то единственное, что не отнимет у нее никто на свете, только смерть.

Но все это случилось позже, вечером, в полутораке спальни комнаты, когда Андрейка был чистеньkim и податливым-ласковым. Сейчас же перед нею стояла вояка, босоногий мухомор, свирепый и дико-ватый в своей решимости мстить за поруганную мускую честь. Этот сын был нов для Саши, и к этому новому надо было уметь припроровиться. Меньше чем за месяц разгульной деревенской жизни он одичал и не то вытянулся, не то похудел. Это был парень-бой, и на такого, начину было одно лишь удивление, а радости или материнской к нему нежности никак не пребуждалось.

— Я сейчас... я сбегаю доколечу Клавку.

— Да ты что, сынок, разве можно трогать девочек?

Клавку можно. Пусть знает, что я бегаю уже скорее ее.

И тоже скрылся в лупахах. Скрылся да и не вернулся до самого вечера.

Пытаясь найти его и не разыскав, Саша незаметно для себя разгулялась по Мосткам. Но куда бы ни заходила она, ее по-прежнему и повсюду преследовала эта удивительная покинутость, по-прежнему не встретилось ей ни одного живой души.

Наконец Саша увидела хлебный ток. Там сновали грузовики, там пестрели яркие косынки и блузки женщин, оттуда приносился стук веялок и запах обмолоченного зерна. Там-то, на току, на этих машинах да еще в полях — на тракторах и комбайнах, и был весь основной люд хутора.

Но Саша повернула от тока в луг — туда, где плещется из края в край осинянка. Смутно догадывалась она, что после неудачи с сыном луг оставался для нее, возможно, та единственной зацепкой, которая могла бы ее взволновать, обрадовать и удержать в Мостках на ту неделю, которую дали ей в больнице.

Вот показалась полоска леса, за которой откроется ширеный разлив травы, и Саша все ускоряла и ускоряла свои шаги. Выходило это само собой, помимо ее желания и воли. И вот она уже поймала себя на том, что почти бежит. Остановилась. Подождала, когда успокоятся дыхания.

«Куда я тороплюсь, чего я жду от этого луга? Ведь ег-о-го здесь я не встречаю. Так зачем же спешу да спешу? Что мне скажет осинянцы шум? Разве скажет, что он так далеко, что теперь мне везде одиноко?.. Прилети, прилети ко мне, миный, вольный птицей — орлом быстрокрылым. Мы пойдем по траве по царице, и хорошее все повторится...»

Но и тут ждал Сашу грубый обман — луг оказался скосенным наголо, и на месте раздольной осинянки жалась к земле беззащитно-молоденькая трава — оттава да всюду стояли копны сена. Прилизанные

дождями и до бурости обожженные солнцем, они разбегались по косогорам и увалам, они так тесно забили низину, что там уже трудно было разглядеть каждую по отдельности копну, там стояла сплошная бурая стена. Новый этот луг — голощекий и низенький, выглядел как бы обкраденным и обиженным в своей бедности. Трава, конечно, на то она и трава, чтобы ее скшавливать на сено, и все же видеть все это было скорбно. И в какой уже раз за последние несколько дней показалось Саше, что из ее ящика что-то вынули.

В ходу вернулась она, когда ни Андрейки, ни кого-нибудь из родных дома еще не было, и Саша протянула влажной тряпкою полы во всех комнатах и на веранде. Делая работу, она не переставала думать обо всем, что этот ее приезд — несчастная глупость. Она слишком много ставила на этот приезд, а он не изменил, да и не изменит, видно, в ее жизни ничего. Отсюда — издали, с расстояния дней и большой дорожной удаленности, ей хотелось увериться... но в чем? В том, что она Сторожева любит и для нее хочет прожить, не видя его? Да этого и проверять не зачем, и так все ясно. Поехала, чтобы убедиться, любит ли ее он? Но зачем же убеждаться на расстоянии? — такое видится по глазам, по жестам, по улыбке. А как увидишь ее, улыбку, отсюда, из Мостков?.. Еще думала Саша, что, увидев Андрейку и всех своих, она обрадуется, поживет рядом с ними и хоть на малое время забудет Сторожева, выкинет его из головы, успокоится. Успокоилась?.. Куда там, все вышло наоборот.

В эту минуту под углом избы послышался сухой колесный стук, скрости, всхрапнул конь, и сейчас же по ступенькам тяжелыми, но скорыми шагами взбежал на веранду Трофимыч. Саша заторопилась ему навстречу. Увидев ее, он засмеялся и сказал всего лишь слово:

— Ты!

И шагнул ей навстречу и протянул к ней сразу обе руки.

Саша схватила эти руки хваткой утопающего и зарыла в них лицо. От ладоней пахнуло соляркой и сиромятными вожжами, но слезы хлынули разом и разом прогнали все запахи.

Если бы по этим слезам мог догадаться Трофимыч, он узнал бы, что живет нынче Саша путаной, незадачливой жизнью, что от Жени она ушла и что была все светлая на свете и всех — и его, Трофимыча, и родную сестру Марину и даже Андрейку, и что Сторожев, наверное, ее все-таки не любит. Такой узел завязала она сама и распутывать его придется самой же, но как это сделать, ты не знаешь ли, миный Трофимыч? Ты такой большой, такой умный мужчина, ты живешь ясной, непутаной жизнью, но не знаешь ли ты, как это сделать — распутать чужой узел? Нет, пожалуй, не знаешь и ты. И никто посторонний не знает, как начинаются в чужих семьях эти тугие узлы и как их потом распутать. Порой слезы Сашу отпускали, и тогда от ладоней Трофимыча опять приходил этот запах солярки сиромятных вожжей, и хотя эти ладони были жестки и короткопалы, они все равно чем-то напоминали те тонкие горячие ладони Сторожева. Наконец Саша успокоилась и в тот же миг почувствовала, что словно бы знает теперь, как, с какого конца подступить к своему узлу, чтобы начать его развязывать.

— А меня ведь ждут, возле кузницы дожидаются. Приезжие, лежий тя под-мникиты. Шефы, — сказал Трофимыч и побежал порожками вниз. И в самом изу, на земле уже, он остановился и с простецкою улыбкой добавил: — А ты, Саш, не больно-то здорово переживай. Все перемелется, все. У иных стари-

ков за их длинную жизнь и не такое еще случалось, в ведь живут да еще и радуются.

Слова эти крепко успокоили Сашу, но и без них она уже поняла, что что-то в ее жизни начинает меняться, и меняется к лучшему. А вскоре прибежал Андрейка, Саша искупала его, и когда он, голеные и вертики, крутился у нее на коленях и в особенности потому, когда он впился в нее руничками и сказал свое решительное: «Мама, я буду любить тебя всегда!» — Саша ощущала в нем такую могучую опору, при которой она вынесет в этой жизни все. И, нежно прижимая к себе и всячески лаская сына, Саша думала уже о том, какая неповторимо прекрасная, какая это великая штука — наша жизнь!

А наутро у нее с Андрейкой случилась неожиданная игра. Крутым косогором поднимались они на Каменный холм. Поднимались медленно и все равно упирались. Саша перепела над головой руки, и ветер загулял под платьем, приятно выстуживая тело.

— Мам, ты ловишь ветер? Я смотрю, ты пальчиками над головой перебираешь, ты угадал! — Саше очень понравились фантазии сына.

— Мам, научи и меня.

— Это мы сейчас, сынок, сейчас. — И горопливо скинула с головы косынку, взяла ее за два угла, Андрейке оставила третий, и они, слегка пригнувшись, повели ее над травой, как бреднем. Ветер трепыхнул косынку, натянулся, раздул.

— Держи, сынок!

— Я, мам, догадывай, я замотал угол на палец. Виши как! А ветер-то уже попалася. Клавдия, Клавдия, мы поймали ветер!

Саша взглянула на сына и чуть не выронила косынку: такой же горячечный блеск — блеск радости и счастья — она уже видела в других глазах, в глазах Сторожева... там, на краю буярка со знаком «Запретная зона».

К нам подлетела Клавдия Наташина. До этой минуты она держалася в сторонке, шла с ними, но в это же время вроде бы и сама по себе. Но вот услышала удивительную новость и подлетела: Бегло оглядел, что к чему, девочка смыкнула, засмеялась.

— Кто ж его ловит, ветер? — трезво спросила Клавдия. — Ветер не ловится.

А вот ловится, и мы поймали! — отрезал Андрейка.

— Поймали?

— Поймали!

— А фигу не хочешь?

— Поймали!

— Ну тогда покажи, где он, твой ветер? Какой он? Дай мне его подержать.

Андрейка посмотрел на раздутую косынку, кинул взгляд восторг убегающей траве и вдруг остановил глаза на матери — да такие растерянные, что Саша рассмеялась.

— Ничего, сынок, еще поймаем!

«Господи, на какой же он еще глупенький!» — подумала Саша о сыне с умилением. И тут она поймала себя на том, что ей хочется родить еще и девочку — беленую писькушку...

В Мостках Саша прожила полную неделю. Андрейка не отходил от нее ни на шаг, и она чувствовала себя настолько ровно-частливой, уверенной в себе женщины, материю, что, казалось, успокоилась совсем. Но как только села она в автобус сноги, так к той же самой минуты в нее поселился бес нетерпения и стал ее подгонять: «Скорей! Скорее, что ли! Плетемся, как на телеге!» — и смотрела в лысеющий затылок водителя очень сердито. А ко-

гда показались дымы и трубы ее города, она уже не могла усидеть в кресле, встала и прошла в левый ряд автобуса, к ветровому стеклу.

С автостанции направилась она не к Тайсе, а сразу в больницу. Издали увидела: возле главного входа, синяя на груди голову, взад-вперед прохаживается Женя, ее муж... Чтобы с ним не встречаться, свернула к боковой капилке.

В раздевалке передали Саше тяжелый букет кремовых, ее любимых роз и упаковку с подарками. Коробка дорогих конфет с угла на угол перегнута была шелковой лентой; бутылка шампанского вина завернута тонкую бумагу, а шерстяной костюм сложен был аккуратно и овеян дорогими духами. В коробке лежала еще лаковая карточка с надписью: «Горячо любимой жене Александре в день рождения от мужа».

Не зная, куда деть подарок и что с ним делать, Саша стояла, перекладывала его с места на место, а думала все о своем: а вдруг Сторожев ее все-таки не любит?

15

В палате Сторожева не было. Саша заглянула в водолечебницу, где его лечили, потом поднялась к кабинет физической терапии. Нет, оно, пусто. Оказалось, что не играл он и в шахматы за деревянным покосившимся столиком под тополями. Но у другого корпуса на асфальтовом пятачке три девочки играли в «классики», и Сторожев молча наблюдал, как они играют. Сердце ухнуло вниз и подскочило, потому замерло, как при взлете на качелях. Улыбаясь, Сторожев приблизился к ней и спросил, как ей съездилось и как поживает ее сын. Ответила Саша суховато, двумя словами, что съездилось ей хорошо и что сын, спасибо родным, отдал прекрасно. Потом Сторожев сказал — с горделивой ноткой, что по его настоянию выпищут его не через неделю, а завтра.

«Завтра? Уже?» — и с неожиданной для себя решимостью Саша подумала, что сегодня она его не отпустит, она будет с ним всюду, весь день, до конца, может, пойдет с ним в рощу.

«В рощу?» — переспросил он. — Кто тебя научил читать мои мысли?

И Саша словно бы сняла некий панцирь — так она обрадовалась.

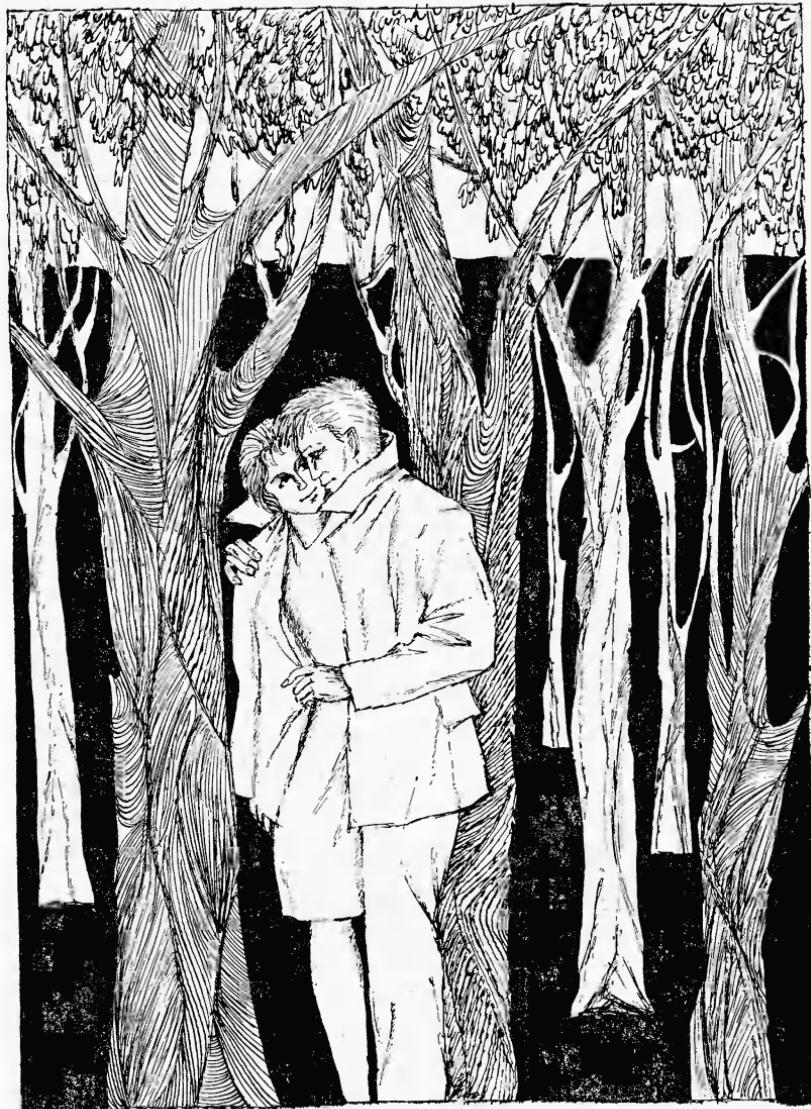
Поки шли знакомой улочкой в гору, она не переставала рассказывать о своей поездке в Мостки, о сыне и о всех своих думах. При этом она не переставала радоваться, потому что видела: Сторожев ловит каждое ее слово и рассматривает ее как бы вновь, заново — такое заметила она за ним со дня их знакомства впервые.

Брали уже глубину рощи, когда позади как бы спросили громыхнул гром. И лишь теперь заметила Саша, что добрые полнеба все еще сияют безоблачной ясностью, но от близкой горы за рощей горы низко, словно бы горовая упость наземь, катилась распределенная туча с пильевым подолом дождя.

Укрылись за каким-то строением, под выступом железной крыши, по которой уже торопливо кололись крупные капли.

Сторожев распахнул полы курточки, раскинул их в стороны на манер крыльев и без слов, одной ульбкою, пригласил Сашу в этот нагретый своим теплом шатер.

Так, в обнимку они стояли и смотрели на дождь. А дождь — прямой, отвесный — плотней и плотнее, шумел все громче, все веселее, и вскоре к ногам



пала прохлада, воздух сделался свежим, а под углом неуверенным баском подростка забормотал первый речеек.

— Как хорошо! — сказал Сторожев. — Как хорошо жить. Жить, просто жить. Знаешь, первый раз за долгое время мое было неприютно без другого человека. Без тебя, Саша.

Ее как будто бы с головы до ног осыпали жаром.

— Повтори! Повтори! Повтори, пожалуйста, что ты сказал!

— Да что ж тут повторять, тут и повторять нечего.

— А ты повтори, повтори! Не скучись.

Но Сторожев лишь улыбался да грел своим дыханием ее голову сквозь косынку, ее шею и плечи. А дождя все шумел, а ручеек все бормотал и бормотал, и в его картоном выговоре узнавала Саша свое, только свое: «Мне было неприютно без тебя, Саша. Неприютно без тебя, Саша».

И даже потом, когда ливень склынулся, а ручеек примолк, и только с крыши, лебеду прошивая, падали крупные, как монеты, капли, Саше и в этих громких хлопках слышалась голос Сторожева и эти его дорогие, но и пугающие слова.

— Что будет? — спросил неожиданно Сторожев, и она в полном смятении поняла, что самые потешенные свои мысли случайно сказала вслух: — Не знаю, ничего не знаю... Все запутано, все непросто... Я что-то никак не отboleю от своего первого брака. Уже третий год, а...

Таким — задумчивым — Сторожев и уехал назавтра из больницы. Прощаясь с Сашей, он смотрел на нее грустно, то и дело вздыхал, однако приедет ли, нет ли и как долго его ждать — ничего насчет этого не сказал.

А сама Саша не спросила. Постыдилась спросить.

16

На целую вечность растянулся первый без Сторожева день. Обмынавшая себя, Саша то и дело ходила мимо восьмой палаты, заглядывала в угол, где его койка, однако там уже был новый больной. В какую-то минуту подумалось, что Сторожев, может быть, заявится после работы, но вот пришел вечер, потом подкралась ночь, а его все не было и не было.

И еще один день истек в ничто, за ним и другой и третий. И целая неделя истратилась впустую. И всю эту неделю Саша одевалась в лучшие наряды, купила себе самые дорогие духи, а по выходе из корпуса придерживала шаг и оглядывалась по сторонам с единственной мыслью: не поджидает ли ее где-нибудь поблизости Сторожев. Но его по-прежнему все не было и не было. Вечерами, когда в отделении все притихало, а дежурный врач куда-нибудь пропадал, Саша выходила к подъезду и стояла там, чутко прислушиваясь, и глядывалась в конец аллеи, что вела к центральным воротам.

Однажды Саша поняла, что здесь не дождаться ей Сторожева никогда, и, поняв это, она сразу же отказалась от ночной смены. Да вышло на свою же беду. Теперь на нее обрушилась такая бездна ненужного времени, что не знала куда от него и деться. Пригнувшись гуску, она кружила пешком по улицам города. Сначала уходила в те тупики и переулки окраины, где проходили они со Сторожевым. Покосившийся телеграфный столб живо напомнил ей штукту Сторожева: «Смотри, гуляка подбоченился». Вот на этом повороте он ни с того ни с сего по-

жал ей руку; здесь, украдисто оглянувшись, сорвал лист клена и протянул ей ей...

Но какой прок в пустых воспоминаниях! Саша хотелаось видеть Сторожева. Видеть наяву, живого — смеющегося или хоть грустного. И вот с окраины она перешла на центральные улицы и площади. Свернув на новую улицу, Саша зорко просматривала ее вдаль, отыскивала взглядом Сторожева в каждом высоком мужчине, ждала его из дверей магазинов и из притормозившего такси. Но Сторожев словно бы исчезли.

Замучили сны. Короткие, рваные и такие страшные, что за ночь Саша пробуждалась по нескольку раз. Однажды приснилось: вот она гладит белье и вдруг слышит предупреждение, что на их город летит ракета с водородной бомбой. «Ужее! — только успела подумать Саша. А бомба уже лопнула. Взрыва пока еще нет, в целом мире пока еще только свечение — огненное, беспощадно-яркое, оно ослепило глаза даже сквозь опущенные бамбуковые жалюзи. Спрятав за спину похолодевшие руки и отвернувшись от стороны лица, Саша ждет взрыва. «Боже, я хоть успела узнать, что такое большая любовь, а многие этого теперь так и не узнают». И тут проснулась. Сердце стучало так, что никаких иных звуков. Свежие ноги с дивана, она сидела, услышавшись в эти гулкие неритмичные удары и, как только что во сне, подумала все о том же: «Я люблю успела, а многие не успели». Едва заснула, как то же самое: в чистом, спокойном небе плынет самолет с чужими знаками на крыльях. Вот он долетел до центра города, и от него отделились пузатая черная бомба: Саша отчаянно видит на ней белую раскоряченную буку «А». Бомба снижается молча. Лопнула молча. Ослепительное свечение — молча. До боли вжимает Саша голову в плечи, и, когда свечение погасло, видит, что она раздела до нитки и тело ее смуглого, как у мулатки. «Атомный загар», — расセйно думает она и еще раз пробуждается.

А однажды приснился ей Женя, муж. Сильный, мускулистый и бесстыдно голый, он ласкал ее под душной простираньи, и ласки его были томительны и ненасытны. Но всего удивительней, что телом был весь он, ее Женя, а ладони совсем не его — то горячие ладони Сторожева...

И уже не во сне, а в яви Женя словно бы почувствовал, что у Саши большие нелады нынче в жизни, и стал подождать ее не только по утрам, но уже и вечерами. Она идет с работы, а он стоит под чаем. Стоит и стоит. И во взгляде его ожидание и неумело скрытая жалость. Не к себе жалость — к Саше.

17

Серенькие, дотлевали сумерки, и Саша устроилась у окна, поближе к свету, ушивала в талии новое, всего два раза надетое платье. В кухне шипело масло: Тайса поджаривала на ужин свежего судака, купленного с рук у соседа-лодочника.

— За сто-ол!

— Еще одна, мне что-то не хочется.

— Опять ей не хочется. Я те дам не хочется. Да тебя уже и так ветром шатает.

И в это время негромко, но настойчиво, трижды стукнули в дверь. На ходу вытирая о гремучий пепельник руки, Тайса пошла открыть.

Гостем оказался Женя Владыкин. Он вошел и привалился плечом к косынке. Немой, истосковавшийся взгляд его застыл на жене. Мельком взгляну-

ла Саша на мужа, но и этого было довольно, чтоб заметить: глаза его округлились, лицо осунулось и тронуто бледностью.

Таиса поспешила было оставить их с глазу на глаз, но:

— Можете неходить, у меня тайны нет... Саша, я тоскую по тебе. Нет такой минуты, чтоб не думал я о тебе... Может, пойдем домой, а?

Саша молчала.

— Знаешь, давай оставим все нажитое и кудахнудь уедем. По вербовке. Начнем все сизынов... Я думал, время даст обиду на тебя или зло. Нет зла, нет обиды, а есть тоска. Нежность к тебе и любовь.

Молчание.

— Знаю: я нехороший, слабый волей человек, но ведь это так нетрудно исправить... Тебе, верно, смешино это будет слышать, а ведь в техникум поступаю. Для чего? Сам не знаю. Какое-то упражнение изнутри распирает. Два экзамена уже свалил.

— Ступай, Женя, домой,— сказала наконец Саша. Тон ее был ровным, без обиды, но в то же время он не оставлял надежды.

— Саш,...

— Ступай.

«Безумство! Какое, если приглядеться, безумство — человеческая жизнь, — поглядывая на Сашу, думала Таиса. — Должно быть, все мы ложимся спать и пробуждаемся с мыслью о журнале в небе и не хотим замечать синицы, которая так привычна в наших руках. Мы зачем-то тянемся к равнодушным, но чуждым нам людям и не видим преданности близких. Как часто между этими вот огнями колотится наша жизнь! А она куда проще, жизнь, чем мы ее придумываем».

— Да любишь ли ты своего Сторожева?

— Довольно об этом, не надо.

— Тебе, конечно, видней. Но ты подумай.

Было о чём думать.

Сторожек между тем по-прежнему не давал о себе никаких знаков. А Женя между тем поджидала у ворот по-прежнему.

И Саша думала об этом постоянно, везде. И однажды, в предвечерний час, собрала свои пожитки и сказала Таисе, что возвращается домой.

— Я слабый человек, всего лишь женщина... Жить в одиночку боюсь.

Таиса поздравила ее и сказала, что семья Владыкиных будет с этого дня самой проницательной.

— Я тоже думала так,— согласилась Саша.— Я много думала и поняла: в жизни часто надо поступать не «как хочется мне», а «как нужно». «Как нужно» — это крепче, надежнее. Если хочешь, это и честнее.

Женя обрадовалась ее возвращению несказанно. Он всячески старался погасить свою радость, но она так и выплыскивалась наружу — в улыбке, в голосе, во всем. Тут уж он ничего не мог поделать с собою. Однажды в его взгляде сквознуло даже что-то очень непривычно-ликующее: «Я говорил, что ты вернешься, говорил! Ну что??»

Целый вечер молчали, и только перед самым сном теплым угольком занялся было у них разговор.

— Женя, а ты похудел.

— И поседел, — добавил он — Видишь? — И склонил к ней голову.

Саша посмотрела и смолкла: паутинки седины пробились не только на висках, но и перепутались уже по всей его густой шевелюре. Женя откинулся головой к стене и остановил на Саше строгий взгляд.

— Саша... Знаешь... еще один твой такой же норм, и я не знаю, что со мной будет...

Сказано это было ровно, ужасно буднично, и Саша повернула. Ей сделалось очень неуютно и даже страшно. Но она промолчала.

Через день, в выходной, Владыкины съездили с Мостки и привезли домой Андрейку.

18

Перед осколком зеркала Люся Трушина пушила прическу.

— В шестую палату эх и мировецкий больной поступил. Кудрявый, веселый! Я уже навела спрятки: двадцать четыре года, не женат, центральным нападающим в классе «А» играет.

— Эпилепсия или менингит? — спросила Таиса.

— Сотрясение мозга. — Ну, если всего-навсего сотрясение, крути на бигуди.

В углу, на электрической плите, как всегда, кипятились шприцы, вода бормотала и пузырилась. Задумчиво глядя на пузыри, Саша помешивала шприцы длинной металлической спицей.

И тут в сестринскую заглянул больной и сказал Саше, что ее ожидают у входа в корпус.

Дени был стеклянно-светлый, с колким ветерком, и Саша поверх халата накинула плащ.

«Кто это может быть? — поспешно шагая, думала она. — Наверное, это Женя с Андрейкой зашли из детсада».

Открыла дверь — Сторожев. Ох!

В киплено-белой нейлоновой сорочке при черном галстуке и в новеньком, пошумливающем от ветра плаще, Сторожев казался женихом в самое святое, в свадебное утро.

— Здравствуй.

Сказав так просто, будто бы видел ее не далее как вчера. Улыбка его была лучиста, радостна.

— Я из Жаксы-Гумара. Прямо с самолета к тебе.

И перевел дух.

— Едем куда-нибудь. Все равно куда.

— Нет. Нет.

Он так удивился, будто б ему наобещали, а теперь вот отказываются.

Ради Бога нет! — И попятилась к двери.

И опять он очень удивился. И приблизился к ней вплотную.

— Нет-нет. Не-не...

Он мягко, но и настойчиво скжал ее плечи. Пытаясь освободиться, Саша ощущала знакомый жар его ладоней, а вместе с ним и такую знакомую слабость в теле.

— Нет, пожалуйста, нет! — взмолилась она еще раз, а сама уже шла рядом с ним, и скользили, шуршали у нее под локтем оба плаща сразу.

Дверца легковой машины была уже приоткрыта, и человек за рулем улыбался, и в приемнике тонко играла скрипка.

И уже опускаясь рядом со Сторожевым на сиденье, Саша вскрикнула:

— А как же халат? Я забыла оставить халат!

Машина с места взяла большую скорость. Ветер ворвался внутрь, ветер охватил лаковое тело машины, и если бы в этот момент автомобиль взлетел, Саша нисколько бы этому не удивилась.

г. Саратов.

Александр Щуплов



Боевые трубы

Худощавы, как грачи,
вечными обяты снами,
квартируют под снегами
боевые трубы.
Без позерства и прикрас.
Кто печален, кто смеется...
Стебелек в колено бьется,
словно съехавший лампас.
С поседевшей головой,
с незабытыми стихами
квартируют под снегами,
под стогами и травой.
А в осенние лучи
слышат, съежившись стулко,
как наполненные гулом
яблоки летят в ручьи.
По лицу размазав пот,
молча думают ребята,
что у жизни нет заката.
Жизнь — пленительный восход!
И у них не кончен путь
под картечью и прикладом,
ведь труба упала рядом —
только руку протянут.
Только встать. Стряхнуть снегок.
Откусить с куста ледышку.
Сделать шаг. Еще шажок.
И навстречу к нам. Вприпрыжку.
Мы коснемся лиц родных.
Кто-то всхлипнет без причины.
Нас вспомят один родник.
Мы одни стихи учили.
Нас роднит упругость рук.
Нам дана одна планета.
Громыхает в жилах ртуть
Красного — святого — цвета.

Гроза

То ли осень шла окружой,
то ли ночь свела крыма...
Перламутровой севройю
в небе молния плила.
Булыхнула в мякоть иле.
Громыхнул проворный звук.

И такие струи били,
что захватывало дух!
Мы отпрынули в испуге,
разбежались по углам.
Наши юные подруги
прижимали плечи к нам.

В шуме ливневых чудачеств,
в облаках, плыущих ввысь,
нам — птенцам со старой дачи —
открывался новый смысл.

Был он прост, как шмель в полете.
Черных красок не сгущал.
Он нас звал к простой работе
и наград не обещал.

Каждый должен быть при деле.
К черту — лени тормоза...
Мы стояли и глядели,
как ворочалась гроза.

А потом бежали к веткам
с птичьей шапкой набекрень.
И каким-то ровным светом
выпрямляло нашу тень.

Дмитрий Сухарев



Пела песню женщина из Пешта
Над моей веселой головой,
Над моими бойкими кудрями,
Над горячей кровушкой моей.

Пела чисто, истово, красиво,
Чуть умолкнет, все кричали: пой!
Разводят руками: «Ну и силал! —
Аккордеонист попусклей.

А мся головушка распухла,
Я не знал чужого языка,
Но порывы темного рассудка
Холодила женская рука.

«Жи я, жи, голубушка, и дожил
До своих до выдержанных лет —
Вот и весел, как осенний доцдик,
И кудряв, как бабкин табурет;

Вот и маюсь, не прошу отсрочки,
Прикасаюсь лбом к твоей руке,
Вот и бормочу четыре строчки
На своем родимом языке».

Аккордеонист полуночный
Сатанел от дыма и жары.
Помню голос дивный и горячий,
Я его не слышал с той поры.

Я не шел, голубушка, за гробом,
Не читал прощального письма
И гадать не смею, что за прорубь
Ты себе назначила сама.

Но я помню, помню этот голос,
Вспоминаю пальцев холодок,
Ни забуду темный этот город,
Эту ночь и винный погребок.

Аккордеонист полуночный —
Как же он старался, старина!
Выложился, справился с задачей,
Не забылась песня ни одна.

К поэту С. питаю интерес

К поэту С. питаю интерес,
Особый род влюблённости питаю,
Я сознаю, каков реальный вес
У книжницы, которую листаю:
Она тонка, но тяжела, как тол,
Я семь томов отдал за эти строки,
Я знаю, у кого мне брать уроки,
Кто мне брат в своей рабочий стол.

Строка строку выносит из огня,
Как раненого раненый выносит; —
Не каждый эту музыку выносит,
Но как она врывается в меня!
Как я внимал лиро роковой!
Поэту С. — его железной лире!
Быть может, я в своем интимном мире,
Как он, политработник фронтовой!

Друзей его люблю издалека —
Соратников великого похода, —
Надежный круг, в который нету входа
Моим друзьям: ведь мы не их полка.
Стареть им просто, совесть их чиста,
А мы не выдаем, что староваты,
Ведь мы студенты, а они солдаты,
И этим обозначены места.

Пока в пекарне в пряничном цеху
С изюмом липтродукция печется,
Поэт грызет горбушку и печется
О почести, положенный стиху:
О павших, о пропавших и о них —
О тех, кто отстоял свободный стих,
В котором тоже родины свобода, —
Чтоб всякий того достойный был прочтен,
И честь по части славою почтен,
И отпечатан в памяти народа.

Издалека люблю поэта С.!
Бывает, в клубе он стоит, как витязь.
Ах, этот клуб! — поэтол политец
И поэтесс святая деловитость.
Зата в награду рено гордым духом,
Обрадовано рдено правым ухом,
Когда Борис Абрамыч С., поэт ¹,
Меня порой у вешалки заметит
И на порыб души моей ответит —
Подарит мне улыбку и привет.

¹ Автор надеется, что любители поэзии простиут эту малую лукавость, без труда угадав поэта Бориса Слуцкого.

Наум Кислик



В круглых скобках простояны даты,
словно в русло гранитное взяты —
все безбрежности в них вмещены:
передых от войны до войны,
переход от стены до стены,
цепь каналов и хлеб целины,
от зарплаты житье до зарплаты
и полет от Земли до Луны.

Утром нагрянул младенчески пухлый,
недолговечный, пролетный снегок,
и ненароком ворону обуглил,
и мимоходом рябину замяг.

Ярким жарком полыхает рябина,
синим чадком отливает крыло,
все остальное бело и пустынно,
все остальное свежо и светло.

Сам ли придумал, снежок ли согляд,
будто бы снова бежать без оглядки —
в только что начатой школьной тетрадке
первое слово писать по слогам?

Снова дети играют в войну,
значит, мир дотянулся до польши,
если дети, не зная, не помня,
вдохновенно играют в войну.

А тогда — это было с утра,
когда камни еще догорали, —
наши дети в войну не играли,
понимали: она не игра.

Не пугайтесь военной игры:
это очень мальчишечье дело,
это солнце в зенит залетело,
это полдень вбежал во дворы.

Вспоминая о войне...

Как будто жар-птицу словил,
за долгое понятие:
мои не одни словами,
но и воронье — мое.

Не только одна синева,
еще и рва чернота,
мои не только слова,
еще и моя — немота.

Я это горбом нахивал,
сбиваясь и падая с ног.
Тайком пробираюсь в подвал,
трясясь, отпираю замок...

Там столько иллюзий на дне,
бессонниц и снов берегу,
там люди горели в огне,
замерзли на черном снегу.

Я должен потерю считать,
пока не задует свечу,
я вам не могу их отдать,
пусть даже и сам захочу.

Кто этого права лишен,
пускай подождет у дверей:
и жалок он мне и смешон
с пустою сумою своей.



Не было в мире ни зла, ни добра,
две нас было — ни больше ни меньше...
Что же не стала ты первой из женщин,
я ж не жалел на тебя ребра!

Ветку ладонью легко отвела —
долю праматери новой вселенной.
Сделалось яблоней обыкновенной
древо познанья добра и зла.

Этому случаю тысячи лет,
просто он вспомнился так, между делом...
Нет уж горечи в яблоке спелом,
горечи нет
и сладости нет.



«Роняет лес багряный свой убор...»
Мне ж видится: теряет снаряжение,
и, как в глухую стену окруженя,
листва слепая тычется в забор.
И нехоти над темною водой
крупки писток совсем еще зеленый,
и умирает, ветром обожженный,
и блеклою становится звездой.
И, созерцая этот новый круг
обычного движения природы,
я грустно обнаруживая вдруг,
что в выборе сравнений нет свободы,
мне что-то их диктует до сих пор.

«Роняет лес багряный свой убор...»

Геннадий Буравкин



Перевел
с белорусского
Г. КУРЕНЕВ.



Нет, жизнь меня не обделила...
А. ТВАРДОВСКИЙ

Всегда платил я полной платой
за долю света и тепла.
Войной, больничной патой
судьба меня не обошла.
Попробовать дала мне вволю,
когда еще ребенком рос,
и меда сласти, и горечь соли,
и запах смол и привкус слез.
Да и не обделяла после
ни добротой своей, ни злом,
ни жарким потом сенокосных,
ни дровосекским ремеслом.
И я судьбу не упрекаю.
Я ладил путь житейский свой
и собственными руками
и собственную головой.
А то, что шли порой на смену
добро, и зло, и боль потери,
так для того, чтоб знал я цену
всему, чем дорожу теперь.



Холодный сквер до нитки облетел.
Ни листвика на вымокшей березе.
Позицию уже сменяет проза.
Багровый шум свое отшелестел.
Наверно, у природы есть резон
передовать восходы и закаты.
Свинцовых туч тяжелые эскадры
зеволокни далеский горизонт.
Не разберешь, где север, а где юг.
Где зрела нива — там стерня чернеет,
где сад шумел — там ветры сатачуют,
не за горами завывание вют...
Зато потом нам видится ясней
и зелень первой звязи весенней,
и пуга августовского цветенья,
и на сосне — тишийший белый снег.



Сергей
ГРИГОРЬЕВ

О «КОНЦЕПЦИЯХ» И ЧУВСТВЕ ВРЕМЕНИ

Среди многих проблем, которые требуют от нашей литературной критики научной разработки, важное место занимают проблемы многообразия искусства социалистического реализма.

«Долг критики,—говорится в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике»,— глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса...»

Глубоко анализировать — значит понимать связь литературы и искусства с жизнью, с ее поступательным развитием, с интересами зрелого социалистического общества на современном этапе. Вряд ли можно претендовать на успех, если в процессе анализа, скажем, литературных явлений современности мы будем подходить к ним с абстрактных позиций, с отвлечеными, пустыми рассуждениями вообще о « пользе воды кипяченой и о вреде воды сырой», как говорил В. Маяковский.

О том, например, что реалистический метод в искусстве оказался плодотворным и многообещающим для дальнейшего развития литературы, мы знаем не

только «теоретически» — мы убедились в торжестве великих принципов социалистического реализма на живом опыте советской литературы! О том, что декадентство, упадничество сыграло свою дурную роль в литературном процессе, в истории развития и западноевропейского и русского искусства художественного слова в конце прошлого — начале этого века, мы также знаем. Знаем и то, что в борьбе с декадентскими тенденциями, изживая их «родинные пятна», вырастали некоторые крупные дарования искусства и литературы, ставшие потом гордостью своих национальных культур.

Однако искусство — это история и не только история. Оно учит, остается опытом, требует к себе уважения и не любит повторения ошибок... В прошлом мы находим не только борьбу с антиреалистическими тенденциями, но и вульгарно-сентантическими схемами, воинствующую узость разных концепций «пролеткульстовского», «рапповского» и иного толка. Попытки все сложные вопросы искусства решать с кондакча, демагогически, выпрямляя, упрощая их, оперируя ненаучными доказательствами, проявляя всяческое неуважение к своему знанию, фактам, таланту, — все это тоже имеет свою печальную историю.

Советская поэзия, о которой в последние годы много и не без пользы спорили в критике, завоевала широкое признание читателя именно потому, что во всей полноте наследовала традиции народности, партийности, гражданского служения обществу. Сила современной советской поэзии и ее *богатство спектра*, многообразия индивидуальностей, многообразия стилей.

Вкусы у читателей разные, общество наше дает возможность говорить о широте интересов в самом хорошем смысле слова. И с каждым годом эта *тенденция* поэзии становится все отчетливее — а как же иначе! Мы передовое, социалистическое общество, достойное иметь большую поэзию, «хороших и разных поэтов». Мы гордимся многими талантливыми именами, и в каждом поколении (вот оно, истинное проявление преемственности, связи времен!) есть поэты, занимающие достойное место в советской литературе.

Конечно, меняется жизнь, меняемся мы, и поэзия не стоит на месте. У нее появляются новые черты, иные приметы. И чуткий критик не может не учитывать изменения такого рода. Мы бы не были ни реалистами, ни диалектиками, если бы не учитывали пульсы времени, характера отношений между обществом и личностью, роста культуры и многих, многих других обстоятельств развивающейся жизни.

Многообразие поэзии — истина, не требующая подтверждения. Иное дело, как некоторые люди понимают само многообразие. Вкус критика должен быть безуокориженным, понимание масштаба явлений — безусловным. Критик не может руководствоваться примитивным подходом «нравится — не нравится». Самостоятельная концепция — это не одна обойма поэтических имен вместо других, которые тебе «не нравятся».

К сожалению, приходится еще сталкиваться и с такого рода критикой. Печальный пример — статья В. Друзина «Проблема концепций» в № 4 журнала «Октябрь».

Автор высказывает беспокойство по поводу не-полного, недостаточно глубокого изучения современной поэзии. При этом он справедливо полагает, что при обозрении текущего стихотворного потока «возможны разные оценки, разные точки зрения, разные концепции».

Какую же концепцию выдвигает сам автор?

Увы, концепцию, то есть систему обоснованных взглядов, трудно обнаружить в его статье. Из нее, правда, можно узнать, что одних поэтов В. Друзин любит и принимает, а других отвергает. Тех, кого он отвергает, ничтоже суммируя приписывает к... декадентам. Оказывается, все очень просто. При克莱нь старый ярлык к новым явлениям советской литературы — и «концепция» готова.

Предвзятость такого подхода очевидна. Критик исходит не из основательных научных наблюдений над поэтическим многообразием, а из желания втиснуть сегодняшний живой поток поэзии в угодную ему схему. А схема-то явно устарела, она с поздне-вульгарно-рапполовской бородой! Следуя ей, В. Друзин легко ставит знак равенства между **объективностью** и **свободностью**, отчуждая от советской поэзии многих поэтов, запросто зачислив их в декаденты.

А какие доказательства у В. Друзина для столь обзывающих и далеко идущих определений? — спросит читатель. Доказательств нет. Сетуя на «авторов бездумных аннотаций», он зовет к аналитичности критики, но в его статье нет анализа поэзии. В одном случае осуждаются два выхваченных из контекста слова — «писсуара» и «кунцаз», в другом возносится непомерная хвала в общем-то ничем не примечательным поэтическим описаниям, сопоставлениям, как, например, совмещение двух представлений о дали — близкой дали и далекой дали. Или с восторгом говорится о том, как замечательно поэт создает «новый образ»: «каке относительно на свете» — «есть ураган. Есть просто ветер. И есть дыхание мое». Приведенные В. Друзином характеристики стихов упрощают творчество им же ценных поэтов, поэзию вообще, низводя ее до рифмованной передачи расхожих мыслей.

Нет, анализ поэзии нечто более содержательное и обоснованное, а именно: показ творческого лица и почерка поэта, того нового, что он внес в поэзию по содержанию и форме, чем обогатил предшествующий опыт родной литературы.

Но это В. Друзин, видимо, не нужно. Ему нужна «концепция», как таковая, если даже она составлена без предварительного и объективного изучения материала поэзии с должным соотнесением его с движением самой жизни.

В. Друзин, не называя имени А. Вознесенского, но перечисляя некоторые его образы, издавательски пишет о некоем «новаторствующем поэте», в круге образов которого безапелляционно обнаруживается не более, не менее, как... «кничто, изначально присущее декадентству и чуждое традициям реализма». Дальше больше. Сегодняшнее «состояние советской поэзии можно представить не в одном облике, а — на выбор — в одном из двух (поскольку они разные и не совмещаются). Один облик сложился в результате победы реалистических принципов...» А другой? Другой, по В. Друзину, «ввидится кое-кому как сочетание реалистических и декадентских принципов одновременно: они-де равногривы, и надо, следовательно, одновременно одобрить Павла Васильева, Василия Федорова, Николая Третьякова, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину. Единый поток поэзии имеет различные грани, и их, мол, следует видеть. Эти грани бывают реалистическими, бывают и декадентскими. Яснее не скажешь! Только вот вопрос: чье же все-таки лицо отражается на «реалистических» граниях в этом смысле? Кто «декадент»? Ва-сильев? Федоров? Вознесенский?

Не менее безапелляционен В. Друзин в оценке критики поэзии. По его убеждению, у нас есть сторонники «концепции»... «существования» декадентства и реализма, «поэтому рецидивы декадентства надо принимать спокойно, видя в них только одну из

граний сегодняшнего поэтического потока». Не ясно, что это значит по-русски: «границы... потока» — ну, да не будем придирияться к стилю В. Друзина. Если бы только в этом было его слабое место! «Надо-де знать, что каждая блоха не плаха... Надо-де улавливать все грани. надо быть объективным, всевидящим — это высшая мудрость (бю-то постоянно руководствуется, например, критик Ал. Михайлов)»...

Как видите, размашисто пишет В. Друзин! Не стесняет себя доказательствами. Так, мимоходом один из наиболее вдумчивых, активных наших критиков поэзии, Ал. Михайлов, попадает в число покровителей декадентов, соучастников «концепций» «существования».

Но довольно. Ни о каких концепциях тут и речи не может. Есть безнадежная отсталость, плен догм, узость и бедность в понимании поэзии, торжество серости и посредственности под жупелами борьбы с «декадентами».

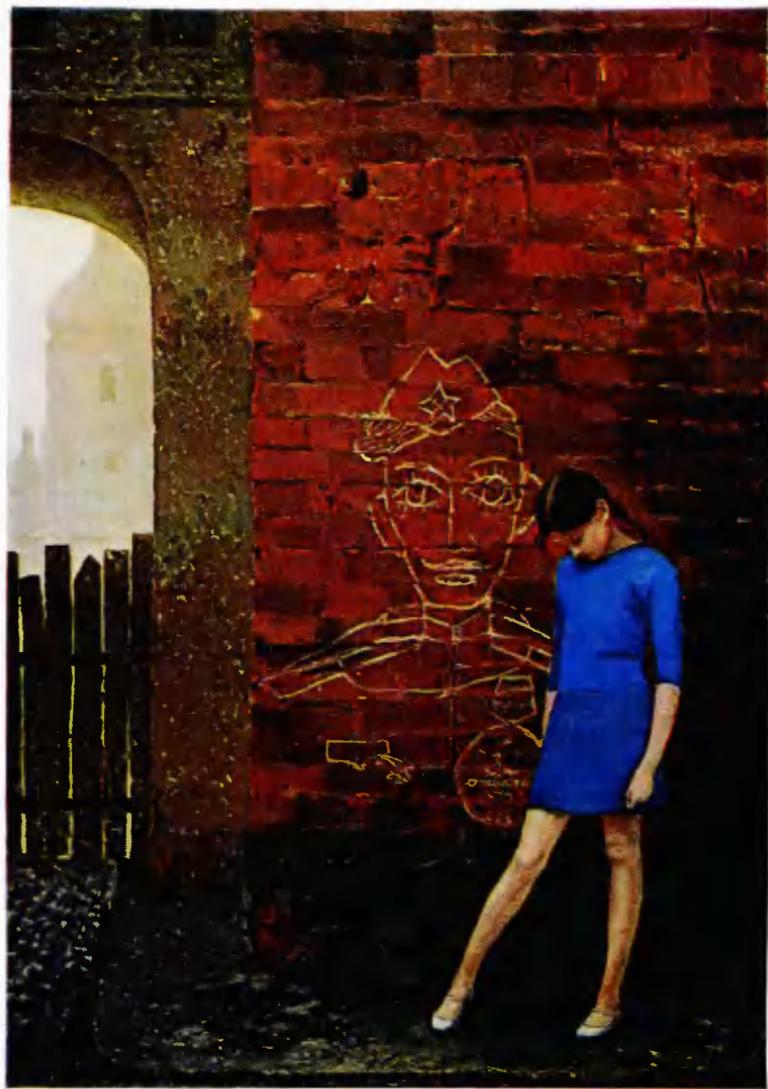
Мы умышленно не называем ни имен поэтов, которых В. Друзин считает «декадентами» — впрочем, и он их полагает! — ни тех, кого он противопоставляет им. И мы и другие — советские поэты, достойные серьезного разговора. Дело не в именах, все не в именах — дело в беспомощности анализа, в попытках заменить анализ жупелом. С этой «методой» советская критика давно простилаась — в целом. А о рецидивах мы и говорим...

Достойно сожаления, что В. Друзин не извлек уроков из известной статьи А. Твардовского «Проповедь серости и посредственности», направленной в свое время против предыдущего выступления В. Друзина. Кстати, тогда В. Друзин и его соавтор Б. Дьяков тоже не жаловали талантливых художников. Теперь же В. Друзин, уж в единственноном числе, снова выступает против талантливых поэтов.

Странно, что В. Друзин, требуя от других изучать «книгу реальной жизни», постигать «красоту земной действительности и одновременно сложность ее», «понимать закономерности развития», сам не проявляет ни интереса к этим «реалиям», ни малейшего чувства времени, не видит разительных перемен в жизни за последние десятилетия. Будто действительность наша и люди, мир чувств их застыли на уровне двадцатых — тридцатых годов, будто эстетический мир человека вовсе изолирован от экономического, этнического, социального развития.

Право же, оторванность от жизни не приводит к добру!

Опять показывает, что непонимание характера изменений, происходящих как в общественной, так и в художественных сферах нашей жизни, всегда «ревато воинственным консерватизмом или волонтаризмом анархического толка. Обе крайности плохи. И обеим помогает ненаучный, спекулятивный подход к делу. Бороться с этими крайностями можно только знанием, профессиональным умением анализировать факты реальности — будь то явления самой жизни или искусства. Время никак не поддерживает демагогию, оно выталкивает ее на поверхность! Обнаруживает шатким ее «фундаментом». И, напротив, время помогает уважению к знаниям, научному подходу к изучению процессов литературы, пониманию той серьезной идеологической истины, что наша действительность дает — вопросы клевете наших идейных врагов — подлинный простор подлинному художественному многообразию литературы и искусства.



Л. ЛАБЕНОК.

Папа.

Из произведений художников Советской Украины.



Я. МАЦЕЕВСКАЯ.
Колхозная
весна.



С. РЕПИН.
Хлеб наш.



Т. ЯБЛОНСКАЯ.
Юность.



А. ПОПОВ.
Корабль
«Космонавт Комаров».



А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

К солнцу.



О. Север. Север-чародей.
Иль я тебе оклонован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

Ф. ТЮТЧЕВ.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ОНЕЖСКАЯ БЫЛЬ



Рисунки
автора.

Сосед по купе — геолог — увлеченно говорит о Байкале, на котором только что побывал, но, глядываясь, пропылающие за окном болота и озерки под тусклым солнцем, переходит на Карелию. Рассказ о водоизадах и их происхождении он чередует с перечнем принцесских книг, объединяя их под общим названием «В краю непуганных птиц».

Пришви! Вот писатель, которого и можно и должно назвать счастливым: ведь он сам сотворил свою жизнь, сам накодил свою судьбу. Это он открыл нам прелести Севера, обаяние его природы. Он словно слился с нею. Нет, простили на ее фоне. Помни его похороны: он, казалось, не умер, а ушел в свои кладовые.

«Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.

— Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?»

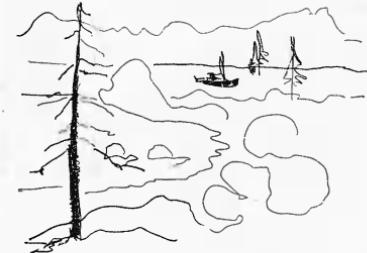
В память вспыливает этот зачин книги. «1905» — дата, поставленная Пришвиным по окончанию книги «В краю непуганных птиц». Вот ведь когда написано! А читая книгу не отрываясь. Живое слово, первородное, самоцветное.

«В краю непуганных птиц» и другие книги этого воинственного очарованного странника способствовали верному пониманию и пристальному изучению Севера. Я не касаюсь здесь судьбы русского очерка (в нем Пришвику удалось сказать свое особое слово и расширить рамки жанра), речь идет о непосредственном влиянии слова писателя на этнографов, фольклористов, историков, более того, лесоводов, геологов, лимнологов — исследователей озер и искусственных водохранилищ. Но всего более, если сказать правду, слово художника послужило постижению души человека, человековедению.

За интересным разговором легко забываша время, в том числе и время прибытия...

Проводники на перроне — на припеке. Спасибо, до свидания!

Приехал. А ощущение такое, что приезд — только начало дорог. Буду ходить, лазить, плыть. «Лицший



Реактивный громыхнул над садом,
Запригает почтальон коня.

Неравновесие, большое и малое, но, я это вижу и слышу,— живое.

Говорим с Сысойковым о том, что еще не создана впечатляющая книга о времени, когда около устья реки Лососинки, вокруг Петровского завода, в 1703 году возникла горнозаводская слобода, как она постепенно обретала облик города и как затем менялись черты лица этого города.

Есть в Петрозаводске впечатляющие строения, так идущие к Северу, к колориту Карелии. Выхожу к новым кварталам. Где я нахожусь? В Черемушках? В Киеве, на Печерске? В рабочем районе Горького? Непроницаемый стандарт. Дома аккуратные, как черные шарыки синтетической икры.

Куда ни посмотришь, каменные громады теснят деревянные домишкы, сдавливают их. Просто, как песчинки в жерновах, перетирают. Переходят мостовые, рушатся бревенчатые заборы, царят над всем подъемные краны.

Иду по улице Ленина, бывшей Святнаволоцкой, не иду, а каучусь в Онегу. Другой город! В деревяно-лондонскую пору здесь было одно лишь каменное здание — тюрьма. Не нужно сравнивать то, что не сравнимо: другой город на том же месте, вот и все.

Узнается только площадь имени Ленина, бывшая Циркульная или Круглая площадь, да несколько старых зданий, да два-три памятника, среди них патеровский памятник Петру. Все остальное внове.

Уходят яры, овраги, круто склонны с бревенчатыми лестницами и перилами, уходят деревянный город.

В гостинице мне достается постель в пятнадцатом номере, в нем шесть человек. На одной постели — отец с сыном, приехавшим на экзамены в пединститут. Рядом — рыбак с набором удочек и спиннингов. Седеющий турист, едущий на рассвете в Валдай. Командированный из Сегежи. На столе — надломленный арбуз с рвущейся изнутри краснотой и «Неделя», разрисованная на полях экзаменирующимся юношей...

Им в дорогу, да и мне в дорогу!

Плыну по Онеге, выезжаю из Петрозаводской губы и вскоре вижу Ивановские острова, о которых ранее знал, — здесь в начале войны фашистские снаряды настигли транспорт с эвакуированными детьми; большинство из этих детей погибло. Покой Онеги, съяного под солнцем, навсегда нарушен этой трагедией. Все окрест молчит, словно в память об этой трагедии. Плычем молча, на горизонте остров — самый большой в Заонежье — Большой Клименецкий. Длина его — 40 километров. Наибольшая ширина — 10 километров.

Когда человеку заранее описывают какое-либо чудо, он подчас опасается встречи с действительностью. А не показался ли она чересчур бледной по сравнению с предварительными описаниями?

Как бы красочно ни описывали Кижи, как бы ни боялся человек встречи с ними, они все равно предстают как чудо.

В книжках и книжных магазинах Петрозаводска всюду открытки, альбомы, справочники «Кижи», можно купить значки, офорты. О красоте Кижей знаешь заранее, будто это много раз слышалось видались во сне.

И вот... За елами, за ними, вместе с ними, облаками, земельно островов возникают Кижи. С каждым мгновением они увеличиваются, приковывая внимание к себе, только к себе. Ведь благодаря им все-все окрест обретает привлекательность. Видение Кижей!..

Ели, зеленые ели кажутся мне Кижами, облака — Кижами. Красота рук творящего человека — Кижами.

кусок гому, кто на месте не сидит,— уверяет одна карельская пословица. А другая ей вдогонку: «Не тот много знает, кто много ходил, а тот, кто много видел».

Итак, важно глядеть. А глядя, важно увидеть...

...Петрозаводск — завод Петра, ровесник Петра. Выходишь с вокзала, смотришь на круто падающую широкую улицу и видишь Онежское озеро. Онего — говорят здесь. Открытое «о» в начале и в конце слова. «Онего!» — произнес я вслух, словно запел песнь, и вдруг подумал: Пушкин своему герою дал имя этого озера — Онегин. Хотя родился тот «на берегах Невы». Онеги! А в народной поэзии — Онегушко! Это звучит по-иному, чем Онежское озеро. Так же, как Нево, как называли Ладожское озеро.

Четверть века здесь не был. Впервые приехал я в февральский Петрозаводск в 1946 году. Бревенчатый, обгорелый, стыдливый. Ряды вертикальных дымов березовой рощицей стояли над крышиками. Лютый мороз обклик и меня. А сейчас лето, август, и пытаюсь вспомнить, откуда я шагал тогда, от какой печки танцевал и где жил. Но никак не могу сообразить. И не потому, что память измывается надо мной. Нет, просто я приехал совсем в другой город.Хочу вспомнить кварталы и отдельные дома, в которых бывал тогда, но никак не могу вспомнить. И это мешает мне воспринимать новое, сегодняшнее. Заметил я давно, что образ появляется всегда охотней на стыке свежих впечатлений с воспоминаниями о давнишнем...

Полагаю на волю случая — и верно. Новые впечатления теснят прошлое, как новые постройки теснят старые, рушащееся день от дня. Уходит, нет, ушла стародавняя Голиковка — прибежище рабочей горы.

Тогда, в 1946 году, я приезжал в командировку — восстанавливать молодежную газету, занимавшуюся с начинавшими авторами. «Иных уж нет, а те далеки». Все новое. Об этом мы говорим с Михаилом Павловичем Сысойковым, давним моим знакомым, потомком, уроженцем этих мест.

Это он в стихотворении «Мое Карелия» сказал:

Была печальюно
И геремычьюо
«Сибирь канадльная
И подстоличная...».

В глазах Сысойкова — отсветы карельских озер. В речи его — неторопливость северянина. Переход от обыденных слов к стиху дает почувствовать: речь течет плавно, размеренно, точно быльяна поется. А скупой жест помогает ей течь. В строках подчас непреднамеренно пропускает время, наше время, его контрасты:

ми. И впрямь был прав легендарно-песенный Нестор, построивший храм и после этого бросивший свой топор в Онежское озеро с словами:

— Не было, нет и не будет такого...

Так мастера, скромнейшие из скромных, могут сказать о себе в особо высокий момент работы, когда она совершенна и когда совершенное внушило смысл о совершенстве.

Так, автор «Бориса Godопула» воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сунки сын»...

Так, Блок, написав «Двенадцать», сказал: «Сегодня я — генин».

Легенда о Несторе живет. Легенда. Но дивная постройка безымянна. Не сохранились имена мастеров плотницкой артели, которую, несомненно, возглавляла одна зодчий. Ему одному, только ему одному и может в мечтах привидеться такое чудо. Это Он велел ставить восьмерик на основной четырехск. Это

в одном месте, предстают передо мной типы северного жилья: «кошель» и «глаголь». Вижу нарядное гульбище, без которого дом — «что мужик без бороды», как тогда говорили. В сарае, как в мастерской настоящего художника. В сарае возникает ощущение каждого-свое труда, а потому и соответствующего быта, помогавшего этому труду, служившего ему.

Памятники старины страдают от времени. Это естественно. Но они страдают также и от «подношений», произведенных в XIX веке. Подумать только: Преображенская церковь была обшита досками, кривля и главки покрыты железом! Покровскую церковь обшили тесом, а внутри оптукали (сейчас эта штукатурка слита, на досках видны следы обивки дранкой).

Наглядевшись на постройки вблизи, отхожу дальше, все дальше. Иду и оглядываюсь, и царящая надо всем тройка главных сооружений поет в пространстве: они то сходятся, то расходятся, играют, переплетаются со всем окружающим и с моими мыслями. И все это звучит — именно звучит — как хорошее пение или органная музыка.

В пространстве то часовенка предстает передо мной, подбочась, то проплыает парусник, то проходит рыбак с удочками. И все к месту, и все нужно.

Так, налюбовавшись окрестностью в надышавшись Онегой, побежки в «Поплавок», что стоит на берегу и прельщает путника девятнадцатью сортами вин и местного улова рыбой. Сквозь неровное стекло окон вижу все ту же трапой. Даже эти стекла не могут снять очарования ансамбля. Он пльвет ко мне. Он пльвет, а путники, с утра осматривающие Кизки, едят так, будто они и строили эти Кизки.

Грудано прощаться. Не выпускаю из глаз видения, ставшего для меня реальностью, откладываю. Пльвы. С каждым мгновением Кизки, не уменьшаясь, а уходя из видимого в видение, из реального в память, упльывают за ели, становятся ими, частью природы. Такой частью, которая внушиает окружающему его красоту и назначение.

Нетронутая природа и след руки человеческой. Вообще след человека в пространстве и времени. Об этом нельзя не думать здесь. В «Калласах», которая именно здесь, в этих местах, особенно близка, сказано об Ильмариене:

Он кузнец, и первый в мире,
Первый мастер он в искусстве.
Ведь он выковал уж небо,
Крышу воздуха сковал он.
Так, что нет следов оковки
И следов клаещей не видно.



Он четверик повелел крыть восьмискатной крышей с девятью главами. Это по Ему замыслу осуществлено без зодчества кривля и трапезной.

Словно бы слышу голоса крестильни, пришедших издалика, делящихся друг с другом новостями, радостью-бедой, любуясь красотой труда своих мастеров. Словно бы слышу гул-говорок, шепот, взглазы... Живое!

Видны в трапезной отметины топора на срубах — вот безымянных подались мастера. Незаметно для хранителей прикасаются к ним, благодаря их.

Главное чудо Кизок — Преображенская церковь. 1714 год. Через пятьдесят лет рядом с ней встала Покровская церковь. Она уступила первой по величине и красоте, хотя в отдалении сливается с ней, льнет к ней и дополняет ее. Поставленная еще через сто лет колокольня ничем особо не примечательна, но полна гордости за своих соседей, распространяющихся на нее свою красоту да и добрых настолько, что взяли ее, как младшую сестру, в свою семью.

Кизки — произведение высокого искусства — это знали и раньше. Кизки — центр свободолюбия Руси, центр восстания русских, карелов, вепсов под руководством Клима Соболева, Семена Костина, Андрея Сальникова. Царизм не обращал внимания на красоту, на благолепие, на народ. В июле 1771 года каратели, собрав повстанцев у Кизской церкви, открыли на них огонь. У самой церкви! Восстание было жестоко подавлено. У его вожаков, прежде чем сослать их на пожизненную катогу, были вырваны ноздри и на лице выжжено: «воз» — «возмутитель».

Газа называет — бусинку на бусинку — новые впечатления, так образуется Кизское ожерелье.

Лазаревской церкви около 600 лет. Часовня из Леликовца. Ветряная мельница (на ней туристы ставят подпись легче, как на заявлениях, отправляемых в бюро славы, или еще легче, как на ведомости зарплаты). Амбара, жилые дома — и Ошнева, и Елизарова, и Сергеева (имена из в отличие от имен церковных зодчих сохранились; ближе по времени к нам). Здесь под открытым небом, собранные

С этих строк перевожу взгляд на своих спутников, возвращающихся после знакомства с Кижами. Подавляющее большинство — молодежь. В спортивных костюмах, в кедах, с гризными, видавшими виды рюкзаками, с гитарами, фотоаппаратами, с карандашами, красками, одни спорят, другие поют, никто не дремлет. Молодые бородачи, девушки с причудливым прическами притихли, они покорены встречей с чудом — с Кижами.

Мон милье бородачи, электромонтеры, физики, лаборанты, ассистенты, очкарики, бродяги, охламоны, кандидаты в мастера, аквалангисты, раньше вы вели себя так, как ведут все пришедшие на гоночное. Вы возмужали. Вы поняли, что нам придется до вас крепко поработать. И вы, не повторяя нас, все же кое-что у нас подсмотрели, подсмотрели важное для себя. Вы уразумели, что каждому поколению нужно если не все, то почти все осваивать заново: землю, металл, небо, красоту. Осваивать и завоевывать.

Так естественно и просто моя мысль от Кижей перешла на вас и вашу судьбу. Да и какое может быть истинное познание природы, человека, красоты, если не обращаться от старицы к новизне, к вот этому сейчас идущему мгновению!..

На летней Онейе парусная эстафета дала еще к тому же байдарки, моторки, аквалангисты. Иду по качающемуся бревенчатому настилу. Председатель парусной секции Эдуард Евгеньевич Кузнецов — высокий, с иронической улыбкой человек — знакомит меня с молодыми людьми с Онежского завода, завода «Авангарда» и других. Идет соревнование. Но нет акватории, все делается легко, душевно, увлеченно. Кто знает, может быть, кто-нибудь из этих молодых спортсменов готовится стать Туrom Хейдердалом. Как знать! Честолюбие — в отличие от тщеславия — ведь, не сразу бросающиеся в глаза, принимающие весьма обманчивые формы. В житецком обращении, в обиходе это очень общительные люди. Открытые, веселые лица, пытливые глаза, деятельные руки. О таких говорят: «свой парень». Одного из них прошу взять меня на борт, прокатить под ветерком. Пауза. На лице меняются понимание, сочувствие, сожаление, решимость.

— Не положено. Вы уж меня... Другой раз...

Ревинью слежу за парусниками. Ветер клонит их — они выравниваются. Гнат — она выруливает. Так что ветер остается в дурачках... В парусах — легкость и древность, мужество и окрыленность. Паруса по-этапно непреднамеренно и навсегда!

Паруса и Кижи при всей неожиданности имеют черты существенного сходства. Это победа человеческой руки над хаосом природы. Это свобода и красота, рожденные трудом.

А между тем вороненое крыло Онеи вздрогнуло, как-то странно накренилось и стало голубо-пепельным, рябым, словно само гладило воду против шерстки, рябым, словно поклеванным дождиками. Мгновение — и сверкнувшее солнце сделало эту рабу золотошапочкой, белой, искрящейся и блесняющей. Парус тонув в этом жидким золоте озера, и только небо очерчивало его стремительный треугольник.

Погода много раз меняется на дно. То свет, то тень. Какие-то исхрины весы колеблются над Онейой. И стрела их как парус: то скота, то туда — по-таки узин знак северных ветров.

Но дождь неизменен. Вот-вот он прорвется на город, на озеро, на всю Карелию. Так и есть. В Кондопогу ему сквозь дождь. Обложной, без видов на прояснение. На въезде в Кондопогу лицу профиль Успенской церкви. Он скорей мерцается, чем видится. Острый серый четырехугольник. Корпуса комби-

ната и гидростанция напылают мощно и в цвете да-же сквозь дождь.

На берегу озера было некогда тридцать крестьянских дворов. Так начиналась когда-то Кондопога. Здесь знают особо важную дату — 26 апреля 1921 года, когда Совет Труда и Обороны под председательством Ленина постановил построить здесь бумагенную и целлюлозную фабрики, деревообрабатывающий завод и электростанцию на протекающей в этих местах реке Суне. Сказано — сделано. Шли годы. В камень, дерево, стекло облекалась человеческая мысль. Потом Кондопога — уже город. Война поворгала его в руины. Город рождался заново. Уже к концу 1947 года целлюлозно-бумажный комбинат дал первую свою продукцию.

Мой спутник, восторженный, пышноволосый, краснолицый Александр Бабкин, работает старшим инженером треста «Кондопожстрой». Его род новгородский. О Кондопоге говорит восторженно: «Каждая третья газета в Советском Союзе печатается на нашей бумаге... — И после паузы: — Наша седьмая машина, которую любовно называют «семерка», дает бумаги больше, чем все фабрики дореволюционной России».

Информацию эту он произносит, как лирику. От него Бабкин плавно переходит к стихам. Они у него пылают густо.

Александр Васильевич руководит литературным объединением при газете «Новая Кондопога». Объединение существует с 30-х годов, со временем Кондопожстрой.

По дороге на Кондопогу мне встретился примечательный человек. Не только рыбак рыбака видит издалека, — книжник видит другого книжника тоже издалека. Леонид Константинович Алексеев знает все, что выходит не только в центре, но и в областях. Подыскивая имя автора в название книги, чтобы опрашивать его. Не тут-то было. Знает. Знает, что за леживается, что ждет выхода. Мало того. Ему хочется видеть Карелию краем книги. Не зря же здесь даже на рынке три книжных киоска и все три работают бойко. Алексеев хочет, чтобы книжные витрины были изобретательно-заманчивы. Художники есть, но еще не умеют делать то, что хочется покупателю.

В Кондопоге на площади перед Домом культуры состоялся традиционный День поэзии. Дождь, как по заказу, дал нам возможность выступить перед собравшимися на площади кондопожанами. Дождь словно отошел в сторону, а петрозаводские поэты и участники кондопожского литературного объединения читали и читали стихи с грузовиком, приспособленного под трибуну. Можно пожелать всем выступающим со стихами такую аудиторию и такой прием. Как только мы закончили, снова пошел дождь. В это трудно поверить, но следует помнить, что прорица в слове с позиций.

Повидал радующую кондопожскую новизну, едем к старине, к всемирно известной Успенской церкви 1774 года. Дождь и сейчас прервал свой бег как бы специально для того, чтобы дать нам возможность разглядеть церковь. Она у самой воды, на холмике, как Аленушка на камушке. Высота, стать, собранность. А как смотрится здесь, именно здесь? Никуда ее не перевезешь. Только здесь, ей стоять.

Отсида мы едем на Кивач. Побывать в Карелии и не увидеть Кивача — можно ли?

Дождь снова пропустил. Громыхает лавина дождя, как бы предваряя грохот водопада.

Приближаясь к Кивачу, все произносят:

Алмазна сыр'яется гора...

И все вспоминают: здесь был Державин. Кто-то говорит цитатного зайца еще дальше.

Старик Державин нас заметил...

А вот и он, Падун. Несколько присмиревший после взрывов 30-х годов.

К Кивачу прирос Державин, к Державину Пушкин, к Пушкину мы. Все оказывается связанным и родственным.

Идет сплав леса по Суне. Стою на мостике и слежу за стволами: их оттягивают багром от плотной запруды, и они летят звонко вниз по течению. Спор воды и дерева. Едко пахнет древесиной. Чему послужит вот эта сосна? А вот эта? А эта?

Дождик льется, сеется, словно брызги водопада, остроньлько летят на нас. Долго еще будет со мной опущение: брызги Кивача — дождевики.

Дорога на квартовский рудник в сторону Шокши. Немиголюдно. Единственный в мире карельский квартит...

Берег изогнут. Скальная порода обнажена в разрезе. Жилы — застывшие волны лавы — от розовой до бурой. На породе — лес. А рядом плещется, играет Онего. Здесь оно особенно синее...

Итак, зеленый, красный и синий цвета. Жизнь живописно — таков поселок квартитовый. Вдоль берега — похожий на торговый ряд, бревенчатый навес, разделенный на клети переборками. В каждой такой клети станок и ящик для сброса отходов. Каменотес вручную добывает камень. Долго, тщательно.

Среди отлично работающих Борис Мишкин, он весь, ему 31 год. Отец его — забойщик в Рыбеке, где добывается днебаас, которым, кстати сказать, вымощена Красная площадь. Рядом, в следующей клети, трудится жена Мишкина. Тоже отлично работающая.

— Давно здесь?

— Да лет этак десять будет... Женился здесь, вот двое детей уже.

— Уезжать не собираетесь?

— Да что вы, отсюда никто не уезжает! К камню пристрастился.

Он разговаривает со мной, но не отрывается от работы. Дух захватывает от движений его споровистых рук.

Междуд бревенчатым навесом и озером стоит ручничная кузница, где производится заточка инструмента: заправка кувалд, законечников, булав, дробление либо кузнеца Исидора Петровича Мутту в отсветах огня. Он с Ладоги. С ним рядом работает ярославец Юрий Александрович Колобов. Первый здесь уже четверть века, второй — двадцать лет.

Онего слышит дыхание кузницы, звон молотов и зубья, взрывы скальной породы, звук вагонеток. Сейчас минуты тишины. Солнечные. Каменотесы обедают. Онежская слежесть снимает едкую запах каменитой пыли. Ничего не поделаешь — этот камень приходится обрабатывать вручную. Но почему же нет автоматической вытяжки пыли? Почему плохо обустроены вспомогательные помещения?

На обратном пути, глядя на Онего, все время думается об этом... К вечеру яростно заработала кузница неба. Словно сотня локомотивов и вздрагивающих коней встали над берегом. Круглые повороты голов, вывернутые шеи, могущие рвать облаков. Все в покое, и все в движении. Вдали сияющее облако — там, видно, дождь. Плыть, плыть, и вдруг там, где было, дождь — радуга. Такой интенсивной и устойчивой — почти на полчаса — радуги отродясь не видел. Слежу за радугой долго: то в нее влетают чайки, то выходит баржа, то маячок плынет. Слежу за радугой, слушая одновременно, о чём разговаривают туристы.

Тут и мини-юбки, и театр на Таганке, и цветное телевидение, и Евтушенко, и клацкевичи энди-фейлут, и еще всякая всячина. Но многие туристы молчат. О, молчание путешествующих, оно арагоценное! И оценить его могут только те люди, которые сами умеют молчать, любуясь природой. В такую пору каждый поэт.

Всякий раз, приезжая на новое место, интересуюсь у местными. Мастера и их работы многое объясняют мне в жизни края. Отец Степана Егоровича Лесонена — печник, родом с Калевалы, с Байбей губы. До армии Степан Егорович не интересовался ни живописью, ни скульптурой. Его интерес к рисунку появился на армейской службе в Иванове, еще до войны. Один из художников гжельской студии преподавал армейцам рисунок. Степан заинтересовался: рисовал и лепил. Его скульптуры выставлялись в Петрозаводске и Москве. После того, как Степан заболел, от скульптуры и живописи пришлось отказался. Он взял с собой в больницу нож там начал резьбу по дереву... Так родилась карельская мииниатюра. Лесонен: на срезе березы он делает все, что ему нужно, и получает бронзы, колы, шкатулки. Плетет из бересты переплеты для «Калевала» — такая одежка книжек очень идет.

— А как болезнь, Степан Егорович?

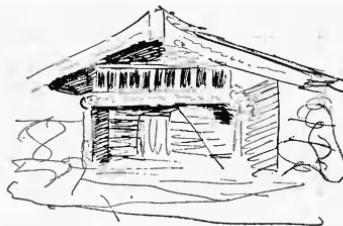
— Когда работаешь, она к черту отступает.

Разводы дерева, природные его линии повторяют облака, волны, паруса, избы. Лесонен подчеркивает этот памек легким прикоснением ножа и лака. Так венец получается неповторимый, как дар самон природы.

Один день недели Степан Егорович проводит в лесу. Грибы, конечно. Но прежде всего дерево. Он вглядывается в облик пней, в образ сухих веток... Разговор с деревом — важная часть работы мастера. Словно это о нем говорится в карельской пословице: «Миммони мыш мечах маноу, шеммони пу вантах тулоу», что означает «Какой человек в лес пошел, такое ему и дерево навстречу». У пословицы глубокий смысл, но не более глубокий, чем самая жизнь мастера. А жизнь эта — поиск, наблюдение, отбор, работа, терпение, контроль, напряженность, любование...

Очерк — это не перечисление виденного. Это скорей осмысливание увиденного. Осмысливать помогают тебе зоркость, если она есть, опыт, умение слушать других. Я напряженно слушал разных людей: старых и молодых, рабочих и интеллигентов. Ульяй Карлович Бикстрем, прозаик, пишущий на финском языке, очень внятно дал мне почувствовать речевую атмосферу края. В кожаной кепке, присемистый, с пристальным взглядом, он говорит мало, с юмором, но за словом чувствуешь дело. Марат Тарасов и Илья Симаненков щедро вынимали из кончиков памяти интересные случаи — живую историю культуры края. Из всего этого, из переплетения рассказов и рассказчиков, рождалось общее впечатление от Карелии. Я следил не только за тем, что совпадало в рассказах, но и за тем, что не совпадало.

Разительный пример несовпадения слышимого и видимого я получил во время пароходной прогулки по Онеге — «Вечерний Петрозаводск». Стоял летний вечер, а голос из рупоров говорил о зимнем утре. Вокруг видна была вода, а он венец о камне, которым облицованы улицы города. Плыла луна, а речь шла о солнечном подлне. Текст был высокопарный и отвлеченный. Я слушал голос из рупора и думал о некоторых произведениях нашей литературы. Разве не случается такое и с ними? Самая жизнь, ее проявления находятся в резком контрасте с текстом книг. Увы, это бывает, к стыду нашему,



В настоящем творчестве видение и словесная ткань должны накладываться друг на друга. Я убеждался в этом не однажды. В том числе здесь, в Карелии.

В войну Иван Костин воспитывался в Сенногубском детском доме, учился в ремесленном в городе Сегеже, там же работал на бумажном комбинате, служил в армии, потом снова встал за токарный станок. Многое повидав, человек стал писать. Дерзай, пробовал, учился в Литературном институте. Но на брал на свой истинный след, когда занялся изучением старин и новизны Заонежья и собирая чистые. Вторая книга Ивана Костина «Золотец» выявляет иногда самоцветное слово, взятое из первых рук.

Тученька затучила.
На горке сено кучила,
Кучила я, кучила.
По ягодке соскучила.

Чистушка инкрустирована в лирику, как березовые резьбы в мозаике.

Заглянула я в глаза
Ей отчимно.
— Повенчаемся, — сказал, —
Повенчаночка.

В книге есть сильные и слабые стихи, но не в том суть: читаешь книгу — и слышишь живую заонежскую речь.

Явственно я увидел, как хорошо сочетается жизнь человека с его творчеством, увидел это, встретясь с Юрием Линником. Это имя мне давно знакомо: Линник был студентом моего семинара в Литературном институте. Начитанный, сметливый, любознательный, он тем не менее задавал преподавателю иногда удивительные задачи. Но вот случай, когда преподаватель может быть доволен. Юрию Линнику 27 лет, он кандидат философских наук, преподает философию и эстетику в Петрозаводском педагогическом институте. Он автор двух книг стихов. Многое переводит, многое пишет, принят в Союз писателей.

Беседы в Петрозаводске велись вокруг книг и авторов их. Юрий Линник убедил меня, что нужно ехать к нему на дачу, в Намуево. И вот, доехав на машине до деревни Косалмы, поклонившись могиле нашего славного филолога академика Филиппа Федоровича Фортунатова, мы садимся в лодку и пересекаем Укпозеро. Через полчаса мы причаливаем к зеленому полуострову, на котором стоит карельская деревня Намуево. Линник оборудовал один из запущенных домов. И как оборудовал! Здесь его мастерская, библиотека, астрономическая обсерватория.

Молодой философ и поэт в микроскоп рассматривает растения и минералы, а в телескоп — звезды и планеты. Он увлеченно рассказывает об очередном противостоянии Марса, показывает звездные карты и атласы. Идем по лесу, он в лицо узнает каждый цветок, каждую травку и называет их по именам.

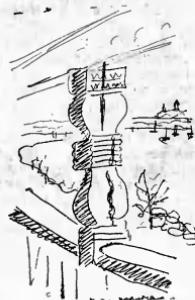
— Вот цикната, сгубившая Сократа.

На проводах множество ласточек. Они хлопотливо изучают пространство. В чем дело? Юрий Линник дает мне пояснение:

— В этот день они всегда улетают отсюда. А накануне собираются все вместе и готовятся.

Поднимайся заинтересовавший меня камень.

— Япма с золотым пиритом, — тут же говорит он.



Мы захлестываем друг друга стихами, и оба чувствуем, что нужно время для того, чтобы поговорить вволю.

Да, учитель Литинститута, несомненно, могут гордиться своим учеником. Молодой человек постепенно в работе, в полете, он хочет многое знать, он хочет найти истинное свое место в мире.

Пусть жизнь моя — мгновение одно
На звездном цицеронате мироздания,
Спасибо вам за всхожек зерна,
За ритмы учащенного дыханья.

Дома я листаю книгу стихов Юрия Линника «Созвучье» и думаю о всхожести душевного зерна, о непрерывности наших усилений, о том, что страна, область, край раскрываются в пейзаже, в речи, в истории, но всего более — в человеке, творящем, строящем себя и своих современников.



РЕМБРАНДТ

Его БОГАТ



Вверху — автопортрет Рембрандта. Офорти. 1635 г.

Долго я не замечал этой женщины — и видел ее и не видел. Она была фигуру, попурри покоящейся на стуле в зале Рембрандта. Я не воспринимал ее как живого, реального человека, хотя и ходил сюда изо дня в день, как на работу. Реальными были полотна, а не их безликий страж. Часами стоял я перед «Данеей», «Давидом и Ионафаном», перед портретами стариков, старух. Эти лица и руки обладали для меня высшей подлинностью.

Я переживал мою первую любовь к Рембрандту: в ней были и наивная одержимость немудрой настойчивости. Мне хотелось узнать тайну его картин сегодня, сейчас, сию минуту. Почему эти лица и руки рассказывают мне несравненно больше, чем руки и лица мужчин и женщин на полотнах в соседних залах? Почему некрасивая и уже не юная Даная волнует сильнее самых красивых и самых юных?

Почему «Пожилой мужчина» сегодня утром особенно очарован и умудрен, точно ночью, когда меня не было в зале, он мыслил и страдал.

Последнее «почему», конечно, самое важное...

Люди на картинах Рембрандта никогда не бывали в точности похожи на самих себя, их лица и руки то и дело выражали новую мысль, иное душевное состояние. За этим угадывалась какая-то не прекращающаяся на ночь, ни днем духовная работа.

Духовная работа... полотен? Точно, затем, чтобы удостовериться: мертвое это или живое — в самом наивном и первоначальном понимании живого и мертвого, — однажды я едва не коснулся пальцем картины, и в ту же секунду рядом со мной оказалась она, безликий страж полотен Рембрандта, мягко остановила мою руку. Я извинился и тотчас же забыл о ней, захваченный новым, неожиданным открытием: мне показалось, что фантастическая башня там, за певчально обнимавшимися Давидом и Ионафаном, напоминает чём-то развалины жестоко разбомбленного с воздуха города. И картина наполнилась раньше современным содержанием. Потом я пошел к старикам, их лица тоже показались мне современными. Я подумал, что изменчивость их выражений, возможно, объясняется богатством воспоминаний. Ведь художник даровал им жизнь, которая уже сегодня измурдается тремя стоящими от Спинозы до Хиршисимы. И мыслы, что люди на полотнах Рембрандта — жили — оплакивали родных, искали истины, умывались новым детям, размышляли о мире, видели добро и зло, наверное, страдали от бессонницы, — три утра, три в кабине, объяснила мне то, почему они по утрам часто бывают не похожими на самих себя. Мне показалось, я вижу сейчас сам ту непрекращающуюся духовную работу, которая составляет суть их бытия, и вот уже лицо старика не то, что секунду назад — о чём он подумал, чому удивился в воспоминании?

...Я опять на неправдой лестнице поднималася сюда из античных залов, с того места, когда с какой-то разрывавшей сердце будничностью открывались мне на пороге лицо старика и лицо старушки, казалось бы, неподвижные в скорби и все же иные, чем я оставил их вечером, у меня перехватывало дыхание.

Женщина, попурри покоявшаяся на стуле, теперь, конечно, узывала меня, иногда улыбалась. Я тоже рассеянно улыбался ей. Она опускала голову, видимо, не желая отвлечь меня от картин даже беглым напоминанием о собственном существовании. Лишь два раза она подошла поближе, — чтобы опустить занавес, когда зимнее солнце черезчур усердно освещало «Давида и Ионафана», и чтобы поднять его, чтобы войти сюда белому дню, когда за окном мела метель. Я мельком увидел ее руки и чуть удивился

тому, что они по-мужски большие. Однажды, когда я, видимо, пересердился и стоял перед картиною, она захотела пододвинуть ко мне стул, но я уловил эту попытку и отоспал ее жестом обратно.

Меня мучила тайна великих портретов художника. Что он видел в человеке? Кто понял в нем?

Рембрандт показывает человека в наивысший момент его опыта жизни, когда тот начинает осознавать, что в мире есть нечто более реальное, чем то, что составляло раньше суть его существования. Это, разумеется, неизъяснимое понимание натуралистических. Речь идет о ценностях духовных, о жизни человеческого духа, как особой, ни на что не похожей реальности. Поэтому, наверное, и кажется, когда подводишь к созданному им, что он изобразил на этом портрете тебя. Ведь то, что совершенствуется в духовном мире человека, совершенствуется и со мной.

Теперь в зале Рембрандта я больше размышлял, чем рассматривал полотна, садился перед особо любимой — в те или иные дни — картиной, думал, записывал. Иногда оказывалось, что утром к моему появлению стул уже стоял там, где я хотел бы сесть. Понапачу я объяснял это тем, что его, наверное, с вечера и не отодвигали, но однажды я твердо запомнил, что вечером сидел перед полотном, изображавшим падение Амана, а наутро «мой» стул — удобный, стариный, когда-то, видимо, музеиной неприкосновенный — стоял у «Пожилого мужчины», к которому я и направился, думая о нем по пути в Эрмитаж. Минутно удивившись этому обстоятельству, я тотчас же о нем, конечно, забыл. А через несколько дней, опять кстати, наше «мое» стул не на том месте, где оставил вечером. И опять, рассеянно удивившись, забыл тотчас об этом. Потом, помню, у меня мелькнула проницательная мысль о телескинезе, когда стало ясно, что стул в мое отсутствие, иначе, путешествует по залу, ожидая меня утром именно там, где я хочу его найти. Углубиться в это соображение у меня не было ни желания, ни времени: я был полностью захвачен мыслью о том, что Рембрандт изобразил на лучших полотнах этого человека плюс человечество, конкретную духовную жизнь плюс духовную жизнь мира — от наскальных рисунков в пещерах до духовного мироздания землянами, несущими дары иных цивилизаций Сократа, Шекспира, Пушкина.

Однажды, когда я в первые же после открытия Эрмитажа минуты направился к «Пожилому мужчины» (меня опять мучила тайна этого портрета), я издала с наивным удивлением не обнаружил перед ним моего стула, а, подойдя поближе, увидел уже с искренним изумлением, что и сама картина отсутствует, ее не месте лежала висела унылая, испачканные ляловыми чернилами бумага. Я уставилась в нее идентически тупо, почему-то начисто забыв в ту минуту, что картина не мемориальная доска, ее могут и унести к реставраторам и посыпать куда-то на выставку. Очнулся я, когда услышал рядом:

— Ее вернут дней через десять. Может, даже через неделю. Понимаете, научная работа...

Я повернула голову: она, женщина, обыкновенно поклонившись на жестком, далеко не музейном стуле в углу, с искрой подошвами подставкой для ног, стягивала полотен.

Был мартовский день с солнцем, снегом, облаками. Весенние утро над Невой, распахнутые дали ударили в царственные окна Эрмитажа, затмевая самовспыхивающиеся полотна. Женщина подошла поспешно к окну, затемнила его жестами, тяжким солнышком шелком, потом вернулась ко мне, поправила на стеме передо мной косо висевшую упаковку бумаги: документ о местонахождении «Пожилого мужчины».

— Может быть, — начала несмело, — посыпите сегодня у «Женщины с серьгами», ее тоже для через

три заберут. — И родственно улыбнулась: — Там и сгубили...

Я увидел, что ей за шестьдесят, пожалуй, далеко за шестьдесят и мало, должно быть, дотаскалось ей в жизни сидеть, ничего не делать, или ходить по земле в удовольствие, без тяжести; особая суровая сорбентность, которая не исчезала, когда она сидела попурю в углу, сейчас стала явственной и не сочеталась с уютом лица, по-домашнему доброго, в башмачких морщинках.

— Вы переставили стул? — задал я пепужинный вопрос.

Она тихо рассмеялась.

— Я уж заприметила: если три дня сидите перед «Аманом», на четвертый — к «Пожилому мужчины». — И добивала серьезно: — День ведя долгий. Сидите и видите, что надо и чего не надо... Вот и вас наблюдала, наблюдала, аж надоели! Изините старуху... Даже, — насмешливо понизила голос, — домой вернешься: будто вы ходите перед мной.

— Послезавтра, наверное, уеду, — ответила я, чтобы хоть что-то ответить.

— Не дождется! — опечалилась, посмотрев на пустую стену. — А вы отложите, можете, они и через четырьмя для вернут, бывает. Вот и с «Ионафаном и Давидом» было, его тогда называли иначе «Давид и Ассесалом»; берем, говорили, на три месяца, а уже через две недели...

— И часто меняют названия картин?

Мне не хотелось, чтобы она уходила.

— Меняют! — подтвердила она с охотой. — Вот та, у которой сидели вы раньше, теперь не «Падение Амана», как когда-то, а «Давид и Uriй». Библейских имен не соединяешь! Вот и играют... — В голосе ее не было ни осуждения, ни иронии, будто говорила она о детях. — Но мне, — сообщила с доброй доверительностью, — нет дела до новых имен. Человек-то, он тот же, хотя Урем его, хоть Аманом назови... Нам с ним от этого ни холодно, ни жарко. Вот и в «Давиде» кто заявляет: «Вирсанни...». Это, — пояснила, — же на Урия, которую полюбил Давид Кто... — махнула рукой, рассмеялась. — А она, сама-то, небось, от радости и не помнит, как ее зовут. И вапого пожилого тетери, может, нарекут по-бблейски. Нет им, должно быть, покоя, что без имени остались. Кому уже в третий раз мениают, а ему и первого не дали. Но я-то называла его буду по-старому...

— Пожилым мужчины?

— Нет!.. — Она растерялась, даже покраснела, будто сорвалась с ее губ что-то нескромное, о чем нельзя полуслухом поведать человеку малознакомому.

— Нет? — удивилась я невольно ее растерянности. Она, улыбаясь, подняла ко мне лицо. И я забыл о бессмертных самовспыхивающих полотнах, забыл о Рембрандте и об Эрмитаже, я видел ее лицо, чувствуя, что нет для меня в эту минуту ничего в мире важнее его. Жила в этом лице человеческая судьба, обыкновенная и странная: с детьми, трудом, войной, надеждами, похоронами, нерастраченным сердцем, одиночеством, усталостью и тоской по работе... Я увидел ее жизнь, понял и то, чем она была, в то, чем она не стала. И вот в ту минуту, когда я, казалось бы, совершенно забыл о Рембрандте, он и дал мне великий урок. Я не побоялся бы, пожалуй, выразить его суть несколько банально, написав: нет в мире ничего важнее человека, который перед тобой. Но от этой будто беззиничной формулы меня отталкивает ее петочность. Дело тут не в важности, а в чем-то более существенном. Понимание человека, пульсирующее уже в самом первоначальном восприятии его, должно быть в воскРЕЩЕНИИ самого лучшего, что было и что могло быть в его судьбе. Понимание, едва родившись, уже должно

быть творчеством. Сознания важности мало, ибо оно возможно и при пассивном отношении...

Она опустила голову, будто бы поклонившись мне, и медленно, медленно отошла, ступая осторожно по дорожному паркету. Я ощущал опять ее суровую согбенность. Она уходила к себе, на жесткий немузейный стул, откуда хорошо виден зал, и раньше, чем она дошла и села и я увидел опять ее лицо, я понял, что мужчины и женщины, старики и старухи на портретах Рембрандта заняты в ее судьбе места тех, кто ушел из ее жизни, и, должно быть, получили от нее имена. И она оттуда, из угла, точно подтверждая эту мысль, улыбнулась в последний раз, потом носуровала, отвела лицо, чтобы не мешать мне напоминанием том, что мы вот и познакомились...

Мне особенно хорошо думалось в тот день, может быть, потому, что угром я увидел первый раз ее лицо. Ночью, уже засыпая, я увидел его опять — оно было погружено во что-то сумрачно-золотое и окутано тенью, точно написал его Рембрандт. Передо мной был портрет — ее портрет, созданный Рембрандтом.

А утром, ворясь в зал, самой первой хотел я увидеть ее. Она по обыкновению понуро сидела, и в ее будничной домашности не было ничего таинственного, самосвятящегося, рембрандтовского...

В тот день я долго стоял перед темным исполнительским полотном, повествующим об окончании странствий несущего сына несчастного библейского старика. Отклонив голову, чтобы размыть онемевшее тело, я увидел, как из коричневого с ударом в черное, казалось бы, непроницаемого сумрака выплыло похоже на гуманное отражение в воде, не замеченное мною ранее лицо. С той минуты, откладывая отъезд с дни на дни, я начал высыпывать там, во время полотна [небытия?], и новые лица очищались, возвращаясь и раскаивая сына. И вот в зависимости от освещения — туман или солнце за окном, утро или вечер, — от места, с которого я выложил их, меня и окаждали открытия. Я видел новых женщин, мужчин, стариков, порой убеждаясь, что передо мной лишь отставки, оживленные воображением, сам не верил себе, ибо минуту назад этоткусок полотна был награжу темене — почное, беззездное, тяжкое небо, — но в ускользающем отсвете настолько явственно жило человеческое лицо, что сомнения исчезали.

Однажды утром я застал перед этой картиной Елизавету Евграфовну (тот день запомнился мне навсегда, потому что вечером был я у нее дома — в маленькой комнате с узким, унылым окном...). В зале тогда было пустынно и тихо, меня она не видела; вероятно, отрешенность минуты и побудила ее утолить любопытство. Поначалу она стояла неподвижно, как изваяние, потом отклонилась, покачала головой, переступила быстро с ноги на ногу. Она, подобно мне, топталаась перед картиной: очевидно, хотела понять, что я видел в ней, вику.

Я вышел из укрытия, лишь когда она вернулась к себе в угол с лицом сосредоточенным и думавшим. Мне не терпелось, конечно, узнать, что она поймала в ускользающих отсветах полотна, но показалось, что загоравшими с ней сейчас об этом нескромно, ведь она полагала, что ее никто не видит, и потому, быть может, то, что она открыла, имеет отношение не к возвращению библейского сына, а к собственной ее судьбе, как имеют к ней какое-то таинственное — я убеждался в этом больше и больше — отношение мужчины и женщины на рембрандтовских портретах.

Поэтому заговорила я о том, что завтра вот — больше откладывать нельзя! — уезжала, и, вероятно, надолго, а даже репродукции хороших с картин Рембрандта достать не удалось.

— Ой! — воскликнула она. — У меня же их полно! От Бориса Михайловича осталось. Что же вы разыше-

то молчали? Да я же не сообразила... У меня даже, — попицзила голос, будто сообщая гайну, — в одном стадом большом томе полная опись рембрандтовского имущества. Там и при картины про стулья с черной кожей... Завтра я выходитна. Да что я самое деле! Ведь живу-то я неподалеку, в Басковом переулке...

Вечером я и пошел к ней в старинный Басков переулок. Было сырь и холодно по-мартовски, падал мокрый снег, дама казалась исполнительницами, чернели, нависали. Я углубился в сумрачный, староветербургский двор, по обшарпанной лестнице поднялся на четвертый этаж и не успел позовинить, как Елизавета Евграфовна отворила мне, точно нетерпеливо ждала, высыпывала в комнате у окна, а потом стояла в коридоре, лоя шаги... Она быстро-быстро, суетясь, повела меня в темноте за руку, но я успел услышать рассерженный жевинский голос: «Нажрался дешевого вина, бестыжий!» Потом откуда-то, видно, из кухни, донесся гул разгневанных и мужских и женских голосов. Мы вошли в маленькую комнату с узким, унылым окном; я увидел широкий старомодный книжный шкаф, репродукцию тициановской «Каноцей Магдалины» на стене, старенкую кушетку и стол, накрытый к ужину.

— Шумят, — устало махнула рукой Елизавета Евграфовна в сторону кухни. — Воюют... Раньше, когда одни мы тут жили, шуму было — ветер за окном или дождь за окно. Борис Михайлович даже музыку дома не держал. В филармонии с Еленой Викторовной ходили... Ничего, — улыбнулась невесело, — покинут, побывкинут, утихнут. Я вам сейчас хорошее покажу. — Она подошла к шкафу, достала старый том и, усадив меня за стол, раскрыла его на любимом месте.

— Вы посмотрите: «медный котел»... «шкаф для детского белья»... «две подушки»... «два одеяла»... — Она радовалась, как ребенок; чувствовалось, что этот будничный домашний Рембрандт особенно понятен ей и дорог: «Грелка!» — воскликнула она. — Грелка! Небось, при камине-то ночь мерз. Это тебе не печь... Вот! «Синий полог»... — По ее лицу, склоненному лицу я догадывалась, что дарит она мне не мертвую «опись имущества», а живое и подлинное, дарит вещи Рембрандта, их касались руки, создавшие и «Давана», и «Пожилого мужчины», и исполненные сумрачного полотно, перед которым она сегодня утром, любопытствуя, невольно подражала мне. — Да что я в самом деле! — опомнилась она. — Читаю вам как петрамбоному. Вы берите, не бойтесь, я не обидено. Я это в память теперь держу... Вечера долгие, листаешь, листаешь. После Бориса Михайловича остались горы. Половину уж раздарила.

— Он художником был? — осторожно коснулся я ее жизни вне стен Эрмитажа.

Борис Михайлович? Да вы садитесь, пожалуйста, удобнее. Он учителем был рисунка. В Академии художеств. Но и писал с натуры летом, для души. Сыру возьмите, печеночного паштета. Они с Еленой Викторовной, женой, жили у меня в доме четыре лета. Нашу деревеню художники любят. Березы, луга... И Борис Михайлович любил. В молодости, рассказывала Елена Викторовна, большие надежды подавала, да руки поморозили в Сибири. А с морожеными руками... Я их ему потом, зимой, гусиным жиром настирала. А он шутит, веселится: «Ну, теперь, Лиза, сам Рембрандт мне не брат!» У него это выходило складно, как частушка: «Сам Ребрат мне не брат». Поначалу я и не понимала, что это за диковина: Ребрат. А на слух хорошо... Я и сейчас про себя больше его, по Борису Михайловичу, Ребратом называю. А в зале уж твержу по-писаному: Рембрандт. Ну вот, жили у меня четыре лета, листащими, улещали ехать сюда с ними павечно. Ты, говорила Елена Викторовна, не домработницей будешь — царницей в доме. Вот и

осталась царствовать. Вы пейте, пожалуйста. И я губы освежу. Это у нас бабы говорили в деревне — освежить губы, то есть выпить чуток для игры сердца. — Что я хотела у вас узнатъ — улыбнулась она через минуту. — Почемъ, не успешь полюбить человека, он уходит? Не любишь — живет и живет. А полюбишь — уходит. На время или навечно. Переживаю ночами: осталась бы у себя в деревне одна вековатая, может, и Борис Михайлович с Еленой Викторовной быын бы живы. Иногда даже думаю: не полюби я — вонны бы не было...

Она раскраснелась, помолодела от водки, и я помутал, что, возможно, ей чуть за пятьдесят, не больше.

— Ну вот, — рассказывала дальше, помертвев лицом. — Раз ночью постучала ко мне Вероника, местная, наша, из сельца Лиз, говорит, твой в Озерах стоит с частью, бежи. Мне и надо было в ту же минуту... А я не хотела пустая, думаю, затосковала, чай, на солдатских сухарях, картошки напекла. Мешок... Вышла, темных-темно, осень. А не рано уже было, утро, часа четыре, не меньше. Озера — это местность от нас верстах в пятнадцати, удивительная, серебряная от мелкой воды. С мешком не широкий побежиной. Вижу, состав стоит открытый, с большими пушками в чехлах. Семафор ему пути не дает. У пушки по солдату. Ну, засеменила я, засеменила от пушки к пушке. Нашла человека постарше, солидного, бывалого. Поклонилась ему. Посадил... Поехали... А я удача боюсь поверить. Мешок обняла, чуть не реву. Дорога-то железная те самые Озера режет. Конечно, состав ради меня не остановится ничего, думаю, изловчусь, картошка не расшибется, а и я не из золота. А тут семафор опять пути нам не дал, и пошел от паровоза комендант ихний, молодой, тонколицый, увидел меня: «Меночинчика? Вон!» «Пожалуй бабу», — застеснился было пожалю. «Это тебе телега», — закричал на него, — или воински эшлю? Ну, опечалилась, побогули хорошего человека. Съехала с мешком наземь и побегла... Верст десять с лихвой оставалось, недолго поблаженствовала у пушки. Бежи, твержу себе, бежи, до солиц успеши, во тыме, тешу себя, не уйдуть. Солнце уж в Озерах полыхало, когда дотащилась вону, ребята в шинелях на воротах листьев лежат. Я к ним: «Антона Ильине не видали?» «Нас тут тыша, — отвечают, — иди». Раза три обежала Озера, пока не дотащилась: ушел с рассветом. Села я рядом с мешком, пододвинула к мне один наклонился: «Не убивайся, — говорит, — мать, ведь не мертвый — живой!» Ну, думаю, умаяла меня ночь, если из девок в матери записал. Может, и к лучшему, что моя не увидел меня старой. А этот утешает весело, нежно: «Ты радуйся, мать, ты ликуй, пока живой!» Раздала я солдатикам печеную картошку и матери истинно себя почувствовала, повеселела даже. А этот утешивает, не устает: «Ты радуйся, ты ликуй...» — Она перевела дыхание. — Похоронную испекла через месяц. После этого, — усмехнулась, — лет пять с лихвой не могла видеть картошки. Из-за тебя, думаю, последней радости в жизни лишилась. — Помочала, посурковела. — Ничего, невеста не жена. Бабы теряли больше.

Шумел тяжко ветер; чернел в размытых пятнах окон старопетербургский двор.

Когда я посмотрел на нее озяя, она улыбнулась: — Пирожок с орехами после водочки любите? Повачеваем с вами досыта, — тихо, ласково расмеялась, постарела. — И будет сам Ребрат нам не брат...

За чаем с чудесным приготом (и когда успела испечь!) она рассказала мне о том, что Борис Михайлович «умер вслед за Еленой Викторовной». Добрые люди устроили ее в Эрмитаж. Повачала она си-дела «в пятом веке, там, где Сократ»; к Рембрандту,

в один из самых теплых залов, перевели ее из-за ревматизма и сердечной болезни. Говорила она и о том, что сейчас «сторожит пятый век» женщина даже большее ее, а там холод, как на улице, и ей, Елизавете Евграфонне, собственно, — может быть, она поменяется с нею, потому что чувствует себя гораздо лучше. «Отогрелась тут, отошла...»

Когда я уходил и мы вышли в переднюю, меня опять поразила ее суровая сорбленность, не сочетающаяся с уютом лица, по-домашнему доброго, в бабушкиных морщинах. «А может, дождется «Пожилого человека»? — виновато улыбнулась она. — Задержали его что-то, мудрют...»

Я шел по Басковому переулку и думал о том, как скрою, бесстрашно и юно она, казавшаяся мне старухой, называла сейчас себя и не в силах...

По возвращении в Москву я не написал повести о Рембрандте и, видимо, поэтому испытывал ту «жажду траты», которая хорошо известна любому писателю, собиравшемусь создать что-то большое и не осуществившему первоначального замысла. Рембрандт жил во мне, жил непрастраченный. Утолить ее не могли и философические раздумья о тайнах его работы. И, на-верно, поэтому углубилась тоска по живому общению с ним: я хотел о него Рембрандта. Когда-то я хотел моего Андерсена, моего Стендэля, — опыт подсказывал мне, что важно задать в самом начале один беспартийный, даже ранивший вопрос п. если тебе на него ответят, то опущишь боль и радость рождения — живого человека, живого понимания между ним и тобой.

Существует более ста автопортретов Рембрандта; по мере течения лет беднее становилась его одежда, сумрачнее колорит и царственное осанка, как и выражение лица. В самом последнем автопортрете, где образ кажется чуть размытым, точно погруженным в воду (реку забвения...), легко узнать того, кто тридцать лет назад сидел с лиху поднятым бокалом вина и с Саскией на коленях. Видимо, последний этот портрет лепила уже непослужные пальцы, а пойдя кажется, что он вообще перекочеврен, что вешество, с которым руки Рембрандта имели дело долгие десятилетия, теперь, когда они ослабли, речишило — как в фантастической истории Адерсена — послужить ему само.

Я долго не решалась задать э том у Рембрандту мой вопрос, легче, милосерднее было бы обратиться с ним к одному из более ранних, царственных Рембрандтов. Но, может быть, те не удостоили бы меня ответом. И я с болью в сердце, подлинной физической болью, однажды осмелилась. Это был четкий вопрос о том, почему ни одна из безмерных утрат не отняла у него — ни на час! — ни вдохновения, ни мастерства? И даже, казалось, усиливалась и мастерство и вдохновение. Умирает божественная Саския, идет с молотка дом, наполненный сокровищами, от картин Рафазия до морских диковин, навсегда уходят успех, известность, богатство, умирает любимая подруга Хендрикса Стоффельс, уходит, не поняв его, или умирают собрата по кисти, умирает и Титус, единственный сын, а он пинет, пишет, ви на двери, ви на час, ви на минуту не оставляя работу, и можно было бы решить, что нет у него сердца, если бы не разрывавшая сердце человечность новых полотен.

Я, разумеется, понимала, что утраты и удары судьбы не могут не углубить художника, а работа, любая, утишает боль. Но ведь тут не удар, не утрата, не несчастье, а потрясающие основы жизни катастрофы, атомное опустошение. Можно сочинять музыку или писать картину под артиллерийским обстрелом, но не в Хирошиме же, когда повисла над городом убийственная молния. Молния термодинамической катастрофы повисла над судьбой Рембрандта, испепелила саму жизнь, а он при ней, при молнии, с непревзойденным

мастерством работал. Рембрандта можно поставить рядом с библейским Ивом и шекспировским Айром, — как и они, он в безумном мире незаслуженных бедствий и невосполнимых утрат обретает му- рость. Но и Иов и Аир — фигуры легендарные, а Рембрандт совершенно реален. И обретает он му- рость не в сокрушениях сердца и не в размышлении, а в работе. Испытывая удары, которые, если мыслить их физически, не вынесло бы ни дерево, ни камень, ни железо, он писал, писал, не останавливая работы ни на минуту. Ему удивлялись, обняли в бессердечии, а он пальцами, ногтями, черенком кисти лепил на холсте детей, деревья, женщины, холмы, стариков... жизнь! Он делал самое «ничтожное» воззванным, в самом «обыкновенном» открывал тайну. И судьба, перед которой отступали и герои античных мифов, была бессильна заставить его опустить кисть.

Я хотел, чтобы последний, «размытый», будто бы написанный не Рембрандтом Рембрандт открыл мне тайну этого мужества.

И он отвеча: никто не умирал, ничего не уходило, не было утрат, была беско- нечная щедрость мира. Это был жестокий ответ. Но, может быть, иной и невозможен на же- стокий вопрос? И не отвяли ли я себе сам, раньше «размытого» Рембрандта, когда писал сейчас, что он лепил пальцами, ногтями, черенком кисти жизнь? Он, осыпавший непрекращаемость бытия, бессмертие, раз- ве мог не ответить: никто не умрал?

Никто? А Саския, ее пухлые детские губы, ее без- аумная полуубылька, ее руки, чуть сонные? Единственная Саския. Разве для любви достаточно бессмертия на полотне? Что стоят вечность, когда засыпают землю любимое лицо!

— А ты видел мое лицо, когда умерла Саския? — ответил он вопросом на вопрос.

— А как я мог его увидеть, разве вы написали себя в минуту?

— Да. Написал.

— Тогда я найду и увижу это лицо.

— Не увидишь! — ответил мне «размытый» Рембрандт, ведя мою мысль к тому, о чем она догадывалась раньше, к развязке одного старого моего сно- вения.

Меня давно занимала загадка одной рембрандтовской картины, ее название действительно, как и рассказывала мне Елизавета Евграфова, менялось: раньше она «Давидом и Ионафаном», но теперь стала «Давидом и Ионафаном». Их меня волновало, разумеется, не то иное сочетание библейских имен, а сама человеческая суть полотна и редкостная для Рембрандта особенность композиции. Мужчина в восточной одежде, с лицом скорбным и замкнутым (мы узаем в нем самого Рембрандта) обнимает второго, судя по телесному облику, более юного, переживающего бурю то, что и вызвало их объятие: разлуку, утрату, катастрофу. Позади мы видим фантастиче- ские очертания башни, наводящие на мысль о же- стоко разбомбленном с воздуха городе, видим венчую Хирисиму. Мужчина, похожий на Рембрандта, стоит к нам лицом — это одно из лучших, самых мужественных и горьких его автопортретов; лица же второго, бурно переживающего горе (или затихнувшего после риданий?), не видно, оно скрыто в тяжелых складках восточной одежды человека, который его беззмездно, отечески бережным касанием рук уте- шает. На моей памяти это единственное из рембрандтовских картин, человек на которой показан так, что лица его мы не видим. Обыкновенно художник пока- зывает нам лицо человека даже тогда, когда по усло- виям сюжета, казалось бы, можно этого и не делать. Вот сын, вернувшись домой после долгой разлуки, па- дает перед отцом на колени, виновато зарывшись в

его ветхую одежду. Мы видим лицо и руки отца, видим и лица очевидцев возвращения, но видим мы и лицо сына, хотя, коленоопроклоненный, стоит он к нам спиной, обважив истертые ступни ног, и мы не уви- дели бы, наверное, лица его, если бы в действительной жизни наблюдали события оттуда, откуда наблю- даем его в музее, перед картиной. А сейчас видим: кисть художника чуть повернула и наклонила голову сына — Рембрандт не мог оставить человека без лица!

Почему же в «Давиде и Ионафане» он пожертвовал лицом того, кто ридает или затих после риданий в объятиях Рембрандта? Почему в этом полотне великий живописец отступил от закона, которому был верен в сотнях остальных?

Картина написана была в роковом для Рембрандта 1642 году, когда умерла Саския. Это объясняет скорбное и замкнутое, мужественно-потрясенное лицо Рембрандта и трагический фон полотна. Но не объясняло мне долго загадки спрятанного от нас лица второго героя...

И вот я понял: если мы заставим чудом его подняться и повернуть к нам голову, то увидим тоже... лицо Рембрандта! Его в торое на этой картине лицо, но откровенно потрясенное, откровенно заплачанное. Суть картины в целомудренной гордости сердца и в торжестве над судьбой. Никто в мире не увидел за плачаного лица Рембрандта — он скрыл его в склад- ках одежды Рембрандта мужественного, умудренного горем. Но эта фигура без лица — все же один из самых потрясающих автопортретов художника.

Теперь я мог ответить на тот вопрос: видел ли я его лицо, когда умерла Саския? Видел. Между нами установились отношения откровенные и ровные, хотя в общении с ним меня ни на минуту не оставляло чувство волнения и нежности. Долгие часы мы беседовали о человеке, он рассказывал мне вещи беско- нечно важные, сыгравшие огромную роль в моем понимании мира. Он помог мне лучше понять окружавших меня людей, а эти люди помогали мне понять еще полнее его полотна: он говорил о нераскрытости, о невыполнимости — в стихи, музыку, любовь, доб- рые дела — большинства его современников, о том, что человек в глубине несправленен богаче, чем на поверхности. По мере развития человечества это раз- личие будет делаться все менее трагическим и надо, чтобы оно осознавалось с каждым веком полнее. Он рассказывал мне о женщинах, которые умерли, не по- любив, или полюбили, не изведав полноты бытия, о поэзиях, не написавших ни одной строчки, и даже о художниках, не оставивших ни единой картины. Он рассказывал о тех, кто не создал и сотый доли того, что мог, о тех, кто не совершил того, ради чего родился. Он помогал мне почувствовать самое существенное в человеке, воспринимая с особой осторожностью его вспретличенность. И я лучше понимал золотой сумрак его картин, их печаль. Он рассказывал мне о сокрушенных рукоятках и погибших полотнах, о раз- битых сердцах и оборванных судьбах.

«Не отвечаешь я Вам, — писала мне Елизавета Евграфова осенью, — потому что доктора положили надолго в больницу. В деревне жила, не болела, босиком по морозу бегала, и лихоманки не липли, а в городе ее час рассосхлась. Я тут в палате рассказывала, как у нас в деревне лечились: поедет самый беспокойный лебединчи, вернется с коробом порошков, ими и питаются, кто от головы, кто от поясницы, кто от жи- вота. А детям это даже в утешу было. Помню, одни у меня заболеют, а четверо остальных туда же лянут, к мистике. На сахаре ее делали, видно, она им и была, как лакомство. Катенька, мениная наша, она померла потом от ужасной кожной болезни, выпала

раз целую бутылку от кашля, помпю, захожу, а она льбится, губы облизывает.

Я Вам не рассказала тогда за водкой и чаем, что после сестры мои старшей, покойницы, пятеро остались, я и растила их, некому было больше, мужик ее с войны не вернулся. Вымажали четверо, разметались, пишут теперь, иногда Андрей пишет. Девкам-то, ясное дело, не до меня, собственные дети пошли. А Андрей шастает по земле, пишет редко, но весело. Я одно его письмо озорное тут в палате читала, так доктор забегал, шумнивото, мол, для лечебницы.

Это сейчас я веселилась, вытигали меня из беды, обласкала, вот и сама людей утешаю, а первоначальнейлось до ужаса.

Перед операцией сон увидела, будто ваклонилась я, а сердце у меня и выпало. Я подняла его с земли, а оно ветхое-ветхое. Я и заплакала над ним, как, аумаю, с этаким дальше жить буду? А утром на столе ободрилась, посмотрела вокруг, вижу, стоят они в белых халатах, молодые, красивы, неужели, аумаю, одну старую ауру не спасут? Помахали на меня, и начала я засыпать, но не заснула и убоялась, что начнут они до полного сна. Говорю: «А ведь я то не успела, нет» — а она рассмеялась весело. Потом укололи меня возве плача, и я начала засыпать понастоящему и чувствуя, наклонился ко мне кто-то, я не удержалась и последним усилием посмотрела на него, на их самого видного доктора, и до того захотелось мне сказать ему что-то доброе, хорошее. А вышло по-дурдаку лицо у вас, лицо, говорю, у вас такое... И заснула, как мертвата. А теперь уже недолго осталось ждать. Выспишусь, и будет сам Ребрат мне брат. Стыдно, конечно, думать об этом, а хочется жить и в зал хочется, к нам...»

Часто с волнением перечитывал я, раскрывая подаренный мной Евграфовой том, инвентарь картины, мебели и домашней утвари Рембрандта — один из весьма немногих дошедших до нас документов, в которых запечатлен и облик эпохи и духовный мир мастера — инвентарь, составленный чиновниками после банкротства Рембрандта и сохранившийся в архиве Амстердамской ратуши. Потом это пошло с молотка за бесценок на аукционе: и картины, и мебель, и домашняя утварь...

Самые ранние строки «инвентаря» относятся к сыну Рембрандта, маленькому Титусу. «298. Три сбачки с натуры, Титус ван Рейна. 299. Раскрашенная книга, его же...»

Но одному из исследователей жизни великого художника не удалось обнаружить работ его сына. Остался гениальный римбрандтовский портрет рисуночного Титуса, самых рисунков нет.

Титус родился в том же доме на Брестрат. После этого умерла Саския. До Титуса она рождала три раза — мальчика и девочку. Оли умирали. Мы судим обмыкновению о семейной жизни молодого Рембрандта по широко известному «Автопортрету с Саскией на колеях», где горят ткани и играет вино, по портрету Саскии в образе божественной Флоры, по «Данас», стараясь не замечать в поздних портретах Саскии и автопортретах самого Рембрандта тех лет теней печали. И это естественно, нам хочется, чтобы в педольную пору жизненного успеха Рембрандта он был беспечен и весел. Но той, казалось бы, беззаботнейшей жизни, были три маленьких мертвых тела. Три — маленькие?! — раны в сердце. Три несбыываемых надежд. И об этом повествуют не портреты Саскии и не автопортреты, а две картины, одна из которых — «Ночная дозор», — казалось бы, не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём мы сейчас говорим. Сюжет этого полотна широко известен: рота стрелков капитана Банинга Кока выступает в поход, кто бьет в барабан, кто заряжает мушкет, кто поднимает флаг:

картина пасища атмосферой воинственной, немного театральной радости людей, чей порок начал уже было отсыревать. Это одно из самых телесно обаятельных римбрандтовских полотен, что обнажалось с чудесной явственностью после недавней его реставрации. Долгие десятилетия оно висело в зале Амстердамской стrelковой гильдии, где топили камни сырьим горфом, и потемнело от дыма, дав тем самым повод и для таинственного названия — «Ночной дозор» и для серии загадок. Недавно под копотью и позднейшини наследники реставраторы обнаружили солнечную силу римбрандтовских красок. Но остались старое название и одна загадка: девочка в толпе вооруженных людей. Что делает она тут, даже в подленье, почему занимает особое место в картине? Это — самое яркое, напряженное по силе излучения пятно: ряд исследователей и понимал ее (до реставрации) как пятое-луч, разнообразный сумрачный колорит. Римбрандт девочкой, уверяли они, озарил ночь. И вот ночи уже нет, а девочка осталась. И с ней осталась еще большая загадка. Почему изобразила ее художник посреди этих людей, не в виде их и не в виде их? Большинство персонажей картины чем-то заслонены, что и вызвало некоторую досаду у портретируемых живых стрелков; люди идут тесно, толкаясь, тело к телу. Девочка же настежь открыта, и если бы это было не выход нарядившихся в военное боргеров, а подлинное выступление воинов в минуту подлинной опасности, то она была бы весьма удобной мишенью. Ее незащищенность в пахнущей порохом (путь театральным) картине раздражительна. Девочка вызывает у меня не опущение загадки, а чувство острой тревоги за нее, за мир, в котором ударить в барабан, оказывается, важнее, чем заслонить, защищить ребенка. Думаю, что картина была решительно отвергнута амстердамским боргерством, ранее баловавшим художника, не только по чисто формальным мотивам (кто-то не похож, кто-то занимает неподобное место), а потому, что Римбрандт с гениальной интуицией великого мастера запечатал бесчеловечность мира, в котором буржуа хотел бы чувствовать себя навечно уверено, радостно и уютно. Это, разумеется, не лежит на поверхности картины, как лежал колорит ночи; самая искусная реставрация не обнаружит тех мыслей и чувств художника, которые он и сам, вероятно, не сумел бы высказать логически стройно. Но существует особая, потаенная логика образа в искусстве — мазка в живописи, — несущая в себе истину о мире... Этой логике Римбрандт был верен постоянно.

Аля меня его полотна на редкость современны. Я вижу в этой, на стежке открытой девочке Аину Франк, девочку Освенцима, Хиромы. Мне хочется, чтобы один хотя бы персонаж «Ночного дозора» заслонил ее собственным телом, но они чересчур заняты собой: одеякой, оружием, осанкой, выражением наибольшей воинственности.

Но я вижу в этой девочке не только Аину Франк. В ней я вижу — уже не мысленно — черты Саскии. Они похожи удивительно — Саския и эта девочка, — как могут быть похожи мать и дочь. Римбрандт и написал дочь, которой у него не было...

Когда Саския в четвертый раз ожидала ребенка, Римбрандт начал писать картину «Жертвоприношение Маноя». В широкозвестном библейском сюжете он увидел, уздал то, что разрывало его сердце печально на надеждой. Ангел, явившийся к старому Маною, сообщает ему, что будет у него ребенок, сын.

На картине «Жертвоприношение Маноя» — три фигуры: старого Маноя, его жены и ангела с нежным лицом мальчика — мы видим это юное, зоренное лицо, хотя ангел и улетает от нас, косо, головой к небу. (Римбрандт и тут остался верен себе.) Это, вероятно, одно из самых личных полотен мастера, что не ме-

шает ему, разумеется, быть в мором искусстве и одним из самых общечеловеческих. На земле и на любом из небесных тел человек будет желать чуда, верить и не верить в него, не успокаиваясь, пока чудо не станет реальностью.

Титус не умер, умерла Саския.

Рембрандт часто рисовал сына, в этих портретах живет ощущение совершившегося чуда. Но я не особенно верю, что Титус в жизни был похож на Титуса рисунка и полотен, хотя бы в той степени, как были похожи в действительности и в живописи Рембрандта остальные люди, которых он рисовал, за исключением больших идейных портретов, таких, как Титус был похож на себя даже меньше, чем они Саския, Хендрикье Стойфельс, потому что на любом из портретов он поразительно напоминает лицом, обликом, телесным сиянием ангела в картине «Жертвоприношение Маноя», написанной для его рождения. Это кажется фантастическим: Рембрандт написал Титуса раньше, чем его увидел. Но фантастика, как и обычно у этого гениального художника, обираетывается реальностью человеческого духа, если попытаться понять ее суть. С самого начала, до рождения, с первых минут надежды, Титус был для Рембрандта чудом и оставался чудом, пока художник, сам в возрасте Маноя не увидел его, двадцатисемилетнего, тоже ожидавшего ребенка, собственного Титуса, мертвым.

Рембрандт писал чудо в образе мальчика, юноши. Портреты Титуса, наверное, самые лучезарные из его работ, они рождаются веселой кистью, выплеснуты из улыбающихся, сияющих мазков. Они повествуют о телесной драгоценности человека. И если испытывать перед ними печаль, то потому, что ощущаешь и ее непрочность, недолговечность.

«298. Три собачки с натуры, Титуса ван Рейна. 299. Раскрашенная книга, его же. 300. Голова Марии, его же».

«309. Старый сундук. 310. Четыре стула с сиденьями из черной кожи. 311. Сосковый стол».

«338. Две небольшие картины Рембрандта...»

Что стало с двумя небольшими — без названия — картинами Рембрандта, с тремя собачками, написанными с натуры его сыном?

«363. Несколько воротников и манжет».

«С новым годом,— писала мне в январе Елизавета Евграфовна,— я уже на работе, мне хорошо, и Вам от души желаю хорошего.

Вошла я в зал, голова закружилась, села, отошла и побрала, в коленях дурнота, а сердцу тепло, настоскалась в больничном покое.

К «Пожилому» подошла, посмотрела, и лицо то же, и руки, будто вчера гусиным жиром из натирали. Урио, покажеди, стариков, и к «Воззванию» потянуло. Пототгасла я перед ним, пототгасла, это у Вас научилась, поелозинь малость по паркету и увидишь во тьме, там, о чем и не мечталось никогда. И я сейчас Антона увидела. Ни разу не видела его в зале, а ту выступила он, посмотрел на меня, но пеммодой, а старый, будто не убили его, а жил, обветшал, как и я, «ничего», говорит, Лиза, «ничего». Дернула я головой, а он и ускользнула, а потом вернулся опять. И что это за диво в темном большом полотне, что посмотрела, пототгасла, и лица выступают? А потом на стуле у себя я подумала, вот не Вы бы, с Вашим топтанием, не нашла бы я его ни за что, а он ждал, видно, «ничего», говорит, Лиза, «ничего, вот и я», старый ужасно, старее даже меня. И темный, темный, печальный.

Потом, конечно, пабежал парод, экскурсанты, а к вечеру, когда публики номеннило, подошла я к Вашей любви, к «Давиду и Ионафану». Вы меня извините, пожалуйста, но пожалела я Вас, когда читала в том Вашем письме, будто второй человек на картине тоже, наверное, Рембрандт, только зареванный, с мокрым, несчастным лицом и, быть может, осталось это лицо на полотне, хотя и не видим мы его сейчас, потому что замазал Рембрандт его потом от гордости серда, нагну кистью голову, чтобы не видать себя. Когда я читала Ваше то письмо, не пойму отчего, не о Рембрандте, а о Вас самим болело сердце. Сейчас подошла к «Давиду и Ионафану» решилась, пойду к одному большому у нас человеку, попрошу просветить полотно, как «Даню» однажды просветили, может, и найдут в подлинности Вашего зареванного Рембрандта, и бы Вам послала рентгенограмму, вот и было бы Вам легче, чем одному.

Мне сейчас хорошо, как никогда в жизни не было. Вечером ухожу, а на сердце радость, завтра вернусь сюда и послезавтра. Может, это и худо, но и с той женщиной, большой, из пятого века, меняться разумела. Разве что сильно заморозят, и она расхворается. Иначе, не судите строго, не поменяюсь. Не могу я без него жить.

А письма Ваша ко мне, если что, лежат в шкафу, где книги. «Ночной дозор» я написала, хороший, большой, девочка на нем, как солнце, я даже зажмурилась от боли, а «Маноя» не оказалось у Бориса Михайловича, да и найду его, не беспокойтесь, погляжу на ангела, и с детства, как церковь ходить перестали, ангелов не видела, забыла уже про них, а захочется теперь увидеть...»

И я не могу жить без Рембрандта и в тот памятный весенний день поехал к нему с вокзала, поднялся по белой парадной лестнице, потом быстро шел через афишиаду коммю с бесценными гобеленами, через залы, где висят Рафаэль, Тициан, Ван Дейк, и с остановившимся сердцем, уже ослепленным золотом «Даны», переступил порог.

Потом повернулась, чтобы поздороваться с Елизаветой Евграфовной, и увидел на ее стуле незнакомую толстуху. Я подошел к ней, осведомился:

— Елизавета Евграфовна выходила? Или опять, — показал рукой на пол, — в пятом веке?..

И услышала:

— Померла. Зимой.

Я стоял у ее полотен, стоял, ничего не видя, забыл вообще о Рембрандте, точно ожидал, что она вернется ко мне, как кней самой в этом зале возвращались те, кого она любила.



А. ДУБИНСКИЙ

КЛАССИКИ И ДЕБЮТАНТЫ



последнее время у любителей музыки и у музыкантов заметно возрос интерес к органным концертам. Можно смело сказать, что такой популярностью орган не пользовался со времен Баха! Известно, что при жизни Баха еще не было изобретено удивительное, всемогущее фортепиано. Существовал лишь его прародит — клавесин: инструмент песенного и негифогого «металлического» звука. Играли на клавесине в основном в малых помещениях — в больших его почти не было слышино. Впрочем, Бах, бывший и великолепным клавесинистом, добивался на нем, по словам современников, эффектов почти немыслимых. В своем Клавирном творчестве Бах предвосхитил появление фортепиано. Кстати, в клавирной его музыке есть места, которые только на рояле и можно исполнить так, как требовал того автор. Мне лично кажется спорными вышеупомянутые попытки исполнять Баха на клавесине: музыканты, делающие это, идут не к баховскому стилю, как им представляется, а назад от Баха, к музейному исполнению. Надо же идти вперед, к Баху. Вперед, потому что Баху было тесно в рамках клавесина. Именно потому и обращались «старые» классики (Букстехуде, Корелли, Гендель и величайшие полифонисты Иоганн Себастьян Бах) в своих монументальных произведениях к органу — мощному, богатому колористическими возможностями инструменту. Инструменту, способному в известной мере спорить с большим симфоническим оркестром.

С появлением фортепиано орган отошел на второстепенное место. Причиной особого тяготения композиторов «послебаховского» периода к фортепианной и симфонической музыке было то, что орган со начала наше столетия был строго ограничен рамками церкви, и писать так называемую «светскую» музыку для органа считалось недопустимым.

Чем же объяснить возрождение органа и повышенный интерес к нему сейчас?

Думается, первопричина — в серьезном, глубинном увлечении исполнителей «старыми» мастерами и в особенности Бахом. Аксиома: нельзя постигнуть масштаба Баха, не зная его органиной музыки, а углубляясь в органиную музыку Баха, неожиданно ощущаешь его предельную современность, многообразие и совершенство, гармонию мысли и чувства в музыке для органа, и отсюда — бесспорное право органа на активную жизнь в качестве соленного инструмента.

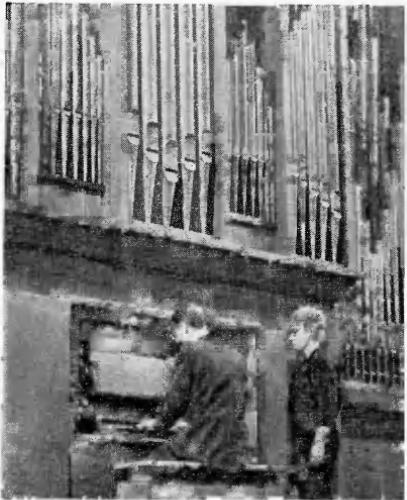
Редко бывает так, чтобы увлечение творца каким-нибудь явлением в искусстве не находило отклика у публики. Пусть не сразу, но это придет. Конечно, мы говорим о публике, имея в виду центелей подлинного искусства (не снобов), так же, как под творцами мы имеем спекулянтов от искусства, идущих на поводу у моды. Так и сегодня: энтузиазм исполнителей захватил и слушателей. На концертах известных органистов аплодисменты неизменно оглашаются как искушенная, так и самая широкая публика. И среди нее — масса молодежи.

Невиданно умножились ряды концертирующих органистов. Все чаще и чаще появляются имена молодых исполнителей на афишах, возвещающих об органных концертах. Среди молодежи уже завоевали себе прочную и заслуженную популярность Евгения Апинчко, Рольф Уусвяля, Леопольд Адгрис, Олег Янченко, Анастасия Брауде, Борис Романов. Среди них особое место у О. Янченко: он не только исполнитель, но много и успешно пишет для органа-соло и органа с оркестром. Интересно отметить, что, помимо класса органа и композиции (Янченко учился в Московской консерватории у Леонида Ройзмана по классу органа и у Юрия Шапорина по композиции), он занимался и в классе специального фортепиано у Георгия Нейгтгаяза. И хотя Янченко — молодой белорусский органист и композитор — не стал концертирующим пианистом, но в его музыке и в органистом исполнительстве чувствуется школа пианиста и педагога.

Но коли речь зашла о современных композиторах-органистах, следует отметить, что со временем жизни Баха создание музыки для органа не знало такого расцвета, как сейчас. Истинным плодородом нового времени в органном сочинительстве стал французский композитор Оливье Мессиан. Сам великолепный органист, Мессиан и по сей день в своем творчестве большое место уделяет органу. Французский композитор открыл новые возможности этого «великанского», по словам Танеева, инструмента, практически доказав, что еще не все его выразительные возможности исчерпаны. Произведения Мессиана — доказательство того, что на органе прекрасно звучит не только классика, но и новая музыка.

Нередко сейчас на органных концертах звучат са-раду с классикой интересные сочинения Хиндемита, Онегтера, Мессиана, а также молодых советских композиторов Тищечко, Слонимского, Янченко, Михайлова.

Об одном, пока еще почти неизвестном молодому композитору и исполнителю его произведений, молодому органисту, я и хочу сейчас рассказать.



Нынешней весной на концерте, посвященном памяти одного из основоположников советской органной школы, Александра Федоровича Гедике, в Большом зале Московской консерватории Александр Волков впервые исполнил две пьесы для органа («Степь» и «Скачки на конях») кемеровца Николая Ауганского. И музыка и исполнение произвели на многих, в том числе и на меня, сильное впечатление.

Александру Волкову 25 лет, он родился в Москве, занимался в училище при Московской консерватории в классе специального фортепиано профессора А. И. Ройзмана. Там продолжил занятия в консерватории, но по двум специальностям: фортепиано и орган. Три года назад он получил диплом с отличием по обеим специальностям и был направлен преподавателем в Новосибирскую консерваторию, где сначала вел два класса (фортепианного и органа). Кстати, органный класс им же и создан в молодой сибирской консерватории. Класс этот тотчас переполнился желающими учиться игре на органе.

Кроме педагогической деятельности в Новосибирске, Волков много и усиленно концертирует — в Новосибирске и в других городах: Москве, Киеве, Риге. Но свою концертную деятельность Волков ограничивает теперь только органными выступлениями. Почеку же талантливый пианист, имеющий все основания для того, чтобы «лагодагом» Фортепианного туте «жечь серда людей», отказался от рояля?

Вот что говорит он сам:

— Меня всегда тянуло к симфонической музыке, а орган приблизился к оркестру. Игра на органе, чувствуешь себя, как дирижер, управляющий превосходным оркестром. Орган — это самый масштабный инструмент. На нем можно добиваться неисчерпаемого разнообразия красок, тембров. И потому, ни на одном другом инструменте нельзя создать такой напряженности в кульминациях. Я стремлюсь непрерывно расширять свой конкретный репертуар — этому с каждым годом приходится уделять все больше времени и сил.

Ответ, пожалуй, исчерывающий: это аргументация музыканта, влюбленного в свой инструмент, отдающего ему все силы и способности, не желающего «распыляться»...

А концертный репертуар Волкова говорит сам за себя: Фрескобальди, Пахельбель, Бах, Букстехуде, Лист, Брамс, Мессиан, Хиндемит. Как видно из этого перечня, молодой органист обращается практически ко всем стилям органиной музыки, с добаховского периода до наших дней. Он играет лишь тех авторов и те произведения, которые были близки его музыкальной натуре. Что же побудило Волкова включить в свои концерты пьесы Николая Луганского? Видимо, они для него не случайны?

— Я хотел исполнить только что написанное новое сочинение для органа, — объясняет Александр Волков. — И при этом познакомить слушателя с музыкой, написанной сибирским композитором. Показать, что в Сибири — а с ней меня связывают прочные творческие связи — пишут настоящую музыку. А главное — эти пьесы написаны со знанием органа, его характерных особенностей. Привлекая меня и вптузованная сторона этой музыки, возможность использовать различные регистры и тембы. Занинтересовал контраст между картинностью первой пьесы и зажигательной внутренней энергией второй.

Да, прав Волков, говоря о картиности (живописности) и зажигательности музыки композитора из Кемерова. Я замысле произведения оригинал. Дело в том, что пьесы «Степь» и «Скачки на конях» объединены с еще одной, третьей, пьесой в цикл под названием «Калмыцкая сюита». Сочинение это родилось у Луганского под впечатлением поездки в Калмыкию. Там композитор с увлечением изучал местный фольклор, прислушивался к особенностям звучания народных инструментов.

И в «Степи» и в «Скачках на конях» есть блестящие темы, имитирующие калмыцкие мотивы. Однако, кажется, еще больше, чем фольклор, композитора вдохновил необычайный пейзаж Калмыкии.

«Степь» — произведение созерцательного характера. Почти вся пьеса звучит на фоне рокочущего оркестранного баса, который лишь изредка умолкает, чтобы возникнуть вновь. Этот рокот сразу заставляет слушателя погрузиться в сумрачный колорит произведения, в причудливые пейзажи таинственной ночной степи. Есть в этой пьесе какое-то скрытое родство с французскими композиторами-импрессионистами — с Дебюссиами в частности.

«Скачки на ковях» — тоже музыкальная картина, но яркая и эффективная. В крайних частях пьесы «всплывающие» акценты и пульсирующий ритм создают впечатление бешеной скачки. Средний эпизод — спокойная, медленная музика. Здесь будто пыль, поднятая конскими копытами, оседает на землю...

„Глубокий, вдумчивый взгляд из под очков и громко- «умные» руки, ложащиеся на клавиатуру или (когда надо) парящие над ней, — все выглядит в Волкове как фантастическую любовь и привязанность к музыке, где умение читать в нотах и звуках сердце и разум. Творческая манера Волкова — широта, вдохновение и культура (хотя только узкомузикальная, и об этом придется поговорить).

Как и многие музыканты молодого поколения, он не замыкает свои интересы музыкой. Изобразительное искусство, поэзия необходимы ему органически, как мыши. И он спет их прекрасно.

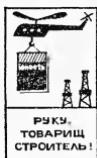
На снимке — Александр Болков у органа.



Д. И. КОРОТЧАЕВ,
начальник управления
«Тюменьстройтруда»
Герой Социалистического Труда,
заслуженный строитель РСФСР.

ВЫСОКАЯ ПРОБА

Фото В. Панова.



Материалы этой подборки подготовлены вмездной бригадой «Юнонти» (см. 2-ю страницу обложки).

Недавно меня спросили, когда я последний раз встречался с молодежью. И я, знаете, задумалась. Вспомнить последнюю встречу было мудрено потому, что она вполне могла произойти и за пять и за десять минут до заданного вопроса. Дело в том, что из четырнадцати тысяч строителей дороги — половины молодежи. Тут транспортные рабочие, путейцы, плотники, каменщики, отделочники, механизаторы. И инженеры, техники, начальники отделов управления и строительно-монтажных поездов. Молодые в большинстве своем люди. И мне, руководителю такого сложного организма, каковым является трасса, волей-неволей приходится иметь постоянный контакт с этим ершистым племенем. Кого обуздывая за неумеренные фантазии, кого поругавши, а кого (это бывает чаще) выслушавши самым внимательным образом. Собственный опыт показывает, что не мешает иногда поучиться у «безузых» деловому подходу или умению ярко и целенаправленно мыслить.

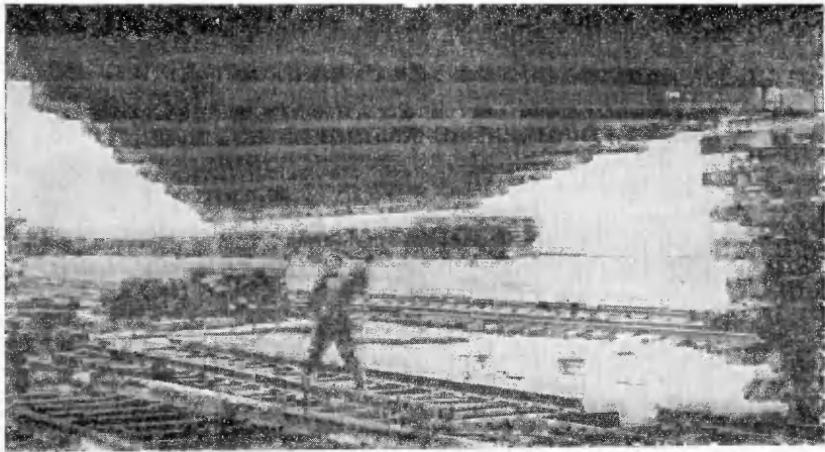
Да и невозможно обять без их помощи и участия нашу строительную площадку. Длинной она в семьсот километров. Объекты — под открытым небом. На одном конце трассы тольятинцы в киосках продают, на другом того и жди разразится пурга... Подвижными, оперативными должны быть люди на трассе. Подвижным, творческим и дисциплинированным умом нужно здесь обладать. Иногда от того, насколько скоро ты сможешь принять решение, зависит судьба многокилометрового строительного участка. Зазевался, упустил морозные денечки — все. Жди, когда подсунут или опять подморозят. Не подвешь за сто верст в гнилую распутницу, скажем, пролетные строения для моста на машине, если даже мощные тракторы бускуют.

Ну, а каждый ли возьмет на себя смелость прорыть от русла реки до объекта двухсотметровый канал, не предусмотренный никакими планами? И единственное для того, чтобы баржи с материалами подходили прямо к строительной площадке, чтобы не терялись месяцы на дополнительную транспортировку грузов посуху.

Иной об этом и подумать побоялся. Здесь нужно уметь рисковать. А вдруг не увидят «наверху» все выгоды такого шага и снимут с тебя «стружку» за использование людей и техники не по назначению...

А где еще, на каком производстве бывает так, как у нас, в условиях постоянной оторванности от Большой земли, когда мастер или прораб справляется не только со своим





**С ФОТОАППАРАТОМ
ПО СТРОЙКЕ**

Несколько мгновений из сотен пройденных километров и многих трудных месяцев...

Снимок вверху: железная дорога начинает свою жизнь здесь, на звено-сборочной базе. «Куски» дороги монтируют загодя.

Внизу: Оля Бастракова, мальчик из бригады депутата Верховного Совета РСФСР Ивана Мариненкова.

прямые инженерные обязанности с восьми до четырех? Он двадцать четыре часа с людьми. Он и судья и снабженец, и организатор досуга, и посаженный отец, и повсюду в самых нанесекретнейших секретах молодых.

Семистомилетровый простор трассы — простор для всяческой инициативы и для выявления деловых и моральных качеств у молодежи. Говорю не только о среднем звене руководства — инженерах, мастерах, начальниках поездов. Сколько угодно примеров теоретического, умного отношения к делу у наших молодых рабочих.

Совсем недавно вся стройка узнала о том, что бригада Виктора Малозина в три раза быстрее положенного по плану построила мост неподалеку от мелкоты Тутас. Тут замечательно даже не опережение сроков, хотя само по себе и это имеет немалую ценность. Ребята бригады Малозина не специалисты-мостовики — вот в чем дело. Они работают на укладке пути, и работают мастерски... И вот однажды обстоятельства склонились так, что без моста на трехстомом километре не обойтись. Задерживается продвижение ударного кулака строителей на север. А специалисты-мостовики заняты на других участках. Не срывать же их с места, тем более что при наших расстояниях любая перегруппировка сил — занятие, как правило, затяжное. Кто возьмется строить мост? Взялась малозинская комсомольско-молодежная бригада.

Большую ответственность возложили на свои плечи эти юноши и девушки. Мост — сооружение постяжное, на многие годы, и малейшая ошибка, прокопает неизвестно когда и чем может еще обернуться... В самые скользкие сроки бригада изучила теорию. И через полтора месяца мост был готов.

Пожалуй, я уже могу сказать, почему половина наших строителей — молодые. Дорога привлекает молодых не только первоходским укладом. Главное — возможность развернуться на пустом месте, позэкспериментировать, пройти с макетом, реализовать знания во всей полноте, обрасти гражданский, профессиональный опыт, обозначить жизненную перспективу. Иными словами, в возрасте, выполняя при этом серьезнейшую государственную задачу.

И процесс этот постоянный. Ежегодно только по общественному призыву, по комсомольским путевкам к нам приезжают тысячи четыреста человек. Другой вопрос — многие ли здесь, на дороге, оседают, связывая свою судьбу с транспортным строительством. Но это в основном — дело вкуса и расчета дальнейших жизненных планов человека. Не всем же в конце концов быть транспортными строителями! Главное остается: проба сил на полигоне трассыносит сегодня массовый характер. А ведь так было всегда.

Обо всем об этом я сужу, опираясь и на ежедневные наблюдения и на свой более чем сорокалетний опыт строителя железных дорог.

Свежо в памяти времена, когда я начинай.

После окончания техникума — распределение. Куда поехать? Что за вопрос! Конечно, подальше, туда, где потруднее. Всемером мы едем на Дальний Восток.

Наша семерка — опора строительства. Мы лезем во все щели, во все прорехи, добиваясь ритмичности и четкости на стройке. Как сейчас помню: я на объекте носил под мышкой книгу, то и дело заглядывая в нее. Тогда частенько приходилось быть (этот в одном-то да еще малоопытном лице!) и мастером, и прорабом, и перепроектировщиком. Ты же специалист. Тысяча вопросов на дно, и не ошибись.

Вывез с первой стройки солидную библиотеку технической литературы.

Или другое — это уже когда судьба забросила меня в Южную Россию. Помню: мой учитель Николай Николаевич Соколов, главный инженер строительства, сует мне в руки таблицу подбора состава бетона, требует: «Подбери такой состав для наращивания мостовых опор, чтобы по мосту можно было пустить поезд не на двадцать восьмой день, а на седьмой». Быть неделью, две. Схлился с бетоноциками. Они уже мчались на бригадный кошм поставил. И вот есть искомый рецепт. Добиваемся. Я не оговорился: именно добиваемся, мы. Их энтузиазм, опыт. Мои знания и, наверное, еще упорство...

Стройка и тогда тянула к себе сноровистых людей. Надо было торопиться. И отсутствие знаний в массе покрывалось природной смекалкой.

Как забыт экскаваторщик Резван Закирович Ягудин! Он работал на допотопном, еще чуть ли не царских времен, «ковровце». Однажды заявляет: «Даю семь тысяч кубов грунта в сутки». У всех глаза на лоб: как так? А он организовал двухсменную работу. Составил четкий график подачи вагонов и действительно дал семь тысяч, в буквальном смысле завалив стройку грунтом. Шестьсот человек едва справлялись на отсыпке земляного полотна.

У рабочего Ягудина я получил первый серьезный урок организации труда.

Иногда думаешь: осталось ли все это живо сегодня? Осталось, живо — умножившись стократ, да еще и пронизано знанием, точным инженерным расчетом. Уже на десять специалистов верховодят на стройке, а тысячи. И в наилучшей организации труда властует не одна смекалка, а главным образом выводы из системного анализа. Иное поколение строителей решает сегодня судьбу дороги.

Я могу назвать и год и то событие, после которого стал качественно меняться облик строителя железных дорог. Год — 1958-й. XIII съезд ВЛКСМ. Комсомол — шеф Абакан — Тайшета. Мы не знали, как умерить многотысячный прилив молодежи на стройку, по инерции побаивались необстрелянных, «зеленых». Мы могли поначалу только догадываться, что эта шумная, веселая, никогда не унывающая лавина принесет в нашу бескрайнюю, многосложную жизнь и энергию, и знание, и нежелание работать по старинке, и острокритический взгляд на дурную организацию дела и на нашу нетребовательность быта.

Они пели:

В жизни раз бывает Абакан — Тайшет...

Наверное, их манили и простор, и красота Саян, и неизведанное. Но они отдавали себе отчет в том, что приехали на стройку не любоваться решительным шагом друг друга, а работать.

И работали. Не первых порах неумело, ошибаясь. Помни, как парень, который мог взять в ум фантастический интеграл, едва-едва орудовал лопатой. Отсутствие элементарных навыков компенсировалось, по народной пословице, не мытьем, так катаньем. Упорством, терпеливым овладением специальностью.

Вспоминается такая картина. Едем по готовому участку пути, на Абакан. Ночь — глас выколы. Вдруг в свет фар дрезины вижу: бродят тени. Мы остановились. Выхожу на насыпь. Ребята и девушки дерном укрепляют насыпь. Я накричал на них сгоряча: нарушение техники безопасности и так далее. Потом все поняли и оттаяли: вот оно, подумал, «катанье».

А когда окрепли мышцы и обретен был навык, включившийся в дело знания, которые до поры, покуда человек приобщался к новому для него делу, остав-

вались втуне. И уже на второй-третий год обычновенный транспортный рабочий рассчитывал силу взрыва или удобное для проходки тоннеля направление и выбирал, инженерно все обосновав, место для постоянного пристанищного поселка. Бывало ли такое в мировой практике строительства железных дорог?

Люди росли, и из них, абаканцев, создавался костяк руководителей и рабочая опора уже для строительства Тюмень — Сургута. Я назову некоторых из них. Это Виктор Фролов, сейчас заместитель начальника управления. Это Олег Шапошник, Борис Кости, Николай Доровских, Александр Лобов, Иван Мариненков, Петр Мозговой и еще сотни и сотни других. Почти все они приехали на Абакан по комсомольским путевкам. Выстроили дорогу и на дороге выросли.

...Помнится, не просто было нам сниматься с Абакан — Тайшета. Насколько, полюбившиеся места. И детище наше — новенькая дорога — бежит где-то рядом. Однако ни один человек там не остался, когда пришло время перебазироваться на малознакомую нам тюменскую землю. Спалили люди в деле!

Меня часто спрашивают: есть ли разница между стройкой на Абакан — Тайшете и на Тюмень — Сургуте? Я обычно уточняю — в людях или в условиях работы? Если по людям, то люди прежние. По условиям — дело другое. Тут разница громадная. И вот эта-то разница заставляет людей Тюмень — Сургута перестраиваться буквально на ходу.

Если у вас есть под рукой карта Западной Сибири, взгляните на нее. Между Оймы и Иртышом — наш главный плацдарм. Соединив Тюмень и Сургут прямой, вы получите представление о местах, где строится дорога.

Здесь болота, болота. Десятки тысяч речек вдоль и поперек. Знаменитое Васюганье.

Эх, сколько раз уже в Тюмени вспоминал я добрым словом абаканская скальные породы. Там тоже встречались болота, но ты знал: стоит только снять полугорячий верхний слой — и под ногами твердь... Здесь не так. А ведь не бросишь рельсы в трясину! Значит, нужно «живилять» в болота твердый грунт, песок — под насыпь. И рассчитать сто раз: проглотил болото десятиметровую «подушку» или помилует. И далее. На Абакане мы не знали недостатка в строительных материалах. Все под рукой — щебень, песок, скальные плиты. Попутные материалы. Нагнис — и возвышаешь.

Здесь так: камень и щебень возим с Урала, лес — с Ангари. И неважкий климат. На Сургута, к примеру, перепад годовой температуры (между самой высокой и самой низкой) — девяносто пять градусов. И трасса идет по абсолютно безлюдным местам.

Тюмень — Сургут строят те же самые люди, что и Абакан. Ну, а каково им здесь приходится строить? Трудно.

А строить надо! Без дороги немыслимо развитие Средне-Обского экономического района, который называют сегодня самым богатым районом мира. Там Мамонтовское, Самотлор, Уренгой и Медвежье. Там нефть и газ.

Подсчитано, что взять эти несметные богатства можно, лишь обеспечив район надежной сетью коммуникаций. Ни воздушному, ни водному транспорту с этой задачей в здешних условиях не справиться. Остается — дорога.

Да, сегодня мы, можно сказать, сломали хребет Васюгана. И приезжающая молодежь разочарованно вздыхает: «Мы-то ехали, думали, у вас здесь трудности. А вы уже успели столовых да яслен по-настроить!»

Успели, дорогие мои друзья. Для вас строили. Чем не мучили бытовые искудицы. Чтобы вы обрашали свои думы не на то, где сегодня поесть горячего или просушить одежду, а активно вмешивались в дело, мыслью и знанием проверяли бы наши догадки, экспериментировали и критически оценивали каждый свой шаг и каждый шаг своего товарища. В таком качестве вы здесь нужны.

Теперь, когда путь лежит где-то на четыреста пятьдесят километров и когда уже ясны некоторые уроки Тюмень — Сургута, думаешь о недоделанном, о том, как порой недоставляло мощного мозгового центра.

Думавших людей было на трассе немало. Но их разделяли сотни километров. Они выполняли каждый свою задачу — рубили просеку через урмы, делали выторфовку, строили таежные поселки. Отрывать их от дала казалось бессмыслицей. А надо было!

Разве мучились бы мы с Еланскими болотами, разве проглотили бы эти болота десятки тысяч кубометров грунта, окажись там, на месте, человек, подскажавший простую, как все гениальное, мысль: «Бросьте черпать грязь. Засыпьте болото песком силами гидротанков!» Сейчас мы это делаем, нашли вместе этот способ.

Разве сидели бы на голодном пайке строители северного плеча трассы, мелькни у кого мысли разработать рабочую схему снабжения объектов материалами по естественным дорогам Васюгань — рекам и речушкам?

А все-таки мысль билась! Помни, как мы споткнулись в самом начале трассы, в трех километрах от Тюмени. Без моста через реку Туру нечего было и думать о продвижении на север, к Тобольску. Мост — это год, как минимум, работы. Терять год? На это мы не могли пойти. Тогда было принято решение использовать старый мост — по дороге к торфоразработкам. Мы взяли «изваймы» этот мост, построили временный обход и без остановки пошли на север. Наш Большой железнодорожный достраивался уже, так сказать, в тылах.

Я не могу припомнить автора этого простого и экономичного решения. Впрочем, автора и не было. Были авторы. Дорога — это творчество коллективное. И особенно дорога в условиях нелегких. Когда правила неминуемы — на мороз, на ветер, на качество грунта, на затопляемость. Всего не перечислишь...

Как видите, у нас было где развернуться и мысли и дела. Да и сейчас работы и пиши для ума предстоиточно. В 1974 году мы должны сдать линию от Тюмени до Сургута. Успеет вырасти за это время новое поколение строителей, которым решать и простые и сложные задачи к северу от Сургута, на трассе Сургут — Нижне-вартовский — Стрежевое.

Пусть и для них дорога станет высокой пробы.

Беседу с Д. И. КОРОТЧАЕВЫМ вел А. ФРОЛОВ.





**С ФОТОАППАРАТОМ
по стройке**

Вверху: здесь будет сооружен километровый мост через Юганскую Обь.

Справа — буровая на Мамонтовском месторождении. Сюда, за нефтью, спешит дорога.

Внизу: один из строителей дороги Тюмень — Сургут, комсомолец Володя Савчак. Он приехал сюда с Украины. Работает он на самом переднем крае — пробуряет просеку в тайге.

Владимир Павлинов

Дорога Тюмень — Сургут с высоты птичьего полета

Водою венецио размытый,
Кошмюю торфяной покрытый,
На нефти плавающий край,—
Дал облететь твои орбиты,
Гремучи, сквозь тайгу пробиты,
Злым ветром надышавшие дай!
Звук дает в уши тяжкой массой,
Тяжелый, как сырья шерсти.
Нас третий час несет вдоль трассы
Тяжелый вертолет Ми-6.
И вижу удивленным взором:
Направлены трущобе в грудь,
Мчат две стрелы полетом скорым —
Лежневка и железный путь.
Подобна узкому потоку,
Как стала, что в летку потекла,
Дорога к северо-востоку
Летит, прямая, как стрела.
Мосты прислонены к обрывам,
А по краям стальной стрелы,
Как будто исполнимым взрывом,
Разъяты в стороны стволы.
Железный путь, стальная ветка,
Дома, думпаки, трактора.
— Вс, так сказать, десант, разведка,—
Сказали нам редактора.
Я знаю дело мало-мальски
И вот гляжу, гляжу вокруг:
В песках, разведки Приаральской
Я все же бывшими технорук.
Но не видал такого, нет!
Да, масштабы не такие...
Какой подъем за десять лет,
Какая техника в России!
Винтились вертолеты в небо,
И крылья тучи бороздят...
Такие в Каракумы мне бы
С десяток лет тому назад!
Лети быстрее урагана
Вс имя света и тепла,
Вонзайся в сердце Васюгана,
Стальная острая стрела!

На Юганской Оби

Дощатый домик. От порога —
Сосняк и торф, тайга и грязь.
Она не самоцель, дорога,
Она с Большою нефтью связь.
За Кондой, за Юганом старым
Хранится мощь твоя, страна.
Зовется «кровью жил» недаром
И «черным золотом» она...
Дыша смело перегородкой,
Алеет лес по сторонам.

— Узнайте, есть ли там поэты,—
В редакции сказали нам.
И вотступил на мостик скользкий,
Спокойно поглядел вокруг
Начштаба строчки комсомольской
Виталий Кононов, наш друг.

— У нас в стране и в целом мире
Нигде богаче нефти нет.
Бей, нефтяной фонтан Сибири,
Которого не видел свет!
Дай нам ценой трудов, походов
Всего за несколько годов
Воздвигнуть тысячу заводов,
Построить сотню городов!
Кипи, работай! От порога
Режь, «Ураган»!¹ и торф и грязь:
Она не самоцель, дорога,
А с будущим прямая связь.
Мыдорожим и днем и часом,
И по-иному нам нельзя:
Нефть — ткани, топливо, пластмассы,
Нефть — наше золото, друзья!
Пусть глушиловушки нам готовят,
Пусть топит плывуном Юган —
Ничто твой ход не остановит,
Тысячесильный «Ураган»!..

Припоминаю дни лихие
И понимаю, где я был:
Я видел юную Россию
В расцвете исполинских сил.

— «Ураган» — тягач-вездеход большой
мощности.

Разговор с Валентином Солохиным, начальником мостопоезда № 15

День солнечен и необычен,
Вот небольшое торжество:
Хоззян мил и симпатичен,
Ну и порядок у него!
Не в такт торжественной минуте
Шепнул приятель мне один,
Что он в Тобольске иль Сургуте
Скупил весь книжный магазин.
Воскресный подень. Светлый час.
Снег смыт, но реки льдом одеты,
— А что, поэты есть у вас?
— Позы? Мы тут все поэты.
В липовом папиронном дыме
Сиди, карандашом шурши?
Поэт не титул и не имя,
А состояние души.
Поэт? Да это тот, скакуя я,
Кто встал за Родину в бою,
Тот, кто умеет боль чужую
Принять к душе, как боль свою.
Разведка — чистота и дружба,
А мы разведчики пути:

Чтоб класть пути, сначала нужно
Мосты на трассе навести.
Поэты? Их не перечислить.
Они кладут мосты вдоль трасс,
По-государственному мыслью
Дорога обучила нас.
Но встанут из болот, морозов,
Тайги, пронизанной пургой,
Шамы, Нефтеюганск, Березов,
И Самотлор, и Уренгой.
А нефтекомбинат в Тобольске,
Мосты через Юган и Обь?
И мостопоезд комсомольский
Врубается в пургу и топь.
И это результат отдачи
Телесных и духовных сил,
Чтоб ярче, чище и богаче
Наш человек советский жил.
Работа душу окрыляет,
С нее споняет лень и жир.
Поэт? Да это тот, кто знает,
Как надо переделать мир...

— Ну, а текучесть?

— Что текучесть?

Я помню всех наперечет:
Мостовики — такая участы,
Кто slab душой, пускай течет!
У нас — рискну ответом смелым —
Текучести почти что нет:
Пришли мы коллективом целым
С дороги Абакан—Тайшет.
Иной увидит недостатки,
Сбежит — и ну давай кричать!
Нам отвечать за неполадки
И за успехи отвечать.
Таких немногого на дороге,
Текут сквозь пальцы крикуны,
Не крикуны, не демагоги —

Нам ирригаторы нужны!
Нужны шоферы, трактористы —
Ждет мастеров стальной колосс.
Нужны поэты и артисты,
Чтоб людям веселей жилось.
Дорога отбирает строго
Людей по ценности своей.
Вот для чего нужна дорога,
За это и спасибо ей!
Текут ничтожные остатки,
Костяк хранит рабочую честь...
— А недостатки?

— Недостатки?

Конечно, недостатки есть.
Не потому ль, буду пророча,
Кляла дорогу битый час,
Грязнила, плака и пороча,
«Свободная Европа! нас?»
И голос вкрадчивый и скользкий
Вещал на целый белый свет,
Что, мол, на стройке комсомольской
И трудно и порядка нет.
«Где туалетная бумага
И где горячая вода?»
Ах, он, рабочий, ах, бедняга!..»
Не огорчайтесь, господа!
Предатель с голосом холопа,
В твоей душе темним-темно:
 Почем «Свободная Европа»,
Мы знаем точно и давно.
И мы мечты своей не скроем,
Мы путь невиданный торим!
И мы уже сегодня строим
Дома и школы рядом с ним.
Великой целью задались мы,
Грядущий день нас окрылил.
И это — день социализма
В расцвете исполинских сил.





НИКОЛАЙ СМИРНОВ,

монтажный пути, руководитель литературного объединения «Магистраль»

КАПИТАН

В январе 1966 года неподалеку от Тюмени высадился десант 269-го строительно-монтажного поезда со станции Сисим на Саянах — знаменитые абакан-тайшеты. Им теперь предстояло строить дорогу на Сургут. Я много слышал и читал о них. Давно хотелось познакомиться поближе. И вот я в Мазурове, в ста тридцати километрах от Тюмени...

На пустыре близ деревни белел новенькими цито-сборными домами поселок с широкой центральной улицей... Так получилось, что приехал я по заданию редакции всего на несколько дней, а потом увлекся размахом дела, людьми и остался в Мазурове на долго.

Оформился на работу лесорубом.

Из отдела кадров меня отправили к прорабу по трассе Лобову. Его нашел в вагончике-прорабской. Склонившись над столом, что-то писал красивый, с мужественным лицом мужчина. Одет был в потертоую кожаную куртку на «молнии». Без лифчиков предисловий заключил:

— В понедельник заступай в бригаду. Спецовку и сапоги получиши на складе.

С тех пор Лобов стал предметом моих постоянных наблюдений. И чем дальше, тем больше я уважал его.

Работа заполняла жизнь Лобова целиком и полностью. Все его касалось: конфликт ли в бригаде, производственные неполадки, разгрузка прибывающих шпал, рельсов. Ему звонили среди ночи, и Лобов, как подобает командиру, без промедления шел будить ребят на внеурочное задание. Около десятка бригад у него под началом, и все на трассовых километрах — сумеют распорядиться каждой.

Нашу тогда отправили в глуши, за Еланское болото. Вот как это случилось. Накануне неожиданно разыгрался буран. Утром поднимаемся — на улице снегу по колено, в нетопленном общежитии пар от дыхания виден и у кого-то стиранные рубахи застыли. Зима

В прорабской спозаранку толкучка ожидающих назначения на работу людей. Лобов за столом, в черной дубленой шубе, совещается с бригадирами. Бровки тут, постоянно чм-нибудь забоченные; Гермогенов со своей дружкой ивановской комсомольской; сурьмы на вид Клочки.

Лобов решает: клочковцы — разгружать рельсы с баржи. Гермогенову срочно в Тюмень — поступили вагоны со притоборными домами. Бровкину — настилать автодорогу, и нам выпадает туда же на помощь. Но как быть с учащимися в вечерней школе? Не на неделю, не на две уезжаем.

— На добровольность, — решал Лобов. — Кто в школе занимается, может отказаться, работа и здесь найдется...

Не отказался никто. «Потом наверстаем...»

через несколько дней Лобов навестил нас в угри-трапециевидных лесами деревенях. Интересовалась работой, бытом, не устали ли от однообразия и отсутствия цивилизации. Мы в голо: «Нет, есть еще порох...» Лобов доволен. В нем ни капли рисковки, начальственности. Сторонний человек не сразу догадается, что этот скучной на слова и жесты человек — прораб, главное на трассе лицо. Лобов тактичен, мягок, никого не распекает, никому не грубит, но, странно, его уважают и побаиваются больше других. Скорей, уважают.

Это интеллигент по натуре.

Он во многом осведомлен, обладая опытом тридцати трассовых лет и знаниями железнодорожного училища, после которого направили в СМП-269, тогда электрифицировавший самую длинную в мире магистраль Владивосток — Москва. Участок под Иркутском. Начинал Лобов бригадиром. На Абакан — Тайшет прибыл мастером. Ему при передислокации поезда на новое место поручили переправить грузы в считавшуюся недоступной для транспорта Сисимскую долину. Лобов справился с задачей.

На Сисиме он занимался гидросооружениями. Летом в горах короткое, холодное, тяжелое дожди. Из-под камней бежит ледяная ключевая водичка. После сильного ливня в Крольческом тоннеле хлынула вода, грязь снесла полотно вместе с рельсами. Лобов, ворвавшись, организовал прочистку засорившихся колодцев. Сам работал по колено в обжигающей воде, валился от усталости. Аварию предупредил.

На Севиси — так окрестили северную сибирскую трассу от Тюмени до Сургута изобретательные газетчики — Лобов прибыл в числе первых. Занимался прорубкой трассы, лишь спустя полгода приступил к главному — путесuity. Строителю-железнодорожнику хорошо известно, что это такое: работа, веяющая дело. Порой мучительная, но всегда увлекательно-праздничная. Путесuity — главный копец Лобова, его привлечение.

— Люблю, когда по уложенным рельсам прогрохочет состав или даже Арезина. Кто не испытал, не помйт моей радости, — говорился как-то.

Такое признание — объяснение труда многих трассовиков, пристрекающих ради любимого занятия неуваженность быта, передвижническую, на колесах жизни.

...Укладку и одновременно звеняюю борсуками начали прям на полотне, вручную из-за отсутствия крана, — винзапно нагрянула зима, и прекратилась навигация. Первый почетный костьль забил Лобов. Легко, точно в репу, вонзил костьль в прокреозотенную шальную твердь, и, возможно, вспомнилась при этом проруба мечта детства — стать капитаном дальнего плавания.

Лобов — сибиряк, с Лены, из села Каучут. Отец работал в кузнице, и мальчуган то наблюдал, как покоряется ударом молота поковка, то купался в Лене



Рисунки И. Бронникова.

и пускал по течению кораблики... Умели они Сашу в далекие края. Стал Александр Лобов капитаном, правда, пути его пролегли не по водным просторам— по сухопутью. Необыкновенный капитан. Всегда первоходец! Такое не каждому по силам, это заслуживала стойкостью характера.

Родовое сибирское происхождение дало крепкое здоровье, а это прочные нервы, сильная воля и много энергии.

Армия и трасса научили Лобова подтянутости, дисциплине. В детстве Иннокентий Лобов внушил сыну верное нравственное направление. Сам погиб под Москвой, но смени на себе оставил верную. Все лучшее от нашего брата-строителя — в Лобове... Ему не раз предлагали стать главным инженером, и всегда он отказывался, считая себя полезной на проработке.

Как-то ночью вытряхивали шпальты с баржи на берег. Дождь лился лил, хлестал по металлической окорюковке плоскодонной громадины. Мы скользили, падали, насквозь промокали, и уже хотели отшашить разгрузку, как в свете прожектора появился Лобов в неизменном своем кожане. С берега на лице ручилась вода.

— Давайте трос на тот конец баржи перекинем, чтоб кран подтянуть лебедкой, а то стрела недостате до шпала.

Вместе с нами принялся тянуть стальной канат. Трос был тяжелый, осклизлый, вырывался из рук. — Разом взмы! — скомандовал Лобов.

Непослушный стальной удар медленно приближался к бортовой тумбе. Захлестнули трос вокруг нее. Дело сделано.

— Порядок! — проговорил удовлетворенно Лобов. — Можно покурить...

Просочившаяся в карман кожаны вода размочила папиросы, и сразу шесть рук протянулось с пачками к Иннокентьевичу. Непогода уже не казалась такой

безысходно-унылой. Мы ободрились, почувствовали себя уверенно...

Особенно навалилось хлопот в предпусковые дни, когда и со звеноизборкой, и с укладкой путей нужно было успеть: именно они решали пуск первого поезда до Тобольска. Зашивали звенья и отправляли их в резерв, соединяя в плесть. Гнали одну такую в полкилометра длиной по разрезу Большесельский. Блестящая от дождя стальная лента изгибалась на поворотах. Лобов торопился по ней в голову движения, ловко, как акробат, проворно на ходу ролики, рисуя сорванные с мокрых шпал и покалечиться.

Через полчаса входные стрелки Большесельского. Протянули сталью плети до конца укладки, вынули ролики, сгрутили их на дрезину. Съезжать когда стали, задние колеса Арезины скосчили с рельсов. Наложили обрезков шпала, поддомкратили ось. Лобов орудовал под нависшей над ими многотонной машиной, готовой в любой момент обрушиться с шаткой опоры.

Но вот готово, разом толкнули дрезину с домкратами, колеса встали на рельсы. Забрались в кабину — и марши. У поселка спешнились. Лобов же уехал на звеноизборку.

Была большая красная луна. В ее жидким свете, фырча, пробусковывая, двигались вереницы прошлеников за день автомашин.

На утро чуть свет Лобов в прорабской. С утра отправят людей на работу, и потом иници на трассе. Хозяйство у прораба большое, беспокойное, ведомостницу чего-нибудь сегодня, завтра оно проявится. И Лобов заранее продумывает, чтоб все в свое время и без промедлений. Несуетлив, но постоянно в действии.

Буквально круглые сутки на ногах.

...Кран забарахлил. Не на шутку встревожился прораб, выхолопатил дополнительный, новый: старый отремонтировали, и теперь оба они маячили стрелами в концах пролета; самосвалы день и ночь возили подкладки из Тюмень.

Наш верный и неизменный шеф наставлял:

— За качеством зашивки следите, ребята. Не ручные тележки — многотонные составы пропускать придется. Чтоб без перекосов.

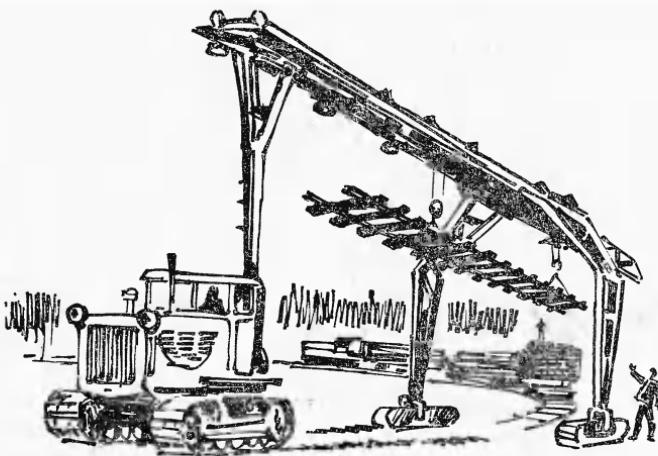
После того, как первый поезд прошел до Тобольска, часть путейцев перебросили севернее, а Лобов остался в Мазурове. Баластировали, выправили пути. Работы много, и она черновая, негромкая. Уже и высокое начальство и корреспонденты перестали бывать... Зима морозная, да если еще ветер, на открытом, возвышенном полотне сквозь низкет. Лобов не отсыпался в прорабской...

Однажды я застал Лобова оживленней обычного.

— Откликнись, — говорит, — у реки Тавды укрепляем, обещают большой паводок, как бы не смыл полотно. Гравии и плиты таскать на вносилках утомительно и затяжно, надумали проложить возле основного пути тупики, чтобы укрепительные материалы прямо на откос техникой подавать.

О недостающих для тупиков стрелах договорился с коллегами по станице Картымская и отправился туда на Арезину, пожертвовав воскресеньем.

Промедли Лобов со стрелочными переводами, получилась бы заминка с тупиками. Он стоял на от-



косе и командовал крановщику, стружающему с платформой плиты: «Вира!», «Майна!». Внизу лежала тихая подо льдом река, но прогр забил ее коварный прав и спасши.

Паводок, точно, выдался небывалый. Я в самый разгар, как находился в Мазурово, со всех сторон оплесненное водой. «Железка» жила, действовала. Курсировали по ней составы товарные, пассажирские, а поутру, как прежде, отправлялись в сторону Тавды путешцы Лобова. Ждал их на путях тепловоз с вагонами-теплушками. Но не враз к нему попадешь. За ночь вода поднялась. Мостки, соединявшие незатопленную часть тракта с полотном, сорвались. В проран устремлялся мощный лавинный поток. Напрасно пытались восстановить мостки: слишком силен напор воды и глубоко.

Появилась лодка. Добровольцы сели за весла, по лодку увлекло в шумящую горловину. Тогда натянули от тракта к полотну проволоку и стали переваливаться, держась руками за проволоку. Толчок — и лодка перевернулась, плытьщие оказались по горло в воде. Хорошо, от берега близко. Лобов сам встал в лодку, сильными тягами направляя ее туда и обратно, пока не перевез всех. На работу поспели вовремя.

Вокруг насколько хватало глаз плескалась вода, подступала к откосам, как бетон закованным. Стихия бессыльная оказывалась против такой тверди.

Еще один экзамен выдержал капитан, сын кузнеца из сибирского села Каучу.

Железнодорожные будни Иннокентьевича продолжаются. Не так давно участок 269-го на Салыме преобразовали в самостоятельный поезд. Немало рабочих и специалистов переместилось туда, поближе к Сургуту. Лобов остался в Мазурово. Кто-то должен довести начатое до конца, в семдцатая втором году отрезок дороги до Тобольска должен быть сдан в постоянную эксплуатацию.

В этом еще раз проявилась лобовская непоколебимость.

Обедневший кадрами 269-й захромал. Несладко приходится прорабу с новичками, к тому же часто меняющимися. Но Лобов старается успеть висоду. Нынешним летом обсевали травой откосы. Нормативная станция виндила гидропесов. Не kleялось. Высевать семена днем не удалось, отложили на вторую смену. Лобов, то ли не желая обременять представителя станции, то ли желаю проследить за работой, решил остаться сам. Но тут я не выдержал: «Поручи своим помощникам! Щади себя». Лобов согласился скрепя сердце, но все равно застрял надолго в кабинете главного инженера. Что-то ему хотелось обсудить, в чем-то увериться, о чем-то поразмыслить с главным.

И вот я снова в Мазурово. Напрасно искать Лобова после работы дома. Конец месяца, и он с мастерами закрывает наряды. Придирчиво проверяет объемы работ, денежные суммы, замечая малейшие неточности...

Уходят мастера. Разговор завязывается о наших товарищах на Салыме; как водится в таких случаях, вспоминаем минувшее, давний штурм на первых сотнях километров.

— Оправданный штурм, — замечает Лобов. — Сколько за это время перебросили народнохозяйственных грузов! Плохо другое — когда штурм превращается в показуху. Перед станцией Демьянская кое-где бросили пути на не доедотыканное полотно. Отрапортовали. А ехать нельзя...

Слушая Лобова, я думал о том, что ему вся трасса не безразлична. К каждому пикету относится с одинаковой болезненностью... Капитан!..



ИВАН
ВАСИЛЬЕВ

ДЕСЯТИ ДВОРКИ

Из записок
корреспондента

ию утром, еще до свету, Михаил Петушкиов поднялся, вышел на придворок. В избах уже оторвали окна, переглядывались через дорогу мирно и дружелюбно, в полосах света искалились занедевшие ветви берез. Морозило сильно.

Михаил из колонки набрал воды. Наполнил до половины железную бочку, стоявшую поодаль за тыном, развел под ней костер. Забилось, загудело пламя. Михаил поправил дрова, пошел к трактору. Достал из кабинки воронку, снял с заливной горловины крышку. Что такое? Почему в горловине лед? Кинулся к сливной пробке — завинчена. Холодный пот прошиб Михаила: в двигателе вода! При таком морозе — троб машине. И растерялся. Впервые в жизни не знал, за что схватиться. Дернул шнур пускача, и резкий, как пуметная очередь, треск вернул собранность и расчетливость действиям. Запустил мотор, прогретый на малых оборотах — может, удастся растопить в системе лед. Залил, видно, недавно: посыпанье пахал пальцами — ледок в горловине промолился. Какая же черная душа замыслила такую подлость? Сделано с умом: все пробки закрыты, вода, замерзая, разорвет блок...

Мотор, еще не чувствуя, что смертельно ранен, четко работал на малых оборотах. Михаилу казалось, что он видит, как в стальных рубашках цилинров сплющат поршни, разогревают настыльную за ночь сталь, и всем своим существом просят спасения машины... Он подставил ладонь под сливную трубку и, как томимый жаждой в пустыне, жадно первых капель. Чуда не случилось. На стенке блока отпотела зменистая паутинка трещины. Все...

Михаил выключил мотор, и тишина обвала придавила его, согнула плечи... «За что?..»

...Тут неизбежно отступление. Михаил живет в маленькой, десятидворной деревне Костино — такие теперь называют неперспективными. И, чтобы понять ночное происшествие, надобно перво-наперво хорошо уяснить, что это за странное явление — неперспективная деревня, десятидворка, пятидворка.

Не столь у нас — речки, болота, леса. Человек здесь издавна селился так, чтобы ступил за порог — и на поле: семья берегла силы для добчи скудного хлеба. Нечерноземная полоса!

Но и другое, уже вроде не зависящее от природной среды — социально-экономические условия сделали нашу старую калининскую деревню неперспективной. И никакого здесь парадокса!

Сорок лет шло насыщение деревни техникой, и настало время, когда количество обратилось в качество. Новое качество именуется прозаически просто — комплексная механизация. Полевод Калининской области уже вооружен энергетической мощностью в 12 лошадиных сил. К моторам — богатым застежкой: льнокартофелеуборочные комбайны, погрузчики, навозоразбрасыватели, аппараты для химпрополки, самосвалы-телеги, копновозы, стогометатели... Еще недавно машина придавалась человеку, облегчала его труд, брала на себя некоторые операции. Теперь она делает все: от запаски до отсыпки зерна в амбар.

Комплекс машин потребовал концентрации производств. Последнее — концентрации населения. Вот и конец малой деревни. Нужды в ней не стало.

Ой ли? Кабы так, чего проще: связь десятидворки в центр, как поступили некогда с хуторами. А то во-преки схемам-планировкам нет-нет да и отроят в «неперспективных» то арочный коровник, то новейшую кошару, а там гладильня — и щитовые домики заголубили.



Рисунки
Арсения Шульца.

Приговоренная ходом времени к спуску, малая деревня сопротивляется. И за ней, надо признать, пока весьма серьезные позиции.

Вот экономическая «карта» одного района — Рижского. 266 тысяч га сельскохозяйственных угодий, из коих 70 тысяч пашни. Разбросаны по этому полу 520 деревень, 450 ферм, сотни складов, навесов, мастерских, поставлены на средний арифметический двор 50 коров, 60 свиней, 200 овец, 10 лошадей. Если с 5—6 тысячами гектаров в хозяйстве успешноправляются 25—30 механизаторов, то за стадом в 1 200—1 500 голов ухаживает сотня животноводов.

Поле обогнало ферму. Можно, конечно, сетовать на промышленность: давали бы столько механизмов, как полеводу, гладиану, не то бы было. Но будем реалистами: и у государства силы небеспределны. Говорят о том, что есть. Фермы отстали. Здесь не то чтобы комплексная механизация, трудно с механизацией отдельных операций. К примеру, скажем, лесение или навозоуборка что-нибудь процентов на 30—50 только и механизированы.

Неравномерность технического прогресса в двух главных отраслях сельскохозяйственного производства создает очень сложную ситуацию, похожую на ту, когда человек правой рукой тянет веревку на себя, а левой — послабляет. Перекос...

Вот и Михаил Петушкову вся стать покинуть деревню-форку Костино и переехать в центральном Коробино. Там — машинный двор, механизированная мастерская, мощный зерноочистительный ток, сушилки, склады... Словом, там его рабочее место. Не годил бы трактор на свой пригородок, не бегал бы за семь верст и за селедкой в саляхом в магазин, и за полукой в контору, и за таблетками в медпункт, и на собрания в клуб. Все, решительно все в жизни Михаила Петушкова за то, чтобы скорее перебраться в Коробино.

Но не может оставить свое Костино жена Михаила. Он хочет и может, она не может. И колхоз всецело на ее стороне. Она доняка. А в Костино ферма.

Ферма — одна из сильнейших экономических позиций неперспективной деревни. Притом надо иметь в виду, что понятие «ферма» — это не только двор и скотина, но и выгон и водопой, и доняка, и пастух — словом, все, без чего не получили молока и мяса. А в пашнях края выгоны — закустаренные, бросовые луговины, способные прокормить стадо в полсотни, от силы в сотню голов. Они-то и диктова-ли до последнего дня размеры скотников — карликовые. Попробуют на таких комплекс механизмов поставить — экономисты убытки записывают.

Трудный узелок. Не знаешь, за какой конец тянуть. Прежде чем разрешить доняке Петушковой пересезд в центр, надо перевести туда ферму. Но предварительно заложить большое долголетие пастбище. Сделать это можно на пахотных землях. Значит, перед этим или хотя бы одновременно — ввести в оборот раскорчевку. И не забыть поставить жилье: на центральной усадьбе свободных рук нет, трудерезы исчерпаны.

Решение проблемы найдено — крупные животноводческие комплексы. Строительство их началось. Но долго еще основную массу продукции будут давать существующие в неперспективных деревнях фермы. А это означает, что некогда Михаил Петушков начнет ставить свой трактор на общем машинном дворе. И терпеть ему не один год неудобства. Но жить ему не спустя рукава — с пониманием времени неудобств, переустроив неперспективную деревню, работая на общее благо. В том его, Михаила, цель... На пути к этой цели и случилось то, с трактором. Люди руками разводили. Не было у Михаила недоброжелателей. Скромный, по-

кладистый, отзывчивый, он не то что говорить — даже не умеет о людях плохо. Поэтому и стал следователь в тупик: ни малейшей зацепки.

Дело следователя — указать в конце концов злодумшенному, наше — доникаться истинной причины.

Размышляя я над случившимся немало, и как-то припомнилась мне одна сценка. Вправление колхоза «Дружба» (колхоз тоже на пашнях, калининских землях) заявлялись трое парней, недавних армейцев. Председатель — сама любезность: сесть предложил, сигареты выложил — курите, ребята, чувствуйте себя, как дома. Звонок девушки-счетоводы вызвал: «Машенька, у нас гости». Через минуту на столе — ваза с фруктами, холодные, с изморозью на бутылке сироп. И парни, поглядите на них, рангом не ниже генералов — на полумятые спинки откинулись, зажигалочками щелкают, ногу на ногу заложили.

А председателя «Дружбы» остро резала нужда: в гараже полгода стоят автомобили без водителей.

— Где служили, хлопцы? По какой части?

— По разрозн. С ленцов говорят, дымок через зорушки пускают, отлично знают, кого тут режет нужда. — Но в общем-то все мы щоферы...

— Не скрою, ребята, щоферы нам — вот так. — Председатель чиркнул себя ладонью по груди.

Они отчего-то замялись. Тот, что побоищей избегая председательских глаз, спрашивал:

— Где машины ставите: в гараже или по домам?

— Ну что вы, гвардейцы, разве мы бедные? В гараже, конечно. В теплом, благоустроенным...

«Гвардейцы» откланялись. Про оклады даже не заинтригнулись. Их интересовали оклады — колеса на собственном дворе. Иными словами, то, что для Михаила Петушкова было в тягость, обладало для других людей несомненной привлекательностью.



Рассказку о Викторе из Михнева, давнем моем знакомом. О, у него на свадьбе был. В качестве репортера. О, тогда, лет двенадцать назад, то было событием — комсомольская свадьба в деревне! Да еще когда молодые с десятилеткой. Признаюсь, репортаж получился так себе, невнятный какой-то, хотя воскликательных знаков было много. Я говорил: «Черт возьми, вы даже не представляете, какую степень промолкли! Это брешь, в которую хлынут другие. Вы начали штурм вековых предрассудков. Наша старика считают, что если образованный остался в деревне, он неудачник. А вы сознательно... Пусть вас не пугает... Во всяком деле нужны первые...»

И вот минуло двенадцать лет. Знал, что молодые живут плохо. Вали работает в конторе счетоводом, Виктор — щофером. Летом его пересаживают на комбайн, и фамилия его мелькает в газете. Прошлым же летом я жил в их семье, и хотя во мне самом горячность, молодости успела смениться трезвой рассу-

АЛТЕЛЬНОСТЬЮ, пришлось кое-чему подивиться и задуматься.

Вечером привезли телеграмму: привезут в отпуск брат Виктора. «Не хочешь из станицы прокатиться?» — спросил меня Виктор. Я согласился. Раньше, еще только пропели петухи, он завел стоящий на придворке грузовик, и мы поехали. Дорогой, известное дело, разговор всегда по-особенному доверительный, откровенный. «Чего мне не хватает, так это сна. Не высыпаюсь летом. Родно встретить — проводить, соседям опять же не откажешь. А в остальном жизнь — не жалуюсь». «Автобус разве не ходит?» «Ходит. До центра. Не хотят на автобусе: волнистого. Шлют телеграммы: истреби. Поднимаясь виши синяя заря — едешь». «Учтись так и не пошел? Ты же собирался...» «Где там! Да и рассудить здраво, что она дает: наука? Адиломированных агрономов сажают бригадирами — восемьдесят рублей, будьте любезны. А жизни, как это говорится, дается один раз...»

На вокзале к машине кидаются дачники. (Бог их знает, какие еще условия им нужны, кроме часа автобуса пойдет, а они пропут!) Виктор отмахивается: не беру. Ему и не положено брать: машина не обрудована. Дачнику это не резон. Дачник настырен, отвернувшись — он уже в кузове. Виктор целуется с семейством брата и не обращает внимания на грохот чмоданов через борта.



Дальше все просто, по заведенному ритуалу: остановка, благодарственное «спасибо», незаметно прятанная рука с привычной к ладони бумажкой. Только та и разница, что теперешний дачник не мелочится. Мы останавливались раз десять...

Вечером была застольца. Пришел тестя — мужик из тех, о которых говорят: в годах, но еще зуб. Пришла двоюродная тетка Мария, пенсионерка, но исправно, изо дня в день выполняющая наряды. Забежал приятель Виктора — тракторист. Хозяйка дома (вернее, бывшая хозяйка, потому что уже уступила права молодой) Анна Васильевна, скромненько приткнулась на уложечке, с умилением глядит на рослых сынов. Ей, солдатской вдове, поднявшись пятерых, только и радости осталось — умияться на детях. Детишек она счастлива: все вышли в люди. Четверо в Ленинграде, пятый дома. Не знаю уж, по добруму ли уговору или по жребию остался в деревне Виктор. Об этом не говорят.

— Сколько же сейчас в деревне зарабатывают? — понтересовался брат-ленинградец.

— А ты сначала доложи о своих доходах, — посмеивается веселый Вася. — Потом сравним, чья перетянет.

— Если говорить в среднем, рублей по двести выходит. Сейчас новую линию отдали — премиальных сто пятьдесят выплачиваются.

— Не густо. Пожалуй, перетянем, если все до кучи собрать. Как думаешь, Вить, перетянем твоего братана, а? Я тебе, к примеру, одну статью назову: колеса. Что это такое? Ха-ха, вот чудак. Ты на чем сюда приехал? Вот то-то. У Витки автомобильные,

у меня тракторные. В деревне нас двое, колесных. Собираем!

Обогатели, это правда. На поле селяку видел, без колеса валится. А мы на заводе сверхурочно заказ для села выполняли. Так обогатели, что мыслями раскладывается?

— Ты этим нас не кори, братан, — нахмурясь, недовольно сказал Виктор. — Мы труженики. За порядком смотреть начальства хватает.

— Нашли разговор для встречи, — погасил искру спора чуккий тестя. — Наливай, Битя. Пришло время и мужику позвольть роскошь. Видишь: пятизвездочный, армянский...

Начинался загул. Я покинул застольцу. А Вася так и не дали подсчитать доходы по статье «колеса». Им это неинтересно, потому что знакомо.

Я в самом деле не видел, когда ложится и встает хозяин. По утрам замечал следы почтой деятельности на дворе: ваз сена, свежие с лесопилки доски, лесины-короткомеры. Сваливалось все как попало — приберется потом, в потемках, ибо добывалось урывками, за счет сна, не в ущерб колхозной работе. Иногда, уже лежа в постели, я слышал голоса на придворке, у грузовика. Женский просил: «Витенька, договорилась сестра размолот, враз поросенку нечего дать. Будь настолько добрым, захвати утром. Немного, мешочка три...» Или: «Сыночек, выручи старуху, аровец наго говяли гости, а привезти не на чем. Не иди с такою малостью к председателю, да и где его поймаешь?...»

«Добрых тут души», — думал я о Викторе, — никому не откажешь. Но однажды проснулся от глухого, сдерживаемого плача. Сквозь фильтрчатую дверь услышал донельзя усталый вздох: «Не кончится у нас добром. Нет монх сна!». В ответ — пьяное бормотание: «Ну, чего разномыслил? Ну, угостили. Я люблю добро, люди — мне». И вскрик души сквозь слезы: «Разве это добро? Ты от воды не просыхаешь...»

Стало стыдно за свою высокопарную речь, ту, на свадьбе: «Какую струну проломили!» Ничего они не проломили... Пороху не хватило. Как только обнаружились временные несообразности и трудности перестройки, запевелись в людях времлющее от прежнего хозяинчика, потянулись иные к нетрудным доходам «колесной» статьи.

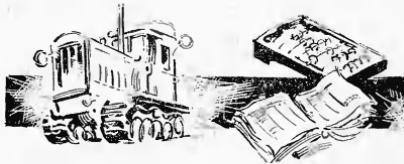
Но характер хактеру — рознь. У коммуниста Михаила Петухова тоже была «колесная» статья, доходы от которой, знаете, — без сорока рублей три тысячи. Получены они, правда, несколько иначе. И расходованием тоже.

Вот как было дело. На партийном собрании обсуждали новый, еще восьмой пятилетний план. Говорили о личной ответственности, о вкладе каждого в пятилетку. Михаил — он не любитель речей — с места сказала:

— Прикину я тут про себя. Думаю, за пять лет можно скономить на ремонтах, техуходах, ну, еще на горючем столько, что должно хватить на новый трактор. Словом, берусь.

Предложение сумели оценить. Началось соревнование под девизом «Сэкононим на новую машину». Оно то вспыхивало, то затухало, а кое-где и вовсе было забыто: пять лет — срок долгий, но лицевой счет Петухова исправно вел колхозный механик Николай Ткачук. Он и повествует в свое время: «Есть трактор! Машину прямо с платформы пригнали на базу и принародно вручали хозяину».

Я не был на той церемонии и не видел, как принял персональный трактор Михаил и как отнеслись к этому его товарищи. Я приехал в колхоз несколько днями позже. Нашел Михаила у скотного двора, он в вагончике перевозил с фермы на ферму ко-



ров. Забрался к нему в кабину и с репортерской настырностью стал допытываться, как и что. Машина легко шла через суметы, Михаил только поглядывал, не качнуло бы вагончик. В кабине было просторно, тепло, обзор хороший, по скрипывала новая обивка сиденья — пахло не соляркой, а лаком, дерматином, металлом — сложных запахом заводского конвейера. И удивительно покойно лежали на рычагах руки тракториста. Я как-то невольно, не знаю даже с чего, сравнил эти руки — и те, на баранке автомобиля, Викторовы. Убейте меня, не смогу объяснить разницу. Видел ее, чувствовал, но не могу описать. Может быть, неожиданное движение, которым мятая бумажка перенималась с одной ладони в другую, может, некоторая согнутость, свойственная сельским шофёрам больше, чем трактористам, может, едва заметное дрожание пальцев, говорящее о некоем пристрастии хозяина, отмывали те руки от этих...

По разным формулам жили Михаил из Костина и Виктор из Михнева. У первого она выражается так: машина — колхоз — я, у второго укорочено: машина — я. Выпадало главное звено: богат я общественным богатством, мною же создаваемым. Вот и столкнулось одно мировидение, миропонимание с другим. Не потому ли прорушили ялтарской морозной ночью Михаила Петушкиова, дабы не вышли?

Трудно, сами видите, перестраиваться пеперспективная деревня. Перецелились здесь тут и экономические, и социальные, и праствственные проблемы. Разрешимы они, безусловно. И успех дела прежде всего в людях — в сознании и тысячах единодумцев Михаила Петушкиова, черпающих силу в крестьянском подвиге своих отцов и матерей.

Не на пустом месте созидается новая калининская деревня.

Там, где Синева вливается в Волгу, на покатом второгорье, на старом Торопецком тракте стоят Кокошкино, небольшая, дворов на двадцать, но далеко известная деревня. Слава ее — в высоком кургане с белым обелиском. Спроси любого, кто сражался под Ржевом, — первым делом назовет Кокошкино: страшные тут слыши боя. Еще известно оно в окресте старицкого городищем Жилич, еще — великолепными белыми рощами вообще красотой верхневолжской неописуемой, еще — миллионным колхозным доходом. А было тут...

...Евдокия Матвеевна Никольская поднялась на пригорок, с которого должна была открыться родная деревня, и ничего не увидела, кроме пустого, изрытого траншеями, оплетенного колючей проволокой поля.

Она отыскала то место, где стояла ее изба, сняла с плеч котомку и села на бугорок вытаившей земли.

— О чём задумалась, Дуня?

Она приложила руку к глазам, взгляделась. На дороге, опираясь на палку, стоял седобородый старик. Она узнала его: Иван Иванович Медведев из Люпина.

— Здравствуй, Иван. Возвернулась вот, сижу.

— Думаешь, как жить начинать?

— Да, как жить... Много лет этой земле не родить хлеба. Помнишь, после гражданской? Годов десять в силу входили. Так разве ж то сравни с теперешним? Живого места на земле нет.

— Ничего, Матвеевна. Мы начнем, а там, глядиши, подмога придет. Мы в Люпине уж колхоз образовали. Председателем меня поставили.

— А у нас и председателем не из кого выбрать, одни бабы оставались, да и тех что-то не вижу.

Отвела за разговором душу, поднялась Евдокия Матвеевна. Захотелась от усталости воды волжской напиться.

Спустилась на лед, думала ладошкой водицы зачерпнуть из воронки, а там... сухо щинельное. Струпнула весенняя вода, шевелил сукно. Жутко стало...

Идет старая женщина по пепелищу. Вот над бугром дымок веется: ага, кто-то уже обкисвается. Спустилась по ступеням, откнула рядко, повешенное вместо двери, — ничего со снегу не видать.

— Кто тут есть?

— Баба Дуня! Здравствуй!

— Долелась. Чую по голосу, вроде ты, Кузьмовна?

Поприпыхали глаза к полумраку, узнала Александру Кузьмовну Цветкову, Марью Павловну Уткину, Ольгу Ивановну Петрову, Александру Смирнову. Все солдаты, с двумя-тремя ребятами каждая.

— Оберегайтесь, ребят, бабы. Железа всякого кружом... Не ровен час... Так с чего ж начинать станем?

Ольга Ивановна Петрова, она постарше других была, сказала:

— Тебе, Матвеевна, командаовать. Раньше звеньевой была, берись сызнова, руководи.

Поплыли женщины в обход, принимать колхозное хозяйство: что же оставил им война?

Жмутся тесной кучкой к тропинке, ослипли обходя каждый предмет. Одеты кто во что: кто в шубу, кто в ватник солдатский, кто в пальтишку, до дыр протертую. На ногах и валенки, и лапти, и ботинки с портняжками. Хуже, чем погорельцы, обездоленныевойной солдатки. На голом месте колхоз собираются ставить, хлеб сеять и ребят поднимать.

Печку уцелевшую нашли. Стоит голая, черная, сиротликая труба в небо. И то радость. Без печки ни обед сварить, ни хлеба испечь. Вот и работы на первый день: укрыть печку, убечер от дождей.

Потом сарай без крыши увидела. Борову солнце вытаило из снега, лопату санерную подобрали...

Сохранился акт приемки, написанный рукой председателя колхоза имени Шестого съезда Советов Евдокии Матвеевны Никольской. Вот он:

«На девятое апреля 1943 года в колхозе имеется:

плугов конных	— 2
борон простых деревянных	— 3
борон «зигзаг»	— 5
собрано мешков	— 42
собрано хомутов	— нет
собрано веревок	— 2
собрано денег	— 860 рублей».

С этого и начинали.

Сколько забот легло на старые плечи Евдокии Матвеевны! Встала она рано, до солнца. Идет на поле поглядеть: не пора ли пахать? Это только так говорится: пахать. Вся надежда на лопату. Вчера установлены нормы: две сотки на человека. Посчитали всех наличных «пахарей» — в день до гектара можно сделять. Сегодня первый выход.

Вернулась в землянку, взяла круглый, принахливающий гнилью хлеб, разрезала на пятнадцать пакетов, посолила — «пахаря» на обед. Последние уцелевшие в яме запасы. А чем завтра кормить?

Совсем разбились сапоги. Ходит председатель босиком. Днем — на людях, в хлопотах — стихает душевная боль, а ночами не может заснуть. Трое у нее на войне...

Днем рядилась с дядей Ваней — лавину через Сибирь сделала. Дядя Ваня давно на восмойдесят пошёл, но кто ж, кроме него, сообразит, как лавину поставить.

— Пиши, председатель, полторы сотни трудодней. Дело, сама видишь, квалифицированное.

— А не много ли, дядя Ваня? Растряхнём трудодни, а поле-то еще не засеяно.

— А уж пора бы сеять, лист на березе в конёйку.

— Сама вижу: пора. Пятьдесят трудодней запишу тебе за лавину. Только уже на совесть делай.

— Ну ладно. Пятьдесят так пятьдесят. Все равно до расчета не доживу. Дыхание. Дуя, тяжелое стадо, ноги немеют...

Только отошла — почтальона встретила:

— Письмо тебе, тетя Дуя.

Вскрияла конверт, да так и повалилась на землю. Умер от ран Сашенька. Дед Иван прямо в ушанке воды из Сибири принес, смочил ей лицо. Поднялась, села, а слез нету. Закаменел в груди.

— Ты поплачь, Дуя, — уговаривает дед. — Баба плачет должна, от этого ей легче.

Так ни слезинки и не пролила. Взяла луконько, пошла сеять...

...И сейчас стоит на краю Кокошкина маленький домик с верандой, в котором живет старая женщина, возвращавшая жизнь на этой земле. Белые рощи березовые, что опоясали деревню колыблем, она сберегла, не дала распахать плугом. В войну их посыпал ветер. Стоят они, как память о войне, о ее синах, о тех ста сорока семи мужчинах, чьи имена выбиты на камне у колхозного клуба.

А совсем недавно на поле за рощей, на то самое, что первым делом вспахали лопатами содатки, приехал молодой человек в городском костюме, долго стоял там и все смотрел, смотрел вокруг. Рисовал что-то на бумаге, фотоаппаратом щелкал. И уехал. Вскорости опять заявились. На машине. С ними другие люди приехали, вынесли из машины обернутые бумагой картоны, расставили в клубе. Собралось народу много, молча дивились картинкам, чертежам, не совсем понимая, что к чему. Молодой человек стал объяснять.

Был на том собрании и ни с чем не сравнимую радость испытал. Глядел на скромного, с тихим, застенчивым голосом городского парня и думал: «Как сумел ты постичь душу людской? Ведь впервые здесь, а выразил на своих карточках все, о чем думают они, за что беспокоятся...»

На карточках — будущий сельский город. Он не похож ни на что существующее, все в нем новое: и планировка, и жилые дома, и общественные здания, и архитектура, а главное — он так вписан в окружающую природу — в белые рощи, в плавные изгибы Волги и Сибири, так сочетается и с древним городицем, и с высоким обелиском на холме, и — это уж настоящее диво! — с нетронутой деревней Кокопкино, что все собрание, молча пережив восхищение, единодушно подняло руки: да будет!

Автора проекта, комсомолца, архитектора «Калкингражданпроекта» зовут Виктором Шумовым. Спасибо тебе, Виктор! Только, знаешь, найди где-нибудь местечко, отовсюду видное, и выбирай на бетоне т'от акт приемки колхоза от войны. «На 9 апреля 1943 года в колхозе имеется: плугом конных — да...» Ты не помнишь того дня — еще не родился, — но сохрани его для потомков, ведь и твоим умом и талантом рождается новое Кокопкино.



Григорий Лепешкин



Я воду пью из родника,
Похожего на блюде,
И после каждого глотка
О сердце капли бьются.

Пить хватит правнукам моим,
Как жажду ни гаси я.
Родник водой неистощим,
Как добротой — Россия.

Жеребенок

Сквозь проем стены спросонок
Из колхозного двора
Выбег в поле жеребенок,
Где грохочут трактора.

Естал, на них ревниво глядя,
Но не ведая того,
Что лежит под каждой пядью
Пот предедушки его.

Да, отец и дед под плугом
Гнулись, поле бороздя,
Пыла сея, подобно взягам,
Земли сохли без дождя.

Шли на пахоту спросонок,
Будь там холод иль жара.
...И заржал вдруг жеребенок,
Но не смолкли трактора.

Из фронтового блокнота

Одетый метелью,
Бреду по Европе.
Мне служат постелью
Болотные топи,

А мягкой подушкой —
Снежка бугорок,
Добротной избушкой —
Сосновый лесок,

А дождик — нацидик
С затылка до ног.
И тянется ниткой
Тропа на восток.

РАСТЕТ ЖАЖДА ЮГА

ногие столетия «завтра»
помчалось в таинствен-
ным, беспостижимым.
Сейчас с него срывают
зыекие одежды, учатся
узнавать. Пока нельзя путешествовать в узлосовской «машине времени», но будущим в какой-то степени уже можно управлять.

Ученые, прогностируя то, что должно произойти (вернее, может произойти), предрекают демографический взрыв: к 2000-му, последнему году XX века, число жителей планеты, по сравнению с современным, удвоится — по крайней мере преысят семь миллиардов.

Естественно, должно неизмеримо возрасти производство продуктов питания, бытовых товаров; города-«мегомилионники» станут обычным явлением, раздвинутся вширь и ввысь, поглотят тихие пригороды. Звездные скопления заводов, фабрик, комбинатов возникнут там, где ныне простираются нехоженная тайга, тундра, сухие степи; старые предприятия умножат силы, выплеснутся за пределы своих границ; возделанные поля, плантации, баuchi раскинутся на площади, отвоеванной у пустыни; железные и автомобильные дороги прорежут топкие болота, вечную мерзлоту, пересекут многоводные реки и заливы.

Малый демографический взрыв возможен и на Юге Советского Союза, особенно в Средней Азии, где, по данным Всесоюзной переписи 1970 года, население возросло почти в полтора раза за шестидесятилетие годы. И этот рост продолжается все стремительнее.

Понятно, одновременно увеличиваются потребности, особенно в чистой воде, запасы которой на Юге ограничены. Ее может не хватать, и, если не принять загодя нужные меры, беда нависнет не над тысячами, а над миллионами людей, городами, промышленностью, сельским хозяйством.

Исследователи и инженеры уже сейчас готовят широкомасштабный проект, к осуществлению которого приступят лет через 10—15, терпеливо и дотошно изучают обстановку на местности. И когда пройдет час, люди не позволят природе застичнуть их врасплох. По размаху работ, по многообразию вы-



ГЕОРГИЙ БЛОК

РЕКА ТРЕХ МОРЕЙ

В предлагаемой читателям «Юности» статье рассказывается о грандиозном повороте сибирских рек на Юг. Самый этот проект, реальность его осуществления — еще одно яркое свидетельство братской дружбы народов нашей страны, идущих на встречу радостному юбилею — 50-летию Союза Советских Социалистических Республик.

зываемых ими перемен этот проект не имеет равных себе в истории всех времен и народов. Он изменит привычный облик географической карты, утолит жажду Юга.

НАПЕРЕКОР ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТЕ

С жато проект можно изложить одной фразой: заставить северные реки темперекор тому, что изображено на физической карте, повернуть их с севера на юг. Ученый скажет короче: перекроить водный баланс.

— Водный баланс — это сток рек в моря, — говорит директор Всесоюзного института «Гидропроекта» Дмитрий Михайлович Юринов. — Знакомство с объемом стока в Советском Союзе, вернее, его распределением, откроет: Судите сами: почти девяносто процентов рек несет свои волны в моря Ледовитого и Тихого океанов. Только чуть больше десяти процентов приходится на долю южных рек.

Северные земли простираются с запада на восток на тысячи километров, начиная с Колского полуострова до Камчатки и Чукотки: их прорезают полноводные могучие реки, такие, как Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колма; дельты многих далеко за Полярным кругом. Тут большую часть года царят суровая зима, бесчинствуют ураганные арктические ветры, сугробы заваливают заболоченную тайгу и тундру, а ледяной панцирь заковывает озера и реки. Лето же быстротечно, дождливо.

Полная противоположность — Юг, где на безоблачном небе пылает солнце, редеют дожди, жарко и сухо, зима недолга. Реки здесь впадают в теплые Азовское и Черное моря, в два бессточных бассейна — Аравское и Каспийское, отрезанные от Мирового океана. В этой благодатной зоне обитает значительная часть населения Советского Союза, здесь развита индустрия, города, поливное земледелие.

Не правда ли, нельзя заподозрить природу в мудрой добродете, в том, что она разумно и рачительно распределила свои дары? Там, где не надо, — девяносто процентов воды, а где надо позарез, — десять с вебольшим.

С этим можно бы примириться,

если бы не ожидаемый рост численности жителей, а значит, всех отраслей народного хозяйства. И рост значительный.

Может быть, поскольку на Севере простиут громадные территории, а вода в избытке, перебазировать туда сельское хозяйство? Ведь наука сегодня обладает почти всемогущим силой, ей на плечу решать любые задачи. А по подсчетам климатологов, интенсивность солнечной радиации в Арктике летом близка к экваториальной. Но, к сожалению, осенне-зимняя белизна плавающих полярных ледяных полей отбрасывает лучи почти целиком обратно в космическое пространство. Создать культурный нахальный слой на заболоченной почве, на вечно мерзлой краине трудно, а если учсть намечаемые размеры — миллионы и миллионы гектаров — то и вовсе не мыслимо; недостаточен и период вегетации, к тому же над полями постоянно нависает угроза быть смытыми очередным разливом или прорваться в оттаявшем грунте.

Даже самый поверхностный анализ убеждает в том, что гораздо рациональнее, экономически выгоднее не таскать горы к Магомету — сельское хозяйство на Север, а собрать реки в неблизкую дорогу, послать их на Юг. Такую идею со лет назад выдвинул инженер Яков Демченко.

При тогдашнем уровне техники это выглядело по меньшей мере фантазией. Однако геологи разбогатели неожиданными данными, что, например, ПраОбь когда-то впадала не в Ледовитый океан, а в древний обширный Каспий, пока подземные тектонические силы не испустили попек Туранскую гряду и заставили ПраОбь оставить привычное русло, повернутое на Север, куда вот уже миллионы лет она тихо катят свои волны.

Конечно, стариинную идею не однажды возрождали, и всякий раз в новых ожиданиях. Исследователям руководило желание преобразить водный баланс запущенной Средней Азии, где вгнне лежат плодородные земли. Могучий поток северной воды вернулся бы их к жизни.

В пятидесятых годах старая идея снова вынырнула на поверхность. С собственным вариантом выступил опытный инженер-гидротехник Михаил Митрофанович Давыдов.

Само название его проекта словно брало быка за рога: «Поворот сибирских рек Оби и Енисея в Среднюю Азию и дальше в Каспийское море». Поворот представлялся смелым; если не сказать дерзким, захватывал воображение масштабами работ и перспективами завтрашнего дня, гипнотизировал уверенностью суждений. Его публиковали и с жаром обсуждали специалисты, он пользовался симпатиями молодежи, студенчества.

Однако достаточно было чуть глубже разобраться в проблеме, как закрадывалась мысль: все ли так беззабочно романтично, как рисует автор? Не заглушили ли темные стороны?

И возникли вопросы: какова плата за эту воду? Что даст реализация проекта, какие он сулит выгоды и каких жертв требует, не окажутся ли они чрезмерными?

СИБИРСКОЕ МОРЕ

Kонечная цель проекта сформулирована как будто убедительно: сибирская большая вода и горячее среднеазиатское солнце впрыснут жизнь, преобразят громадные, ныне пустынные и зашоренные пространства, создадут здесь богатые сады.

Конкретно, что предлагал инженер Давыдов?

Прежде всего перегородить плотиной в Андри-

ском створе могучее течение Оби и, подзаняв малую толику у Енисея, образовать в центре Западной Сибири гигантское искусственное пресное море. Оно разольется почти на 300 тысяч квадратных километров. По поверхности зеркала задуманное море было бы всего на одну четверть меньше Каспийского или Балтийского морей. Все пресные водоемы нашей страны, вместе взятые, без остатка могли бы вместиться в просторы Сибирского. В такое море пришлося бы влить 5 500 миллиардов кубометров воды, то есть 5,5 тысячи кубокилометров.

М. Давыдов предложил произвести грандиозные, преимущественно земляные, работы, возвести нескользкую плотину, дамбы и судоходные шлюзы, построить крупные гидроэлектрические станции общей мощностью в 10 миллионов киловатт, пророделать глубокие выемки на Тургайской возвышенности, прокопать широкий и глубокий канал на Юг.

«Сибирское море», — писал автор, — по пойме рек Иртыша и Тобола подойдет вплотную к водоразделу между Западной Сибирью и Арабо-Каспийской низменностью. Здесь перед обской водой возникнет превятствие — так называемые Тургайские ворота».

Те самые, что когда-то вспучились из глубин земли.

Протяженность ворот, или, точнее, возвышенностей — 800 километров. Их-то надо было бы прорыть каналом, а кое-где туннелем. По образному выражению инженера Давыдова, отпереть замок, в прошлом закрытый природой. Сотни и сотни километров при минимальной глубине двадцать метров и ширине свыше четырехсот.

Погодите, зачем понадобилось разлить в сердце Западной Сибири столь просторное море? Кстати, его заполнение до проектной отметки, даже если подключить енисейскую воду, растянется бы на несколько десятилетий (изрядную долю пришлось бы сбрасывать через агрегаты Андриянской ГЭС, чтобы производить электрическую энергию). И насыпать множество дамб, прорубать каналы между Обью и Енисеем в тяжелых, нередко скальных породах.

Ради чего все это? В основном, отвечал автор, чтобы вода могла беспрепятственно перебраться через Тургайские ворота, создать необходимые условия саторки. Иначе говоря, заставить обскую, а позже и енисейскую воду без постороннего вмешательства, самотеком, отправиться в дальнее странствие — в Среднюю Азию.

Фантастические объемы работ, затопление обширных пространств, прокладка глубокого и широкого канала на протяжении многих сотен километров — за все это пришлось бы платить чудовищно высокую цену.

Неужели нельзя перебросить северную воду не так дорого, а подешевле, а главное, не затоплять просто — посередине Западной Сибири с ее бескрайними лесными массивами и пойменными лугами? Тут ведь не вечная мерзлота (кстати сказать, и ее не следует губить). Да и ГЭС десятимиллионной мощи и судоходство в летнюю пору, хоть и записаны в активах, не могут уравновесить чашу весов. Просторы низменности, где в последнее десятилетие обнаружены склоно-обильные месторождения черного золота и гольбого топлива, где прокладывают мощные нефтяные и газовые трубопроводы, растут промыслы и новые города, надо не затоплять, а осушать.

Вариант Давыдова несет на себе печать старины. Старинны? Да, за короткое время наука и техника шагнули далеко вперед, настала эра термодинамической энергии, электроники и кибернетики, искусственных спутников, отрыва человека от колыбели матери-Земли, его вырыва в межпланетное пространство. Уже в пятидесятых годах проект можно было бы передать

строителям, вооруженным машинами и механизмами. Но поворот сибирских рек остался неосуществленным потому, что, фигурально выражаясь, свечи облюсили бы дороже игры.

Мне думается, порочна затея — уничтожать одно ради пользы другого, чтобы вода текла не на Север, а на Юго-Запад, похоронив под многометровой толщей вод наебытную ширь в сердце Западной Сибири.

Избежать рокового минуса — затопления обширной территории — позволила бы электрическая энергия; с ее помощью можно бы перекачивать потоки проходящей воды, потребные сухим субтропикам. Но в электротермию, вернее, в ее отсутствие все и уперлось. Взять ее в нужном размере было в те поры неоткуда. Ни в Западной Сибири, ни в Средней Азии.

И все же в основе проекта Давыдова и его предшественников лежит рациональная идея: Средней Азии не обойтись без большой воды Оби и Енисея, без поворота рек.

Конечная идея Давыдова, повторю, отнюдь не утратила своей значимости. Напротив, ее актуальность поднялась. Во второй половине восемидесятых годов, по мнению ученых, Средняя Азия примется подчищать наличные водные запасы. Ей потребуется поддлить слежки сибирской воды, к которой тянет не только орошающее земеделие, промышленность, города, но и крупный водный бассейн — Аравское море, точнее, солоноватое озеро во впадине.

ГИДРОУЗЕЛ В ТУНДРЕ

И так, поскольку солнце нам не подвластно и не заставишь его чаще бывать на Севере, надо снова изучать старую идею — принудить реки Сибири, в первую очередь Западной, поделиться своим обильным стоком с Югом, утолить жажду его земель. Географы и экономисты называют долины среди гор, низменности, готовые сразу присоединить к Европе.

Проектировщики думают о том, где создать исток новой реки, внушительной пропускной способности, вроде былинной русской реки Волги, самой крупной на континенте Европы.

Можно ли осуществить давний замысел, какиуть узду на Обь — тихоходного гиганта Западной Сибири, приносящего 400 миллиардов кубометров воды в узкую губу холодного и туманного Карского моря?

Единодушно утвержденно отвечают на этот вопрос во Всесоюзном институте «Гидропроект», где давно разрабатывают проблему поворота северных и сибирских рек, в «ГидроЖХОЗ», Институте энергетики в Казахстане, а также в других исследовательских и проектных организациях.

Широкомасштабный проект охватывает треть территории Советского Союза, простирающуюся от Уральских гор и Каспийского моря на западе до Енисея на востоке. В число объектов входят различные гидротехнические сооружения — плотины, дамбы и насыпи, каналы, шлюзы и мосты, электрические и насосные станции, распределительные устройства и диспетчерские пункты, туннели, краны и силовое оборудование, автомобили и электронные вычислительные машины — компьютеры...

Оби обильна и простирана. Где перерезать ее глотиной, запереть и накопить воду? Надо не только собрать ее в просторном море, но и погнать вверх, куда она подобру-поздорову сама не полезет, да и дорога не близка.

Створ, где наметили ставить гидроузел, избрал в низовьях, по соседству с заполярным городом Сале-

хардом. Долина тут сравнительно узка. С инженерной точки зрения проект остроумен и изящен, он комплексно решает поставленную задачу, умело сочетая гидроэнергетику, судоходство, рыболовство с переброской части стока в южные края.

Невысокая земляная плотина, с крыльями, распространяющимися на вибранные берегах, перехватит поток. В тело ее встроят бетонное здание гидроэлектрической станции, совмещенной с водохранилищем, и рыбопропускник. В состав гидроузла входит ступенчатый шлюз, порт, где будут швартоваться речные и морские суда большой грузоподъемности.

Гидроузел расположен на ветчине мерзлоте, пещерные, знаменитой своими коварными поводками — рассказал мне главный инженер проекта Александр Николаевич Чемин, ныне главный консультант «Гидропроекта». — Летом, когда поверхность заболачивается, здания и сооружения могут осесть, дать трещины.

Изыскателям удалось найти протоку, как бы дублирующую основное русло Оби, с теплым талым грунтом, что полностью гарантирует от любых неожиданностей безопасность здания ГЭС со всем его сложным хозяйством.

Салехардское море поднимется на две тысячи километров вверх по течению Оби, Иртыша и его притоков. На всем протяжении возникнет постоянный судоходный фарватер. Запасенную воду турбины превратят в электрическую энергию, а насосные станции понесут на Юг в первую очередь 50 миллиардов кубометров воды, сколько теперь приносят Амударья и Сырдарья в Аравское море.

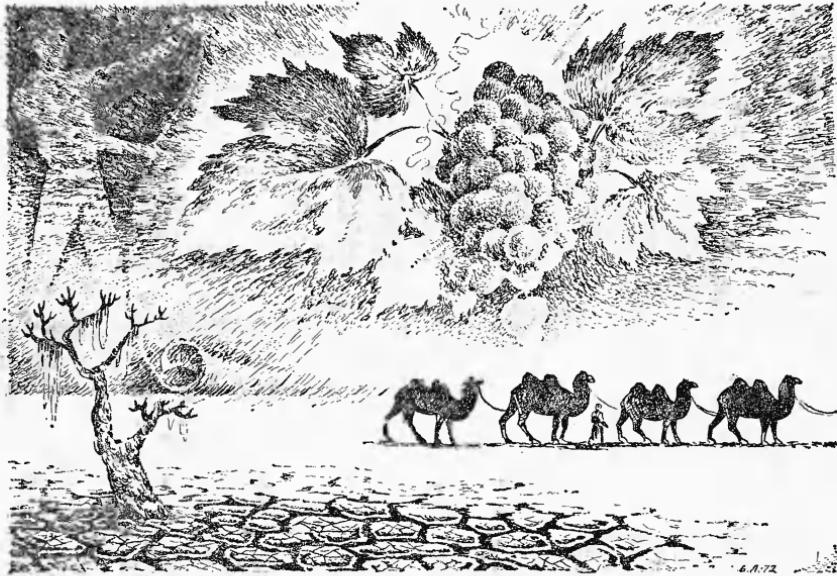
Гидроузел со всеми своим оснащением не вызвал серьезных возражений, кроме одного, — размеров затопляемой территории. Конечно, она в шесть раз меньше «Давыдовского» Сибирского моря, но и 50 тысяч квадратных километров (таково зеркало задуманногонского искусственного моря) — пусть плохой и почти неиспользованной земли — слишком много. Правда, вода разлилась бы преимущественно по заболоченным речным террасам, тощим поимам в зоне вечной мерзлоты и редколесья тайги. Однако емкость — полтора гидроводов стока Оби — настораживала, стала объектом споров со стороны ученых — географов и экономистов.

Так что же, Средней Азии, вернее, ее сельского хозяйству и индустрии, вовсе отказано в прохладной северной воде? Неужели нет способа, ничего не затопляя, все-таки перегонять воду на Юг? Ведь в Западной Сибири воды хоть залесят, и чем там будет лучше, тем лучше, не правда ли?

ТРАССЫ АНТИРЕКИ

— Совсем не затоплять? — переспросил меня Александр Николаевич. — Если немного, то можно. Можно не строить крупную плотину, а отсечь прямо от живого тока Оби, выше впадения в нее Иртыша, примерно 40-50 миллиардов кубометров. Но не больше. На первую очередь этого достаточно. И хотя экономисты и демографы считают, что рост населения, промышленности, сельского хозяйства в ближайшие десятилетия вынудят перекачивать второе-четвертое больше, хотя волен-неволей придется оттуда черпать воду, мы можем уже сейчас начинать прокладывать русло антиреки.

Какую трассу голубой магистраль избрали проектировщики? Есть различные варианты, но все они обязательно упираются в Тургайские ворота, которые не смог побороть Давыдов. Стороной обойти их невоз-



можно, однако сегодня они не представляются неодолимыми: их будет штурмовать вода, подгоняя ее электрическим бичом.

Исследователи в содружестве с инженерами изучают два варианта переброски — северный и восточный. Обы и ее притоками, второй, сверх того, протягивает руку к Енисею, первому богатырю Сибири. Северо-Обский в два с половиной раза короче восточного, он потребует меньше земляных работ, оборудования, времени и средств.

Основной показатель северной антиреки: протяженность главного русла — 2,5 тысячи километров. По сибирским масштабам это средняя величина. Трасса начнется у села Демяновска, что на половодном Иртыше, свернет в его приток Тобол и, держась правого берега, направится к Тургайской возвышенности. Взобравшись, трасса разделится на два рукава: один — на Юг, в Казахские степи, долины Средней Азии, другой — на Запад, к реке Эмба, и дальше к Каспию.

Тургайские ворота — барьер, поднятый на высоту 85—90 метров. Воду переправят пять станций, оснащенных насосами турбинного типа. Вращаясь, они не сбрасывают воду вниз, а поднимают ее вверх, каждая примерно на два десятка метров.

Такие насосы с помощью электричества поднимут и погонят 2,5 тысячи кубометров воды в секунду. Пять насосов, словно пять ступеней, бегущих вверх, перекачают большой поток северной воды. Около каждой станции встанет невысокая плотина, она создаст малое озеро, чтобы насосы постоянно имели пять запас.

Какой объем земляных работ предусматривают проектировщики канала Север — Юг? Каково геологическое строение местности, где прорубят его ложе?

— В начале пути строители прокопают русло через песчано-глинистые отложения, насыщенные влагой, — продолжает мой собеседник. — Тургайский прогиб встречает суглинками и глинями; на подходе к дельте Амударьи — широкий ассортимент глины и зернистых песков. Ветви в сторону Эмбы проложат в суглинках и плотных глинах.

Бескрайнюю артерию намечено строить в две-три очереди, вернее, первая проложит путь, по которому на Юг побегут 50, а затем 200 кубокилометров воды. Надо выпустить и отбросить в сторону 8 миллиардов кубических метров грунта, не везде мягкий. Откосы, не укрепленные камнем (за исключением ненадежных, «подозрительных» участков возможного размыта или оползания), позволят расширять канал, не прекращая подачи воды.

Сколько электрической энергии возьмет поток, круглый год перемычаемый через Тургайские ворота? Первую очередь будет питать электростанция мощностью 3 миллиона киловатт, вторую и третью — очереди — электростанции 10-миллионной мощности.

Во сколько обойдется кубический метр воды, экспортированной из Западной Сибири в Среднюю Азию, с доставкой адресату «на дом»? Не дорог ли?

— По предварительным расчетам экономистов «Гидропроекта», — отвечает мой собеседник, — семь-восьмь копеек за десять кубометров воды, перевезенных на расстояние 2,5 тысячи километров, с Севера на Юг. Отпускная цена не превысит одной копейки за кубический метр...

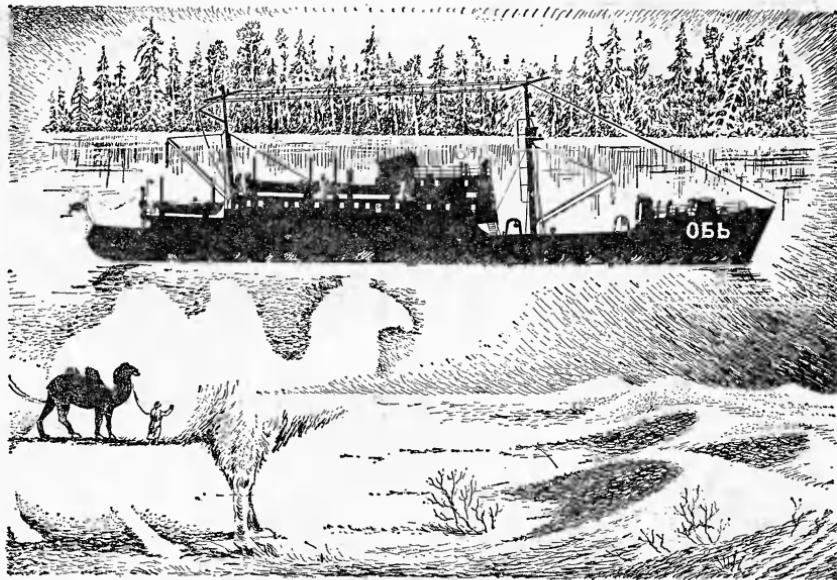


Рисунок Б. Лаврова.

Казалось бы, только положительной оценки заслуживает проект переброски северных вод. Конечно, впереди много споров о его деталях, возможны различные варианты, обсуждение той или иной ветви новой реки...

В АНГЛИИ НЕ СТАНЕТ ЖАРЧЕ...

Совершенно неожиданно в разговор об этом проекте включилась английская консервативная газета «Санди таймс». Она опубликовала статью научного корреспондента Брайана Силкока под интригующим заголовком «Лето в Великобритания будет благодаря Москве».

Что хочет иностранный наблюдатель? Какие стопроцентно проекта его волнуют? И почему он не всегда придерживается фактов? Из-за слабой информированности, пренебрежения справочниками?

Инженерные операции русских, пишет Силкок, предусматривают изменение течений трех гигантских рек (речь идет о Печоре, Оби и Енисее.— Г. Б.), текущих бесполезно в Ледовитый океан, на юг в район пустынь, лежащих вокруг Каспийского и Азовского морей».

К сожалению, здесь, как и на протяжении почти всей статьи, не соблюдена хвалебная английская склонность к точности. Проектировщики и не собирались полностью повернуть эти три реки, которые вместе сбрасывают в Арктический бассейн свыше 1 100 миллиардов кубометров воды, или, короче, 1 100 кубокилометров.

Печорский проект называет меньше 40 кубокилометров, Обь-Енисейский — 200. А ведь, кроме них, в Ледовитый океан впадают и Северная Двина, и Лена, и Индигирка, и Колыма, и реки помельче. Да в Печоре, Обь, Енисей с Ангараю как текли на север, так и будут текь.

Общий сток северных рек превышает 2,5 тысячи кубокилометров. Предлагаемый нашими проектировщиками отбор воды составит меньше десяти процентов годового стока, то есть находятся в границах его обычных средних колебаний.

Брайан Силкок, видимо, не знал приведенных данных. И нарушил правило, которое гласит: что не знаешь, о том не суди. Он уверенно продолжает: «В настоящее время невозможно предсказать влияние (переброски) на климат, по свидетельству... несомненно».

Особенно его беспокоит потепление Арктического бассейна, которое якобы может вызвать поворот северных вод. И, чтобы укрепить свою позицию, он ссылается на авторитет Герберта Амбса, эксперта по климату Британского метеорологического ведомства: «В высшей степени опасно для климата проводить вмешательство в таком крупном масштабе, когда мы еще не в состоянии предвидеть его последствия... Если бы подача воды уменьшилась или прекратилась, могло бы произойти таяние льдов в крупных размерах».

Поспешное заключение! С одной стороны, «невозможно предвидеть», с другой — обещание того, что ледовый панцирь растает. Нет ли тут противоречия? Доктор географических наук профессор Семен

Леонидович Венцов, которого я познакомил с текстом корреспонденции в «Санди таймс», сказал:

— Нет никакой зависимости между объемом стока пресных вод и ледовитостью Арктического бассейна. За последние 75 лет состояния плавающих льдов в океане изменились в широких пределах, а сток рек колебался весьма незначительно, и нет какой-либо синхронности между этими явлениями. Правда, речной сброс влияет на ледовую обстановку на юге северных морей, усиливает ее при меньшем объеме стока, меньше поступает дополнительного тепла.

Так говорит С. Венцов. А ведь Эмб настаивает на противоположном: чем меньше температуры воды, тем меньше льда в Арктическом бассейне. Эта странная идея вполне устраивает корреспондента. Он думает, что потепление в Арктике могло бы способствовать движению пустынь на Север, климат Северной Африки распространялся бы на Испанию, Южную Италию и Грецию. Однако Силкок тут же успокаивает соотечественников: не тревожьтесь, «лето в Великобритании стало бы жарче». Хоть за то спасибо!

— Я вынужден разочаровать Брайана Силкока и его читателей, — продолжает профессор Венцов. — Изменение ледовитости в Арктическом бассейне не отразится на климате Британских островов и стран Средиземного моря, не станет он ни жарче, ни застуживше. Гипотеза Эмбса — плод недоразумения. Совсем недавно, на память людей старшего поколения, в тридцатых и сороковых годах, в Арктике потеплело, площадь ледяных полей резко сократилась. Думаю, этот факт не ускользнул от внимания английских естествоиспытателей. Таблицы температур уменьшения границ полярных льдов можно найти в справочниках, посвященных Ледовитому океану. Однако уменьшение ледовитости никак не сказалось на пустынях Азии и Африки, не способствовало даже их временному наступлению на соседние территории...

Корреспондент «Санди таймс» признает, что экономический эффект реализации петербургского и обского проектов весьма и весьма значителен. Советские люди получают дополнительные миллионы тонн урожая зерна, хлопка, плодов и винограда, а значит, молока, мяса, масла и шерсти, увеличится поток продуктов и товаров в Сибирь и на Дальний Восток. Но тут же Силкок подбрасывает сухие ветки в костер своего выражения: «Косвенными последствиями, рассчитанными на длительный срок, были бы бедствия, хотя и не для самих русских».

Что он имеет в виду? Какой бульварник он держит за пазухой?

В спор он вовлек доктора Раймонда Л. Нейса из геологической инспекции США, по мнению которого, переброска вод, это «сдвиг в весовом отношении от полюса к экватору, замедлил бы вращение Земли и увеличил бы степень ее колебаний на оси».

И хотя «Санди таймс» продолжает изыскивать от желания бросить тень на советские проекты, она вынуждена сама признать, что доктор Нейс выдвинул «фантастическое предположение». Ведь 200–250 кубокилометров означают для земного шара меньше, чем укус комара для слона.

По мнению недавно умершего известного советского климатолога, доктора физико-математических наук, профессора Бориса Львовича Адерзесовского, переброска пресных вод по двум проектам не отразится на самочувствии Ледовитого океана и на 10 миллионах квадратных километров его плавающих льдов.

Выиграют только те, кому предназначена новая искусственная река, — выигрывают Зауралье, Каспий, Казахстан, Средняя Азия. Вода Оби получает, кроме Карского, еще два моря — Каспийское и Аральское. Благотворное действие ощущают за Уральским хребтом, в

сухих степях и полупустынях Юга, смягчается, увлажняется знаменное дыхание Каракумов и Кызылкумов. Вода, переброшенная по большой дуге с Севера на Юг, улучшит местный климат. Вдали безымянной голубой магистралью возникнут широкие зеленые полосы, города и поселки, промышленные и культурные центры.

В Средней Азии, как шутливо говорят проектировщики, климат в зоне каналов и прилегающей местности станет второе лучше, поскольку второе умножится ее водный баланс. Никогда в исторические времена там не было так прохладно летом, как будет, когда туда приведут большую сибирскую воду.

К сожалению, даже через мягкие увалы Уральского хребта не перешагнут климатические перемены, не достигнут его западных склонов.

Когда дуют раскаленные ветры прикаспийской жаровни, мутнеет небо, и Волга не в силах воспрепятствовать иссушению зеленого царства Поволжья, гибель урожая. Но эти злые ветры наверняка будут смягчены поправками, внесенными водами Сибири.

Однако вернемся в Среднюю Азию. Переброска вод — половина дела, даже столк крупного. Надо позаботиться о доставленной воде. Излечь ее хороший хозяйственный эффект — вторая половина дела, важная и трудная.

Допустим, завтра обернулось сегодняшним днем: собственной персоной вода явилась на Юг, заструяла великий поток с Севера, зажурчали реки, речки, ручейки среди долин, плоскогорий, засуливших степей. Встретят ли достойно дорогую гостью? Где ее привеят, куда пошлют? Какие перспективы она откроет?

РОЖДЕННЫЕ БОЛЬШОЙ ВОДОЙ

Проектировщик, словно художник-график, линиями различной толщины изображает на листах ватмана магистральные каналы с бесчисленными отводами — причудливую вязь, похожую на старинные кружева вологодских мастеров. А когда зауманную ирригационную систему переносят в природу, когда она превращается в реальность, то напоминает густую сеть кровеносных сосудов, в центре которой пульсирует могучее сердце — хранилище. Отсюда по разным направлениям разветвляются голубые артерии.

Устьем, откуда северная вода начнет свой веселый бег, станет Минбулакская впадина, словно самой природой избранная под озеро. Его изменчивое зеркало, постоянно пополняемое Головным каналом и «облегченное» ирригационными системами, разольется на 4,5 тысячи квадратных километров. На схеме, подготовленной институтом «Средазгипроводхозлопок», его метят как Верхнее, чтобы отличить от второго — Нижнего озера. Институту находится в Ташкенте, в его активе знаменные водные тракты — Большой Ферганский, Северный Ферганский, Каракумский, искусственные озера — Каттакурганское, Кассансайское, Южно-Сурханское; усилия института способствовали расцвету Голодной, Кызылкумской степей, Вахинской долины.

Знакомство с комплексной схемой использования северных вод (главный инженер проекта — Азарий Кузьмич Кияткин), созданной трудом, энергией, знанием и мыслью гидротехников-энтузиастов, которые отдали любомуому летчице десятки лет своей жизни, говорит о том, каким образом удастся вовлечь в сельскохозяйственный оборот почти все 35 миллионов гектаров пригодных земель.

Понятно, что первый набросок будущей сети водных артерий, но и он производят сплошное впечатление продуманностью расположения цепочки новых озер, изобретательным выбором трассы магистральных каналов, крепицационных сетей.

Сейчас в Средней Азии орошают 5 миллионов гектаров, и те 20—25 миллионов гектаров, что оросят сибирская вода, в буквальном смысле слова преобразят этой край, где в изобилии свет, тепло, запас питательных веществ в почве и так мало влаги.

Труд экономистов, проектировщиков, инженеров и само время внесут немало уточнений, поправок в схему, однако каркас ясен уже сегодня, хотя не покрыты тканью, не пронизанный кровеносными сосудами и тончайшими капиллярами.

Схема намечает пройти три магистральных широких канала громадной длины — Туркестанский, Туркменский и Устьюртский, — пять покороче — Амударинский, Таласский, Чуйский, Казалинский, Бухарский. По предварительным наметкам, их общая протяженность превысит 3 тысячи километров. Добавим к этому шесть больших водохранилищ, питающихся эти голубые тракты.

Первые очереди — 50 миллиардов кубических метров — пошлет воду в низовья Сырдарьи и Амудары, вернет к жизни четыре миллиона гектаров земель древнего орошения, издавна заброшенные.

Свободные воды Сырдарьи накопятся в Чардаринском хранилище, где планируют поставить насосные станции, чтобы поднимать воду на высоту примерно до ста пятидесяти метров. Вместе с северной ее от правят на поля в Фаринскую, Нуратинскую и Бухарскую степи.

Бывшие низовья Сырдарьи и Амудары полностью перейдут на сибирскую воду. Собственная, разобранная на дороге, сюда не дотянет, как сейчас, скажем, не дотягивает Мургаб. Северная вода закружит на полях Архыз-Туркменской визенности, оросит плодородные земли, обводнит высокогорные пастбища.

Немалый бросок совершил и Устьюртский канал — 650 километров. Он с севера обогнал Аральское море, по дуге спустится к юго-западу, щедро одаряя поля и пастбища, затем даст воду жаркому Мангышлаку, его молодой индустрии и рабочим поселкам, а его дела впишется в каменистые берега Каспийско го моря — конечный пункт доставки.

Все? Нет, конечно. Проектировщики не забыли и про Аральское море, кое-что перенадет и ему; сначала замедлит падение его уровня, остановится бегство вод от старой линии, а потом стабилизируется уровень моря, а может быть, и повысится.

Понадобилось сто лет, прежде чем гипотеза превратилась в реальный проект, доступный современным техническим средствам. Ему на роду написано быть осуществленным, одетым в камень, бетон, металл.

И не надо быть пророком, чтобы уверенно предсказать: многие, кто находится во втором десятилетии своей жизни, кто сегодня сидит за школьной партой, станут непосредственными участниками великого проекта конца XX века. Трудно только определить, в каком качестве — строителя, управляющего могучими машинами оператора на пульте управления, вычислителя, агронома, перекраивающего тангу, стены и пустыни, инженера или техника различного профиля и специальности... Всюду не обойтись без творческого начала, без изобретательной жилки, без умения глядеть вперед, в завтрашний день.

Даниил Долинский



⊕

Донская предвечерняя волна
Уже не в голубом, еще не в алом,
еще над древним вапом —
под забралом

сиреневого облака — луна.

Смеркается так медленно и тихо,
как медленно плывет вдаль баркас.
Еще и полумрака облениха

не затянула наших рук и глаз.

Мгновенье дум, возвышеннных.
Граница
меж днем и ночью. Зыбкая черта,
когда одна дописана страница,
а новая еще не начата.

⊕

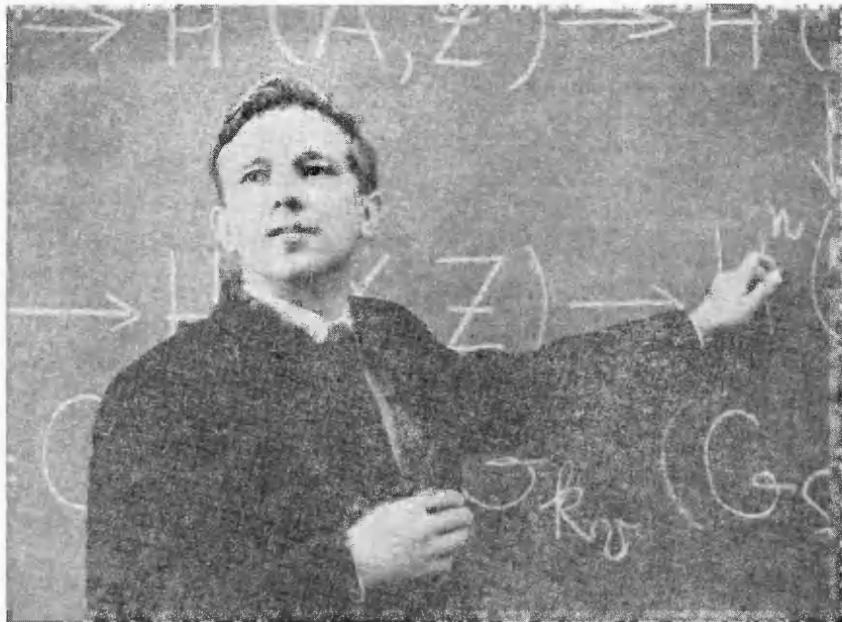
Не куковала мне кукушка
и не гадала по руке
цыгanka... Накрывала пушка
меня в прибрежном иняке.
Не сосчитать сегодня, сколько
она истратила огня.

Да только мало было толку,
поскольку гиблому осоколу
не удалось прошить меня.
Зато потом над переправой,
над остряем зенитных жал,
каким тогда я был прав!?

О, как я на гашетку жал!
И до сих пор мои ладони,
лишь только вспомню этот ад,
как остановленные кони,
от напряжения дрожат...

⊕

Песенка! Песенка, чья ты? Моя!
Неба ли! Гор ли!..
Ядрышко песенки у соловья
в горле!
Вы бы подслушали тишию ночной
иль подсмотрили,
как из горошинки этой одной
выльются трели!
Вздумалось ядрышко б вам расцепить —
есть же ведь средство, —
что увидали бы! Песенки нить
и соловийное сердце!



Ю. ЗЕРЧАНИНОВ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО МАТЕМАТИКИ

Фото В. Китаса.

В знаменательный год 50-летия образования Союза ССР «Юность» открывает новую рубрику — «Интервью с героями дня».

Наш современник, молодой человек семидесятых годов, снискавший своими делами известность и уважение в своем селе, городе, в своей республике, а то и во всей стране, или даже во всем мире,

будет представлен в этой рубрике.

Первое интервью — с тридцатидвухлетним минским математиком Владимиром Платоновым, недавно избранным действительным членом Академии наук Белорусской ССР.

Владимир Платонов «ходил» в академиках уже четыре дня, и я спросил возможным спросить, как он чувствует себя в этом высоком звании.

— Хотелось бы поскорее забыть, что я теперь академик, — сказал Платонов. — Не то что звание давит. Как бы вам объяснить... Мне хотелось бы себя чувствовать, как будто я кандидат наук. Я считал, что успех надо забывать, как и горе. По-разному, конечно, но забывать.

Я заверил Платонова, что углубляться в лабиринты математических проблем не рискую. Это его обрадовало, и он сам безбоязненно сделал шаг в сторону математики.

До десятого класса у меня не было осознанного влечения к математике. Я рос в небольшом

поселке — поселке Богушевск, Витебской области, — и наша школа ничем не отличалась от обычной сельской школы. Были далеки от абстрактных наук мои родители: мама преподавала в начальных классах, папа работал на деревообрабатывающей фабрике. Но я хорошо помню, как в девятом классе вдруг почувствовал тягу к математике, хотя внутреннюю потребность заниматься математикой и только математикой я окончательно осознал уже в Минске, в университете.

Хоть вам и удалось миновать стадию лундера-кинда, но академиком, согласитесь, вы стали чрезвычайно рано. Вы самый молодой академик Белоруссии, а может быть, и не только в Белоруссии...

Вы, кажется, видите в этом нечто сенсационное, а мне не нравится, если угодно, быть объектом сенсации. Я уже был и самым молодым доктором наук и самым молодым профессором в Минске, но у меня не тот характер, чтобы чувствовать себя естественно, когда тебя усаживают в президиум наряду со знаменитыми писателями, артистами, спортсменами...

Я встретился с Владимиром Платоновым на открытии традиционной научно-технической конференции, на которую собирались, на этот раз в Минске, студенты Прибалтики, Белоруссии и Калининградской области. Фотокорреспондент собрал в фойе группу эstonских студентов и попросил Платонова сняться с ними. Ребята смущались, Платонов тоже не мог заставить себя «оживленно беседовать». Наконец академик сказал: «Как все это глупо». Воспитанные эstonские студенты сдержанно оживились: «Очень, очень глупо». Фотокорреспондент удовлетворенно щелкнул затвором...

Выступая на открытии конференции, Платонов говорил мало, стоясь обиных слов, очевидностей. Он говорил, что научная работа требует жесткого режима, может быть, аскетизма, но не замкнутости, но отстранения от общественных дел. Говорил о неразделности понятий «наука» и «нравственность», о возрастающей роли молодых ученых в науке.

Когда начался концерт, мы присели в пустом фойе, и Платонов возвратился к этой теме — об омологии науки:

— Близится время, когда и молодые академики не будут никого удивлять. Всегда за математиками и физиками непременно помолодают и гуманитарии. Такова тенденция. В самом деле, какой смысл становиться академиком лишь в семидесят лет? Это знание не только свидетельство о почете, а стимул. Предполагается, что академик руководит направлением. Тут многое зависит от свежести взглядов, хотя можно, конечно, и в тридцать лет иметь взгляды несвежие, а в двадцати по-прежнему свежие. Это естественно, но не бесспорно. Академик Анатолий Иванович Мальцев, который оказал значительное влияние на мое формирование как ученого (он жил в Новосибирске и уделал мне внимание издали), говорил, что настоящее отнесение к науке начинается тогда, когда уже не надо стремиться к каким-то титулам...

Цепляясь за «внимание издали» академика Мальцева и строя на этом очередной вопрос:

— А кто вблизи уделал вам внимание?

— Мой непосредственный учитель — минский академик Дмитрий Алексеевич Суриенко. А в последние годы я часто приезжаю в Москву, чтобы получить заряд бодрости в отделе алгебры Математического института имени Стеклова. В этом отделе, которым руководят президент Московского математического общества лауреат Ленинской премии Игорь Ростиславович Шафаревич (знаете, что он окончил МГУ в шестнадцать лет?), такое созвездие талантов! Старшие научные сотрудники Сергея Пет-

рович Новиков и Юрий Иванович Манин — тоже лауреаты Ленинской премии. Старший научный сотрудник Алексей Иванович Кострикин — лауреат Государственной премии. Достаточно? Моих московских друзей отмечает стремление не делить математику, не быть узкими специалистами. Они умеют находить неожиданный подход к старым проблемам и признают только принципиальный сдвиг — глубокий результат. И еще один принцип, которому они всегда следуют: результат должен быть обязательно красивым, элегантным.

— А бывает, что глубокий результат получает математики, лишенные чувства красоты и гармонии?

— Бывает: работает, работает — и наскочил. Таким человеком должно владеть ощущение, что он поднял огромную тяжесть. Но подобные «рекорды» сегодня чаще встречаются у штангистов, чем у математиков. Это — предположение, но хочется думать, что это так.

Известный математик сказал мне, что Владимир Платонов, несмотря на свою молодость, считается у нас в стране лучшим специалистом по теории алгебраических групп. За работы по теории топологических групп он еще в 1968 году был удостоен премии имени Ленинского комсомола. Его имя хорошо известно математикам Парижа, Принстона, Бонна, Лондона... Платонов поддерживает, как он выражается, «тонизирующий контакт» с крупнейшими зарубежными учеными. В сегодняшней математике, где, как и во многом другом, господствует узкая специализация, Платонова отличает удивительно широкий кругозор. Недавно Платонов решил — и очень красиво решил — одну из ключевых проблем арифметической теории алгебраических групп.

Я попытался было расспросить его об этой работе, но он мгновенно скрутился (это сращение здесь не притянуто — Владимир Платонов спортивен, имел в университете два первых разряда):

— Мне же договорились научной сущности моих работ не касаться! Прощу вас...

И мы вновь повели разговор вокруг да около. Я спрашивала, например, Платонова, кто его жена.

— Алла занимается вычислительной математикой. Если я математик абстрактный, то она земной. Но в данном случае это различие, по-видимому, способствует взаимопониманию.

Постепенно мы вновь обрели взаимопонимание, мой собеседник сделал еще один допустимый шаг в сторону математики.

— Есть две задачи, которые я мечтаю решить. Это было бы счастьем. Речь идет о знаменитых проблемах. О каких? Пусть это останется моей тайной.

— Кого из великих математиков вы бы назвали, если бы было дано назвать только одно имя?

— Из математиков прошлого?

— Предположим.

— Немецкого ученого Гильберта. В широком представлении имя Гильберта связано прежде всего с двадцатью темами классическими проблемами, которые он сформулировал еще в начале века. Гильберт привлек меня тем, что он был, пожалуй, последним математиком, который охватывал почти всю математику. Кстати, вы, очевидно, знаете эту широко известную притчу? Один из друзей Гильберта как-то спросил его: «А где тот твой ученик, который подавал такие надежды?» Гильберт ответил, что он стал поэтому, поскольку у него оказалось слишком мало фантазии, чтобы стать математиком...

Естественно, я теперь прошу Платонова назвать любых поэтов. Он называет три имени:

— Лермонтов, Блок, Есенин.

— А кто из них, по вашему мнению, мог бы стать математиком?

— Только Блок, пожалуй.

— Как хорошо, что Блок не стал математиком. Вы согласны?

— Пожалуй.

Пытаюсь приблизиться с другой стороны к математике, точнее, к математике Владимира Платонова:

— Расскажите, как вы работаете.

— Я люблю думать на ходу. Свою докторскую диссертацию «сделала» в парке. Ходил по дальним аллеям и думал. Хорошо думать в парке зимой, под небольшим снегом. И под дождем хорошо, если дождь, конечно, не сильный. Я очень уютно себя чувствую и когда брошу по Минску, по людным улицам, но только чтобы никто не обращал на меня внимания. Прежде, когда я еще учился и жил далеко от университета,

я любил думать в троллейбусе, в автобусе. Приспособливался, конечно. Да и гулять в парке, кстати, я привык, когда у меня еще не было возможности работать дома. Я знал, что Аристотель рекомендует думать в движении, но уходил тогда в парк не потому, что хотел следовать Аристотелю...

Мне нигде так хорошо не работается, как в Белоруссии. Это чувство родной земли. Яrukowozu в нашем институте математики лабораторией алгебраической геометрии и топологии. Белоруссия богата математическими талантами, и я верю, что Минск еще станет центром крупной математической школы.

Вот куда привела нас в конечном счете эта недолгая прогулка вокруг да около математики.



«СМЕРИЧКА» ИЗ ВИЖНИЦЫ

Фото В. Карлова.

Kто только не исполняет сейчас «Червону руту»! Эта популярная песня украинского композитора Владимира Ивасюка — в репертуаре многих как наших, так и зарубежных ансамблей.

Но когда ведущий телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты!» спросил Владимира Ивасюка, в чём исполнении ему больше всего нравится «Червона рута», композитор назвал самостоятельный вокально-инструментальный ансамбль Вижницкого дома культуры на Буковине. Называется он «Смеричка».

Недавно я был в Вижнице, присутствовал на репетиции ансамбля, познакомился с его руководителем Львом Дутковским. «Смеричку» можно сравнить, пожалуй, с известным польским ансамблем «Али-бабки». Но это сравнение ограничивается лишь манерой ис-

полнения. Обращение к красочному колориту буковинской народной песни — вот что прежде всего определяет успех «Смерички». Этим колоритом пронизаны песни и самого Дутковского и Ивасюка.

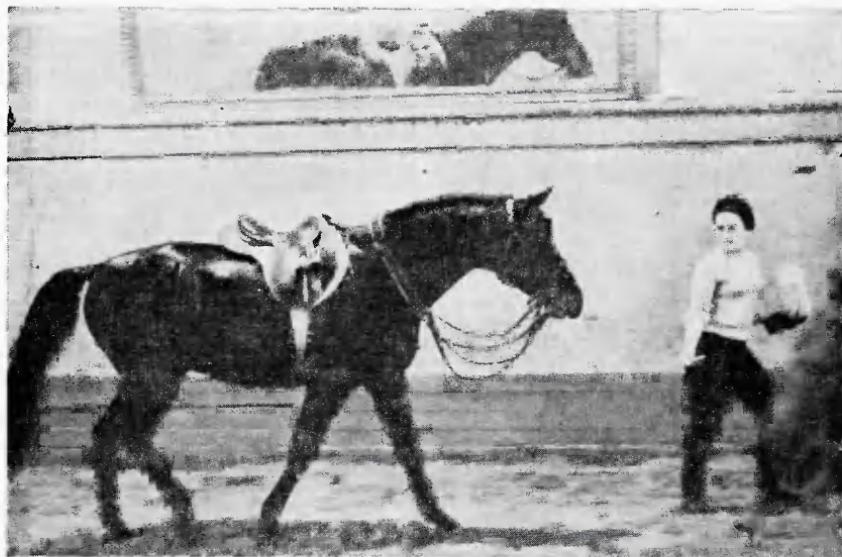
Ансамбль состоит в основном из студентов местного училища прикладного искусства. Со «Смеричкой» трудно расстаться, даже если ты уехал из Вижницы. Назарий Еремчук, например, сейчас учится в Черновицком университете, но остается солистом ансамбля и приезжает в Вижницу на репетиции. Да и самому Дутковскому уже не раз предлагали возглавлять профессиональные ансамбли, но он верен «Смеричке».

А Владимир Ивасюк отдал недавно «Смеричке» для первого исполнения свою новую песню «Відлучні твоїх кроків» — «Эхо твоих шагов».

В. ЛОЗОВЫЙ



На снимке: выступает «Смеричка», на первом плане (слева направо) солисты ансамбля Назарий Еремчук, Марияна Исаак, Василий Зинкевич.



ЕЛЕНА
ПЕТУШКОВА

ЭТА ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ЛЕТ

Фото Л. Шерстенникова.

В издательстве «Молодая гвардия»,
в популярной серии
«Спорт и личность»,
готоится к изданию книга
заслуженного мастера спорта,
кандидата биологических наук
Елены Петушкиной
«Эта чертова дюжина лет».
Несколько отрывков из книги
чемпионки мира
мы публикуем в этом номере.

Росла в Москве девочка, любила животных.
Сначала у нее жила черепаха, потом — фокс-
терьер, лисенок...

Девочке уже исполнилось пятнадцать, когда
она случайно прочла объявление, что в парке
«Сокольники» открыт прокат лошадей... И вот
Лена пришла с мамой в «Сокольники»...



икогда не забуду свою первую лошадь —
каракового кабардинца Избытка.

Довольно смело подошла я к Избытку.
Довольно смело подошла я к Избытку.
Взвесила ногу в стремя и, используя его в
качестве ступеньки, вскочила в седло.

Я почувствовала, что нахожусь очень высоко над
землей. Но, странное дело, будучи по природе тру-
сихой, я совершенно не испугалась ни этой высоты,
ни того, что сижу на лошади.

Надо сказать, что книжка «Учись ездить верхом»,
за чтение которой на уроке мне так пошло от нашей
строгой географички, действительно помогла мне в
эти первые минуты. Было такое ощущение, что я уже
когда-то делала все это: вставляла ногу в стремя, от-
талкивалась, перебрасывала вторую ногу через седло с одновременным переносом центра тяжести, что уже
когда-то отдавала повод и, слегка склонив бока
лошади ногами, посыпала ее вперед.

Все было довольно спокойно до тех пор, пока мы ехали шагом.

Но вот последовала команда: «Повод! Рысью...
марш!» И тут я поняла, что между теорией и практикой «дистанция огромного размера». Дело в том,

что книжку Левиной «Учись ездить верхом» я изучала, сидя верхом... на стуле.

И мне вдруг стало ясно, что я ровным счетом ничего не знаю ни о лошади вообще, ни о езде верхом в частности. Седло по неизвестным мне причинам то проскальзывало подо мной, то вдруг снова напоминало о себе бесцеремонным толчком. Я наконец поняла, что это не седло уходит из под меня, а я время от времени вылетаю из него, и сделала несколько отчаянных усилий не отрываться от седла или по крайней мере не покидать его слишком долго. Увы, это была непростительная ошибка с моей стороны! Я плюхалась в седло, чтобы через секунду вновь опустить под собой пустое место. Я начинала понимать, что в этой милой «прогулке верхом» у меня и у моей лошади диаметрально противоположные цели. В эти первые минуты злополучной рыси во мне с подозрительным увостром росло желание очутиться на земле, на своих двоих.

Но, как ни странно, я все еще была в седле.

Больше того, через несколько минут я вдруг почувствовала определенный ритм в движениях моего Избытка. Поймав этот ритм, я стала приподниматься на стременах через раз. Кажется, что-то начинало получаться.

Тренер смотрел на меня, как мне казалось, с живейшим интересом. Я была уверена, что его интересует только один вопрос: через сколько минут эта девчонка наконец свалится с седла?

Но я ошиблась. Тренер подошел к маме и спросил ее, ездила ли я верхом раньше. Получив отрицательный ответ, он недоверчиво покачал головой.

Фактными ни казались трюки цирковых лошадей, многие элементы исполняются ими крайне небрежно, а часто просто неправильно, хотя неизушенному зрителю трудно оценить, насколько правильно или неправильно исполнение. Во-вторых, цирковая лошадь не могла бы успешно участвовать в соревнованиях потому, что она подвергается дрессировке, в то время как спортивная лошадь в езде не участвует. Опять-таки на первый взгляд может показаться, что дрессировка и выездка — понятия чуть ли не однозначные. Это не так.

Между тем другая разница. Дрессированная лошадь совершение автоматически выполняет то, что она заучила. На каждый сигнал выработано определенное, строго заученное движение.

Выездная лошадь, у которой также выработаны определенные условные рефлексы, тем не менее отличается от дрессированной тем, что постоянно «прислушивается» к требованием всадника, выполняет не то, что она заучила, а то, что от нее требуют в данный момент. На выездной лошади вы можете decirся раз остановиться на одном и том же месте, а в одиннадцать спокойно проехите мимо, если не потребуете у лошади остановки. Дрессированная лошадь остановится и в одиннадцать раз, даже если вы ее будете энергично посыпать вперед. Показателен в этом смысле пример, приводимый Аристотелем. По его словам, сабиры выучили своих лошадей танцевать под звуки флейты, и враги их, кротоны, воспользовались этим на войне. Когда сабиры хотели перейти в наступление, кротоны засыпали на флейтах, привычные к этим звукам лошади начинали танцевать на месте, вместо того чтобы идти в атаку...

Петушкиова подробно рассказывает в своей книге об истории, традициях, секретах высшей школы верховой езды.

Знаете, например, чем спортивная лошадь отличается от цирковой?

Высшая школа верховой езды еще в средние века была хорошо развита в Испании и Италии. И интерес к этому виду спорта был отнюдь не случаен. Только хорошо выездной, по слушной лошади можно было доверить во время боя свою жизнь.

После изобретения огнестрельного оружия, когда оказались ненужными и тяжелые рыцарские доспехи и могучие медлительные лошади, понадобилась не просто более быстрая маневренная лошадь, но также лошадь, которая могла бы на всем скаку развернуться, прыгнуть в сторону или вверх, причем сделать все это неожиданно и быстро. Такая лошадь могла бы в нужную минуту спасти жизнь всаднику, заслонив его своим корпусом, встав на дыбы. Описание такого трюка мы находим, например, у Дюома в «Трех мушкетерах».

Наконец, было совсем недурно, если лошадь могла красиво гарцевать на парадах перед прекрасными дамами.

Но это практическое значение выездки постепенно отмерло, и теперь высшую школу верховой езды такой, какой она была некогда, со всеми ее трюками и акробатикой, можно увидеть только в цирке.

В спортивных же соревнованиях остались только те элементы, которые естественны для лошади.

Вам кажется, что цирковые лошади могли бы успешно выступать на соревнованиях? Это — заблуждение многих. Нет, цирковая лошадь не могла бы участвовать в соревнованиях. Во-первых, какими бы эф-

фемпионат мира 1970 года, который проходил в западногерманском городе Ахене, складывался очень удачно для советских всадников.

Успешно завершив командные соревнования и не дожидающаяся официального объявления результатов, Елена Петушкиова хоть на несколько часов, но поехала в Дортмунд — в институт имени Макса Планка. Работая на кафедре биохимии МГУ, она не могла отказаться от приглашения посетить этот известный каждому биохимику институт.

Возвращавшись из Дортмунда, Петушкиова поспешила узнать, на каком она месте перед решающей перезадкой.

Я поднялась наверх, где жили наши коноводы и ветврач, и увидела там своего тренера Григория Терентьевича Анастасьева, сидящего на гольх деревянных нарах.

Он самозабвенно и увлеченно что-то писал и подсчитывал. Видимо, простоявши в программе очки всех участников.

Я спросила его:

— Это правда, что мы заняли первое место?

— Правда! Правда... — ответил он нарочито ворчливым голосом. — Н-приставай ко мне.

Тогда я стала высапршивать:

— Кто попал на перезадку? А кто на каком месте по первому дню соревнований?

— Тебе сказали, отстать от меня!

Несколько раз отмахиваясь от меня Григорий Терентьевич. А потом с торжествующим видом протянул мне список с результатами всадников, допущенных к перезадке. Их оказалось всего восемь человек. И среди них все три наших всадника.

И вдруг я увидела, что стою в списке второй, что

у меня результат на пять баллов больше, чем у Кизимова. Это меня поразило!

Но вместо того, чтобы обрадоваться, я даже немного оторчилась: как обидно будет на другом день спуститься на одно или несколько мест! Лучше уж с самого начала быть на пятом или на шестом месте и так на нем и оставаться. А в том, что я никак не смогу быть ближе, я не сомневалась. Даже заявив шестое место, я выполнила бы задачу, которую мне поставили перед чемпионатом мира.

Григорий Терентьевич был искренне возмущен:

— Это безобразие — так не верить в свои силы! Все будет отличено!

Но мне казалось, что это говорится лишь с одной целью: подбодрить меня.

Надо сказать, что мой тренер весьма тонкий психолог. Он очень хорошо успел изучить меня за годы нашей совместной работы. Например, он прекрасно знает, что я очень люблю противоречить даже тогда, когда сознаю, что не права. Поэтому он всегда старается сказать мне что-то, что заставило бы меня сделать наоборот. Например, он говорит мне в конце тренировки, нужно сделать еще то-то и то-то. Я начинаю говорить, что устал, что Пепел утомлен, что я вчера с пним много работала, поэтому сейчас лучше «попащагать» и закончить тренировку. Григорий Терентьевич сердится, протестует, негодует. Я упорствую и, наконец, добиваюсь своего. Григорий Терентьевич некоторое время со мной не разговаривает. А в результате выясняется, что все это игра, которая велась со мной с единственной целью — добиться, чтобы я прекратила тренировку и не «переработала» Пепела. И хотя он мне сам признался в этом однажды в минуту откровения, я неизменно попадаю на эту «удочку». Когда он хочет, чтобы я еще раз повторила какое-нибудь упражнение, он говорит мне, что пора заканчивать. Тогда я начинаю упрашивать:

— Ну, Григорий Терентьевич... Ну, пожалуйста...

Я хочу сделать еще несколько прыжков и минуку ног.

Такие «ключики» мой тренер находит к каждому спортсмену. Для того, чтобы отвлечь человека перед стартом, уменьшить «предстартовую лихорадку», он может специально разозлить спортсмена, сказав что-нибудь обидное, вроде того, как:

— Не умеешь работать, как следует, так нечего было и ехать.

Разозлившись до предела, поскольку это еще всплывает и на определенное первое состояние, человек забывает о своем волнении и выступает с азартом, едет «клю».

Многие спортсмены, которым довелось выступать на международных соревнованиях под руководством Анастасии, до сих пор помнят такие моменты и считают, что вот, мол, старик сам не может держать себя в руках и перед стартом людям только первы взвинчивают. Но надо понять, что определенный «соревновательный» настрой не всегда можно создать успокаивающими словами и валерьянкой.

Это под силу, однако, только очень опытному тренеру, хорошо знающему своих подопечных и умеющему вовремя почувствовать их настроение.

Перед решающей пересездкой лишировала опытная наездница из ФРГ баронесса Ализетт фон Линзенгоф. Она была знаменита тем, что стала первой женщиной, выигравшей чемпионат Европы. Теперь она замахивалась на победу и в чемпионате мира, где до этого времени побеждали только мужчины.

Елена Петушкиова шла второй, а вслед за ней — лидер нашей команды Иван Кизимов.

И вот, наконец, наступил момент, который должен был решить судьбу участников личного первенства.

Возможно, мысль о том, что я вряд ли могу рассчитывать на первое или второе место, позволила мне обрести в седле относительное спокойствие, передававшееся и моему Пепелу. Мы просто поставили себе цель выполнить все как можно чище.

Пепел не подвел меня и выполнил всю программу без единой ошибки.

Казалось, он пропешился самого себя.

Создавалось такое впечатление, что он великолепно понимает ответственность момента, и, скорее, не я, а он мне придавал уверенность и силу.

Шел дождь, дождь шел на протяжении всего моего выступления, но казалось, что даже если бы разверзлись хлебы небесные и гром расколол небо, то и тогда мой Пепел был бы столь же собран и невозмутим, как в те минуты, когда решалась судьба золотых и серебряных медалей.

Пепел нужна была победа и только победа.

Победа для меня...

Художница из Голландии рисовала Пепела углем на большом листе картона.

А он только косил в ее сторону своим агатовым глазом из угла денишка, изогнув шею, и черная щерсть его, которая уже успела высокнуть, отливалась атласом.

Вот как комментировала случившееся белгийская журналистка Дюфер в своем отчете с чемпионата мира в «Официальном бюллетене Бельгийской королевской Федерации конного спорта»:

Я имела удовольствие пронтервьюировать новую чемпионку мира Елену Петушкиову у деника Пепела.

По-французски она говорит очень немножко, но зато ее английский превосходен, и именно на этом языке она мне рассказывала о Пепеле.

Ему четырнадцать лет. Это чистопородный тракен, вороной, от Пилигрима — эталон, очень ценный в СССР. Елена с удовольствием работает с этой лошадью, которая принадлежит государству. Она работает с Пепелом вот уже восемь лет. Именно государство подбирает лошадей и всадников различных конноспортивных центров для того, чтобы они потом участвовали в соревнованиях.

Все время при разговоре Елена бросает быстрые взгляды на Пепела, который кивает головой, взбивает ногой толстый слой соломы, положенный, как подстилка, все время следя за нами своими влажными черными слизиами, короче, ведет себя, как и положено известной лошади, которая в восторге от продолжительного визита.

Меня поражает контраст между живостью Пепела в конюшне и его спокойствием, полным величия, во время выступления.

Во время своих многочисленных упражнений он ни разу не терял своей собранности, он переходит из одного движения в другое без малейшего колебания, мягко и плавно, а его аллюры естественны до такой степени, что кажется, словно с ним никогда не работали, поскольку управление к тому же совершенно безумство.

Но могли вообразить, какой огромный труд в ма-
же было необходим, чтобы добиться взаимопонима-

ния и доверия между всадницей и конем, чтобы достичь подобного совершенства.

Неподвижность Пепла во время исполнения национального Гимна Советского Союза при награждении казалась величеством. Стоя в полном сбре, он ни разу даже не вздрогнул: великолепная лошадь из бронзы. Затем, когда победительница, держа в левой руке огромный букет алых роз, а в правой четыре лавровых венка, совершила круг почета на коротком школьном галопе, восхищания и аплодисменты публики не помешали Пеплу сохранить ту же непринужденность, легкость и одновременно свободу в своих рывковых движениях.

Мы уверены, что мягкость и умелые руки Елены Петушковой сыграли решающую роль в этом совершенном согласии между лошадью-чемпионом и его всадницей, и пожелаем им оба многих побед в будущем».

Сейчас чемпионка мира (это высокое звание Елене Петушковой завоевала на четырех го-да) готовится к Олимпийским играм в Мюнхене. С того дня, когда она впервые села на лошадь, уже мнилась чертова дюжины лет и даже немного более.

Что же заставляет Елену Петушкову идти на многие жертвы и по-прежнему на самом высоком уровне сочетать занятия наукой со спортом?

Всю долгую осень и зиму, когда темно и холодно, звенят в половине шестого опустевший будильник, я со стоном заставляю себя вылезать из под одеяла и каждый раз думаю: «Ну что же ради я сама себе создаю такие мучения, нет того, чтобы, как другие, поспать до семи или половины восьмого и не жить целый день на работе за счет крепкого кофе, который пьешь через каждый час, пытаясь побороть сонливость?» Видимо, если бы я занималась не конным, а каким-либо другим спортом, то уже давно бы постепенно бросила эти занятия, начиная пропускать одну тренировку в неделю, потом, две и т. д. А здесь я знаю, что меня ждет живое существо — лошадь, что она не может жить без движения, что если я пропущу тренировку, то придется кому-то сесть на Пепла и поработать с ним. А это будет означать, что вся моя предыдущая работа пойдет на смигры и мне придется вернуться на две недели назад, и не потому, что этот другой всадник более низкой квалификации, чем я, а потому, что той подчас незначительной и неуловимой разницы в требованиях одного и другого всадника достаточно, чтобы сбить лошадь, разладить ее. Конечно, все это относится только к лошадям самой высшей квалификации, таким, которые понимают малейшее движение пальцев всадника, воспринимают незначительное перемещение корпуса и т. д. Именно эта чувствительность, вырабатываемая годами совместной работы, очень легко может быть нарушена за счет того, что у каждого всадника требования, предъявляемые к лошади, одинаковые в целом, разнятся в мелочах, в деталях. Это создает индивидуальность, стиль работы каждого всадника. Для наглядности проведу аналогию с парным фигуристским катанием: если партнеры двух самых лучших, может быть, даже равнозначенных по технике пар обмениваются своими партнершами, то вряд ли они смогут выступать столь же успешно, как прежде. Понадобятся годы совместной работы. Когда Ивану Калите дали знаменитого Абсента, чемпиона Римской Олимпиады, он искал с ним общий язык около двух лет, но даже его последние, самые лучшие выступле-

ния на Абсента в Мехико совсем не отличались тем блеском, каким всегда отличались выступления, вернее, ранние выступления Сергея Филатова на том же Абсенте. Правда, здесь дело уже не только в качестве работы, но и в общей гармонии лошади и всадницы, которая очень важна на выступлениях по выездке. Я не видела лошадей более красивой, чем Абсент, но под Калитой он почему-то потерял весь свой вид, хотя объяснения этому я не нахожу. Казалось бы, грузный Филатов должен был мене подходить к этой изящной, длинной лошади, но теоретические рассуждения не всегда совпадают с практикой. Филатов на Абсенте был настолько «королем», и дух захватывало при одном только виде этой пары, когда Абсент, перебирая тонкими ногами в белых «носочках», казалось, буквально пылал по воздуху, как конь арабских сказок.

Но только ли из-за Пепла не пропускаю я тренировки? Спорт дает человеку такое ощущение полноты жизни, позволяет почувствовать ее как бы в большом числе измерений, что, раз познаешь вкус большого спорта, с трудом уйдешь из него. Счастье победы знакомо многим: победы над какими-либо трудностями, победы над самим собой и т. д. Но только спортсмен вкушает победу в полной мере.

А если это не просто победа, а победа во славу Родины, чувство гордости переполняет душу, когда英雄ственно звучит гимн, медленно поднимается вверх алый флаг Советской страны, и тысячи зрителей встают, и шум аплодисментов перекатывается от трибун к трибуне.

Пусть это никогда больше не повторится, пусть я никогда больше не буду так счастлива, во этот мир — мой, ее нельзя отнять. В эти несколько минут словно какое-то озарение нисходит на тебя, и кажется, что в его ослепительном свете ты вдруг постигаешь какой-то высший смысл и величайшую мудрость жизни, живешь в каком-то ином, ускоренном в десятки и сотни раз ритме, упиваешься каждой минутой этого своего нового бытия и как-то по-особенному ярко чувствуешь, что ты существуешь на свете. Ни одна жертва не кажется чрезмерной ради такого мгновения счастья.



РЕШИТЕЛЬНЫЙ УТЕНКОВ

Eсли всех граждан нашей страны разделить на спортсменов и неспортивных, то вторая группа, понятное дело, пока многочисленнее. Одна из важнейших задач нового комплекса ГТО в том и состоит, чтобы изменить соотношение этих групп.

Уже несколько месяцев по всей стране идет сдача норм нового комплекса. Тон задают спортсмены-раздирники, что естественно. Но в какой мере это движение уже захватило тех, кто вчера еще был не очень дружен со спортом?

В поисках типичной ситуации мы отправились в подмосковный город Красногорск. Почему в Красногорске? Таких городов, в которых живет несколько десятков тысяч человек, в стране много. Типичен сегодня город, который растет вокруг крупного предприятия — Красногорск же прежде всего известен своим механическим заводом. Сыздали, конечно, о фотографии «Зоркий»? Ну и, наконец, Красногорск славен своими спортивными традициями. Спортивный клуб «Зоркий» — это марка.

В литейном цехе Красногорского ордена Ленина механического завода мы познакомились с двадцатилетним модельщиком Геннадием Утенковым. Он и отечественный модельщик и занимается в заводском оптико-механическом техникуме, но в спортивных секциях не состоит. Мы решили, что вот и наши своего героя — есем парень хороши, не хватает ему лишь значка ГТО.

— Вам хотелось бы сдать нормы нового комплекса? — спросили мы Геннадия.

— Я уже сдал кросс, подтягивание на перекладине, стрельбу, — спокойно ответил он. — Даже лыжи по последнему снегу успел.

— Когда же вы подготовились?

— А я, можно сказать, совсем не готовился.

— Как же вы ухитрились сдать эти нормы?

— Что же, я на тех же лыжах до ГТО не ходил?

Сами знаете: Опалиха, Сходня, Подрезково — самые что ни на есть лыжные места. Кроссы, правда, специально не бегал, но люблю потягивать мяч. А в футболе столько набегаешься, что на пять кроссов хватит...

Мы пошли в спортклуб «Зоркий», где нас должна была ждать Тамара Маркова — заведующая учебно-спортивным отделом клуба. Но ее не было в клубе. Наконец, появившись, она объяснила:

— Директор неожиданно совещание созвал. Как раз по поводу ГТО. Вячеслав Иванович Креопалов, директор нашего завода, сам возвлазывает комиссию ГТО. Не скрою, нормы ГТО пока что успешно сдают те, кто занимается спортом и прежде. А мы от спортсменов и гребем, чтобы они пример показали. Футболис-

там, например, тем прямо сказали: «Пока норму не сдавайте, о мяче и не думайте». А когда за значок ГТО борются такие знаменитые спортсмены, как хоккеист Евгений Папутина или лыжник Иван Утробин — они тоже из нашего спортклуба, — то разве это не показательно? Разве не захотят многие получить значок вместе с Папутиным и Утробиным? Но мы не собираемся только на спортсменах влезать. Неспортивные, ясное дело, готовиться надо куда больше. Если бы мы сказали, что где-то спортсмены и неспортивные на равных по сдаче норм ГТО идут, я бы не поверил: липа, голочка.

Насколько сложны нормы ГТО для того, кто только начинает дружить со спортом? Александр Андреев, физрук того литеиного цеха, где работает Утенков, говорит:

— Подготовившись — сдашь; с кондакча не надеялся. Вот мы стрельбу сдавали. Наш завод стрельбой издавна славится: например, у нас в литеином сколько бы вы думали стрелков? Каждый четвертый. Но некоторые из тех, кто стрельбой не занимается, решали при сдаче норм, что и глаз у них острый, и рука твердая, и, дескать, все в порядке. Так им еще сдавать и сдавать. Каждый год у нас проходит кросс памяти Горожанкиных. Это наши Знаменские — тоже братья, тоже легкоатлеты. Погибли в войну. В этом году кросс в зачет норм ГТО шел. И опять на старте олимпийцев было больше, чем на финише.

Да, нормы ГТО мудрые не так сложны, чтобы их не смог сдать каждый, но и не так просты, чтобы каждый смог сдать их без подготовки. Часами, неделями, месяцами на стадионе и в бассейне надо добиваться значка ГТО. Сам значок не более чем свидетельство, что работа эта прошла успешно.

Но если лыжник, допустим, идет во все стороны от Красногорска, то для плавания здесь условия, мягко скажем, несколько хуже. Ситуация — тоже типичная.

Евгений Федин, секретарь заводского комитета комсомола, сказал нам:

— Бассейн у нас, Красногорске, нет. Арендует бассейн в Тушино. Но нормы там сдавать трудно: у нас один комсомольец на заводе больше четырех тысяч, а ГТО ведь — до шестидесяти лет. О том, чтобы подготовить в Тушино к сдаче норм, и речи быть не может. Вот у нас все, кто весной ушел в армию, сдали нормы, но только не по плаванию. Есть у нас две речушки — Синичка и Банька. Комсомольцы, возвращая на Синичку запруду, хотели импровизированный, но лестный бассейн сделали. Теперь и за Баньку возвращаем: тумбочки поставим, дорожки протянем.

А председатель завкома Василий Куркин говорит: — По социальному плану завода у нас намечено строительство крытого бассейна. Да все откладывали, более важные объекты отодвигали бассейн на потом. Теперь ГТО бассейну, так сказать, зеленую улицу открыла.

Как видите, проблему ГТО не следует толковать прямолинейно: мол, пришел, сдал нормы, получил значок. Чтобы сдать нормы, надо готовиться; чтобы готовиться надо иметь, где готовиться. И не только в Красногорске — во многих городах страны введение нового комплекса ГТО стимулирует строительство тех же бассейнов. В Фергане, например, уже принято специальное решение построить в самом центре города бассейн с пятьюдесятиметровыми дорожками, а рядом — «лягушник». Утверждены проекты и открыто финансирование для строительства бассейнов и во многих других городах Узбекистана...

Что же касается Геннадия Утенкова, то он намерен сдать нормы по плаванию на Синичке или на Баньке. Ему и здесь особенно тренироваться не надо.

М. ГОРОДИНСКИЙ

первый

перекур



Б

ЫШЛО все, как и намечали. Работать начинаем в юсеме, а в восемь ноль одну Коля Смирнов к новеньковому подошел и покурить позвал. Мы к этому времени всей бригады уже в курилке были, как обычно.

Сидим, гордые оттого, что придумали такое интересное мероприятие. А все наша дорогой бригадир Иван Семенович... Мы, правда, голову тоже поломали.

...Приходит вчера Иван Семенович и говорит: «Ребята, завтра к нам в бригаду новенький придет. Самы понимаете, для паренька первый день работы вроде как праздник. Так давайте встретим его по-родному, чтобы сразу себя в бригаде своим почувствовал. Хорошо бы небольшую такую, что ли, «слетушку» устроить, чтобы парню самое характерное о бригаде разъяснить, стиль, так сказать, нашей работы чтоб понял. Тогда и приживется быстрее... Так что обдумайте это дело».

Стали мы думать, чего б такое торжественное придумать. Разное в мысли лежат, а характерного ничего не подыскивается.

Кто говорит, сфотографироваться всем вместе в рамочке, кто говорит, шампанского в обеденный

перерыв выпить... Но это нехарактерно, конечно, для нашей бригады, чтоб шампанское.

Тут Коля Смирнов свои соображения и высказал. «Предлагаю, — говорит, — товарищи, в курилке утром, как обычно, собраться и первый перекур парни отметить. Напутствия дать, оплату поделиться. Так как ничего более характерного для нашей бригады, чем перекур, не придумытай».

На том вчера и порешили.

И вот настало торжественное сегодня.

Когда новенького ввели, лесь нам коллектив со скамейками, на которой сидели, встал. Но сигарет, папирос, трубок из рта не выпустил. Паренек такой молоденческий, скромный... Мы друг на друга смотрим: кто первый начнет?

Тогда Коля на серединку вышел, тетрадь из-за пазухи достал, откашлялся и начал читать: «Дорогой и юный друг! В этот незабываемый день хочу от души и от себя лично поздравить тебя с первым перекуром в твоей трудовой жизни! Коля засунул тетрадь под мышку и зааплодировал. Мы все тоже захлопали.

Коля снова раскрыл тетрадь: «Коллектив у нас здоровый, курицкий. Вот, к примеру, дядя Фе-

дя. В этом квартале, если бы не инфаркт, стотысячный перекур отпраздновал бы... Так что есть на кого равняться! О себе что могу сказать? Курю по мере сил своих и физических возможностей, с учетом, конечно, материальных...» Коля смущился и отошел к урне. Умеет веди Колька!

После него, конечно, заминка получилась. Еще по папиреске закурили.

И тут Петруша Никифоров выходит. Издалека начал: «Я... — говорит, — на этом заводе недавно сравнительно курю, я начинай на ремонтно-механическом. Там я не ужился. После на вагоностроительном дымил — пришлось уйти. Коптил на машиностроительном — не вытерпел... И хочу сказать: нигде так не перекуривалось, как здесь! На вагоностроительном, было, к концу месяца и затянувшись разок некогда. А здесь!.. Так что смотри, парень, не подведи. В нашу бригаду многие приходили, да больше месяца не выдерживали: условия работы, говорят, у нас для легких тяжелые. Так что мы тебе, парень, прямо скажем: сладкой жизни не жди, а вот дымной — пожалуйста, сколько угодно!»

Потом еще кто-то выступил. За речами позаметно время обеда подошло. Атмосфера в курилке такая, что друг дружку совсем не видно, выступающих по голосу различали. Так только и поняли, что наш бригадир Иван Семенович заключительное слово взял. Голос у него сильный, прокуреный, после каждой мысли кашляет подолгу: «Сегодня, Саша (так паренька звали), этим вот перекуром ты вступаешь в трудовую жизнь...»

«Качай, ребята, качай новеникового!» — крикнул кто-то.

Кинулись новениковый качать. Видимость плохая, друг на друга настикаемся, а новенький пет. Все углы обшарили — пусто!

Кто-то предложил в землянку. Заходим. Единственный стакан на участке включен. Над ним новениковый склонился, точиг что-то.

Выходит, не понял парень ничего. Ни слов добрых, ни напутствий...

Ну, с ним с одним — ладно. Одного мы как-нибудь потерпим. Но на днях еще пятеро новеников прийти должны. И если каждый в первый же день станок включит, что ж нам делать останется? С кем мы курить-то будем? Ведь друг другу мы уже изрядно наоели...
г. Ленинград.

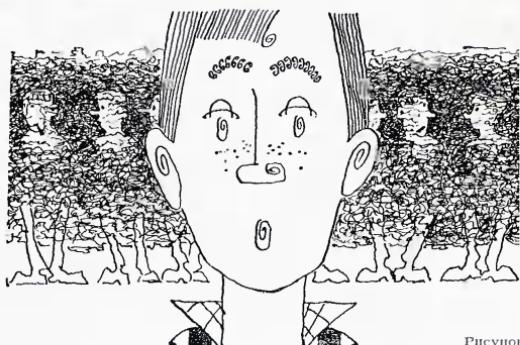


Рисунок
Г. Суханова.

МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ,

выпускница средней школы.

Не хуже других

Письмо в редакцию



решила написать вам, потому что давно разыскиваю одного мальчика. Может быть, он забежит в вашу редакцию и этим обнаружится. Он мне очень нужен. Он мой сын, Боря.

Нет, он не убежал из дома. От него ему убегать? Мы, родители, создали ему все условия для насыщенной жизни и гармонического развития. Чтоб не хуже других был. И в музыкальную студию записали, и на фигурное катание определили. А когда Зайцевы из 68-й квартиры стали сыны своего японскому обучать, мы тоже не ударили лицом в грязь: пригласили преподавателя из МГУ — специалиста по языку сухими.

Чтобы вы моего сына сразу узнали, опишу его приметы. Сам он черненький такой... Хотя нет, волосы, кажется, ржавенькие...

Признаюсь вам: я так редко вижу его, что цвет волос забыла... Хорошо помню его в роддоме, но он тогда лысенький был. На дачу детсадовскую к нему приезжала, там они тоже все стриженые были. Потом, помню, зимой, как-то ходила к нему на занятия моржей-аквалангистов. А в проруби они вообще все синенькие. В клубе, где мы случайно встретились на самодельном спектакле, он затрясированый под волка был... Но я все-таки догадалась, что это мой сын. Как занавес дали, за кулисы ринулась. А ребята говорят, что он еще в антракте на ВДНХ уехал, на встречу юных ветеринаров с молодыми полярниками. Так в тот раз и не встретились мы...

Иногда узнаю о нем из телефонных разговоров. Эвонили мне как-то из музыкальной студии, жалуются, что мальчик, за последние полтора года перепилил струны у трех виолончелей. Так это вовсе не из-за рассеянности. Просто ребенок прибегает в студию прямо с фехтования и, естественно, не всегда успевает заменить шпагу на смычок.



Рисунок О. Кокина.

Но главная его примета, конечно, вежливость. Это сейчас такая редкость! Так что в метро или там в автобусе вы его сразу узнаете. Мне вот вспоминается наша последняя встреча, года два тому назад. Мальчик ехал из конноспортивной школы в балетную. В трамвае народу много, и меня, значит, к его сиденью прижали. Смогу, Борька мой!.. Ногами какое-то па-де-де выделявши, а руками все еще воображаемые подъяжит. Присмотрелась поближе — а он спит, оказывается! Потом трамвай как дернёт, он и проснулся. Смотрит на меня своими огромными серыми, кажется, глазами и говорит:

— Садитесь, пожалуйста.

А я ему:

— Ну, что ты Спасибо, сынок Сли, я постою...

Он снова заснул, а меня взяло сомнение: сын или не сын?.. Осторожно его фотографию достала, так незаметно глянула — он! И как сохранился! На фото ему всего полгода — остальные карточки разошлись на всякие доски почета и удостоверения. В общем, растяголася я, спазы глаза заст�али... Пока в себя приходила, он уже сошел.

И вот я обращаюсь к вам, дорогие товарищи, помогите матерям! По последним данным, мой Боря поступил в литературную студию, так, может, он принесет в «Юности» стихи или рассказы — уж не знаю, что он там пишет, — скажите, чтобы заглянул домой навестить родителей. В любой день. Я его с сестричкой познаю. Ей уже седьмой пошел. Уж ради такого случая мы ее, Наташку, пораньше с солфеджио заберем, а уж толкание ядра и художественную штопку, так и быть, пропустит разок. Вы уже если увидите, не забудьте...

Заранее благодарная вам

Борина мама.

г. Харьков,

ДЕТИ ОДНОЙ ЕДЫ



Вовка, привет! Извини, что так долго не писал. У нас в доме было большое горе. Папа ушел от мамы. А все из-за меня. Я им языкъ разбил. Однажды я услышал, как мама скандала папе:

— Пожалуйста. Сережа уже большой. Можешь уходить на все четыре стороны.

Я еще тогда задумался. Куда должен папа уйти? Почему? Я стал замечать, что мама по вечерам плачет. И тут я решил: раз папа может уйти, потому что я уже большой, то лучше пусть я всегда буду маленький. И я, Вовка, стал им. Набрал разных детских игрушек: самолетиков, машинок, свистульек, погремушек — и, сделав уроки, садился играть.

— Ты что, маленький? — удивлялась мама.

— Да! — радостно кивал я и скакал по комнате на прыткую.

— Перестань дурить, Сергей! — прикрикивал отец.

А я скакал, дудел, катал на ве-ревке машины, хотя мне было скучно, как на уроке пения. Я играл маленькою, а мама по вечерам плакала. И чем чаще она плакала, тем сильнее я притворялся. Но это не помогло. В воскресенье утром папа сказал мне:

— Ты уже большой, сынок. Я ухожу. Но мы будем встречаться. Ладно? Ну что ты... Ну... Серега... Ты же большой... Сереженька...

И ушел. Но стал меня навещать. Вначале я прятался. Он приходил к моей школе, ждал, а мне было почему-то стыдно выходить к нему. Потом я привык, и мы часто гуляли с ним по городу. Однажды я решил поговорить с ним как мужчина с мужчиной.

— Ты меня любишь, пап?
— Люблю.
— Значит, ты бы хотел меня видеть каждый день?
— Конечно, сын.
— Но кто же тебе мешает, папа?

— Я работаю. И не могу приходить тебе каждый день.
— Зачем каждый? — сказал я, остановившись, — приди один раз...
— Видишь ли, Сережа, — ответил он не сразу, — Ты еще маленький. Подрастешь — все поймешь. Теперь-то я уж совсем ничего не понимал. Ушел отец, потому что я большой, а не может вернуться, потому что я маленький...

Прошло. Вовка, больше семи месяцев. Заканчивался учебный год, когда мама однажды сказала мне:

— Серега, мне тяжело одной. Хочешь, чтоб с нами жил хороший дядя?

Вовка, я очень обрадовался. Наконец-то я в футбол поиграй! Я видел, как мама переживала без папы, как она сидела по вечерам дома. И я не мог оставлять ее одну. Поэтому я сидел без воз-

духа дома. И физически не развивался. Я сказал:

— Да.

Утром пришел капитан милиции. Игорь Матвеевич. Мне он сразу не понравился. Может, потому что меня с детства пугали милиционером. Хотя, по правде сказать, он ко мне хорошо относился. Даже пистолет дал поддержать. И хоть пистолет, Вовка, был настоящий, а в отец... Зато мой папа каждую встречу уговаривал меня прийти к нему туда, где он живет.

— Я тебя познакомлю с хорошим мальчиком. Толиком. Он твой ровесник.

— Это твой новый сын?

— Что-то вроде этого. Я отказывался. Говорил, что мама будет сердиться. Но он позвонил, долго объяснял, и она разрешила. Мама нарядила меня, как экзамен.

Квартира у них была лучше нашей. Кругом разные стаканы, вазочки, стекло... Меня познакомили со знаменитым Толиком. У него, Вовка, нос картошкой. И мне сразу же захотелось двинуть по нему. Его мать, Нина Михайловна, была красивее моей мамы. Но какая-то чужая. Как торт на витрине магазина.

— Сейчас чаек будем пить! — вскрикивала она все время, словно я только за этим и пришел.

Папа ходил по комнате и восклицал:

— Молодец, Сергуня, что яви-
ся!

И при этом так широко улыбал-
ся, будто я своим приходом отк-
олюк какую-то штуку. А «кто-то»
вроде папиного сына сидел в уг-
лу и молчал, как на уроке. За че-
мь я нарочно отказалась от всего.
Пусть не думают, что я голодный.
Даже чай пил без сахара. А Нина
Михайловна из-за этого немного
окрипла.

— Толя, покажи Сереже свою
комнату и книги,—попросил папа
после чая.

— Идем!—наконец выдавил Тол-
ля первое слово.

Как только закрылась за нами
дверь, этот тихоня сердито по-
смотрел на меня и сказал:

— Мой настоящий папа лучше
твоего!

— Был бы лучше — не ушел!

— А твой зато ушел ко мне.

— Все равно он уйдет от вас.

— И хорошо. Тогда мой папа
вернется.

Мы подружились с этим Толиком. Встречались, чтобы родители наши не знали. А однажды мы по-
шли знаешь куда? К его отцу. Хоро-
шая лядечка. Веселый. Нам
всем мороженое купил. Толику, мне и Светлане. Светлане — это
что-то вроде дочки папы Толика.
Она наша ровесница. Хоть девчон-
ка, но хорошая. Умная. Как-то
она нам сказала:

— Мы дети одной беды. Нас
связывают чужие папы. Каждый
любит своего отца. А я люблю
своего настоящего больше всех.
Он у меня храбрый. Он у меня ка-
питан милиции.

Я испугалась.

— А как зовут твоего настоя-
щего папу?

— Игорь. Игорь Матвеевич.

Мне, Вовке, стало так плохо,
будто я на контрольной по истори-
ири присен шпору по арифметике.

Теперь мы собирались все вмес-
те. Сделав уроки, мы встречались
в чём-нибудь дворе, прятались
от людей и хвалились друг перед
другом отцами.

— Послушайте! — воскликнула
однажды Светла. — Ведь мы те-
перь все родственники.

— Как это? — не понял Толя.

— А так. — Светла стала загибать
пальцы. — Сережкин папа живет с
тобой. Значит, ты ему как бы сын.
Значит, ты Сереже как бы брат.
Твой папа живет у нас, значит, я
как бы его дочь, а тебе как бы
сестра. А раз Сережка тебе как
бы брат, значит, я и ему как бы
сестра.

— Как бы не запутаться, —
вздохнул Толик.

И тут мно, Вовка, пришла отлич-
ная идея. Я поделился ею с моими
как бы родственниками. Мы тес-
перь знали, что нам делать.

Игорь Матвеевич давно угово-
ривал меня сходить с ним в зоо-
парк. Я отказывалась. И вот теперь
я согласился. В воскресенье мы
поехали. Мать отпустила нас од-
них, чтобы мы нашли друг с другом
общий язык. Ровно в двенадцать
часов. С другой стороны на клет-
ке подошли Толик с моим отцом.
Тут же явилась Света с папой Толи-
ком. Мы хором закричали «Папа!»,
и разброялись своих отцов. Видел
бы ты, Вовка, как они смотрели
друг на друга!..

Следующую встречу мы устро-
или через неделю у кино. Когда
я перед сеансом получила своего
отца, и мы отошли, он строго
спросил:

— Сергей, что это все значит?

— Что, папа?

— Не прикидывайся дурачком.
Немедленно отвечай.

— Просто я гулял с папой Светы,
Толик — с тобой, а Света — с от-
цом.

цом Толика, и мы все случайно
встретились.

Он пристально посмотрел на мно-
го и тихо спросил:

— Зачем вы это делаете, Сере-
жка?

— Просто я гулял с папой Светы,
ты, а ты... ты...

Я заплакал. Это, наверное, нер-
вы не выдержали. Я боялся толь-
ко, чтоб меня в таком виде не
увидели друзья. Отец что-то го-
ворил, гладил меня по голове. Я
оглянулся. На разных углах Игорь
Матвеевич и папа Толика делали
то же самое.

Вечером, когда я лег спать, в
комнату вошел Игорь Матвеевич.
Я зажмурился, чтоб он думал,
будто я сплю. Он долго стоял на-
до мной, потом тихо сказал:

— Может, ты и прав, Сергей.
Собирай завтра всех в два часа у
кино.

В два мы были на месте. Он
подал нам три билета.

— Говорят, интересный фильм.
Сходите, ребята.

— А это вам на мороженое,—
протянул мой отец нам деньги.

— И конфет купите! — сказал
Толин папа, добавляя еще денег.

Кино очень понравилось. Все
про войну. Домой я возвращалась
с отцом. С настоящим. Когда мы
дошли до двери, он вдруг останов-
ился.

— Тебе понравилась картина,
сыноч?

— Да, папа.

Он протянул мне деньги.

— Сходи еще раз. Хороший
фильм не грех посмотреть дважды.

— А ты?

— К маме, сын. Мы будем те-
бя ждать...

В фойе я увидел Толика. А по-
том и Светку. Когда мы встрети-
лись, то начали так смеяться, что
нас чуть не выставили. Но разве
можно было объяснить людям,
отчего нам так весело! Сидели мы
в разных местах зала. А когда
вышли, нам стало грустно. Теперь
мы могли встречаться только тай-
ком. Чтоб не напоминать родите-
лям о прошлом. Мы стояли у ки-
нотеатра и долго не хотели расхо-
диться.

По дороге домой я все думал:
теперь у меня есть брат и сест-
ра. Без всяких там «как бы». Ведь
правильна Света сказала: «Мы де-
ти одной беды».

Вот и все, Вовка. Теперь пони-
маешь, почему я тебе долго не
писал. Ведь пока утрясешь все ро-
дительские дела — или останешь-
ся на второй год, или поседеешь.

Твой друг Сережка.



Рисунки И. Оффенгандена.

г. Рига.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Валентин ЧЕРНЫХ. Три рассказа

3

Альберт ЛИХАНОВ. Паводок. Повесть

14

Иван КОРНИЛОВ. Погоня за ветром. Повесть

33

ПОЭЗИЯ

Бабикен КАРАПЕТИАН. Радость. Молодость моя. У Алагеза. Родине

2

Владимир КОСТРОВ. Воспоминание о Заполярье. «Туман в столице непростой туман...». «Еще дышало глубоко и мудро...». «Вот женщина с седыми волосами...». «Светлый лебедь на Чистых прудах...»

12

Илья ФОНЯКОВ. Электролиния. Денабристы в Сибири. В юности. Если темная сила нагрянет. «Я помню старый разговор...»

13

Мара ГРИЕЗАНЕ. «Когда строка воинстину народна...». «В Латвии, как в шкатулке...». Ночлег на берегу. Старинная песня. «Под вечер в латвийском море...». «Вечно струится в женской крови...». «Был самый серый понедельник...». Орловщина

32

Александр ЩУПЛОВ. Боевые трубачи. Гроза

58

Дмитрий СУХАРЕВ. «Пела песню женщина из Петшта...». К поэту С. пытаю интерес

59

Наум КИСЛИК. «В круглых скобках простральены вспоминания о войне...». «Снова, дети, идут в войну...». Вспоминаю о войне...». «Не было в мире ни зла, ни добра...». «Роняет лес багряный свой убор...»

59

Геннадий БУРАВКИН. «Всегда платят я полной платой...». «Холодный сквер до нитки обледел...»

60

Григорий ЛЮШНИН. «Я воду пью из родника...». Жеребенок. Из фронтового блонката

92

Даниил ДОЛИНСКИЙ. «Донская предвечерняя волна...». «Не куковала мне кукушка...». «Песенка! Песенка, чья ты? Моя?...»

99

Сергей ГРИГОРЬЕВ. О «концепциях» и чувстве времени

61

Лев ОЗЕРОВ. Онежская быль

63

ДНЕВНИК КРИТИКА

КРАСКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА

ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ ДНЯ ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

СПОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Е. БОГАТ. Рембрандт

1

А. ДУБИНСКИЯ. Классики и дебютанты

2

РУКУ, ТОВАРИЩ СТРОИТЕЛИ! «Сегодня — на строение железной дороги Тюмень — Сургут: 1. «Догоняйте нас, поезда!» (2-я стр. обложки). 2. Д. И. Коротаев. Высокая пропа (стр. 78). 3. Владимир Павловин. Дорога Тюмень — Сургут с высоты птичьего полета. На Юганской обн. Разговор с Валентином Солженицыным, начальником мостоезды № 13 (стр. 83). 4. Николай Смирнов. Капитан (стр. 85).

3

Иван ВАСИЛЬЕВ. Деснитдворки

88

Георгий БЛОК. Река трех морей

93

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Вокруг да около математики

100

В. ЛОЗОВОЙ. «Смеричка» из Винницы

102

Елена ПЕТУШКОВА. Эта чертова дюжина лет

103

А. МИХАЙЛОВ, В. ФЕДОРОВ. Решительный Утенок

107

М. ГОРОДИНСКИЙ. Первый перекур

108

Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Не хуже других

109

Михаил ВОЛЬФСОН. Дети одной беды

110

На 1—4-й стр. обложки
рисунок
Е. СОКОЛОВОЙ

и А. МАКСИМОВА

Художественный редактор
Ю. А. Цишинский.

Технический редактор
Я. М. Борисов.

Адрес редакции:
Москва, 103006.

(Для телеграмм: Москва, 6,
Улица Горького, № 32/1.

Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 5/V 1972 г.
№ 00694.

Подп. к печ. 16/VI 1972 г.
Формат бумаги 84 x 108^{1/4}.
Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 000 000 экз.

Изд. № 1392. Заказ № 2927.
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской

Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.

125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



После работы.



По готовому участку
пути от Юганской Оби
идут рабочие поезда.



Цена 40 коп.

Индекс
71120